

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παράλιπομένων

Сергей Петров



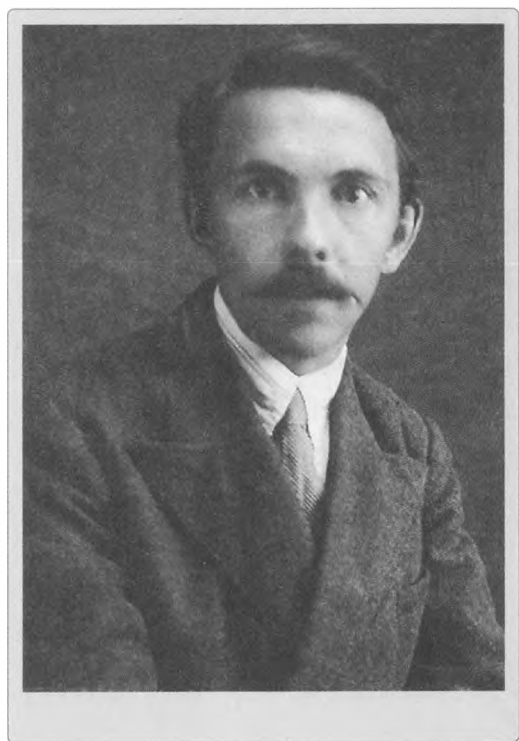
СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ

КНИГА 1

— СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК —

— παραλιπομένων —

Сергей Петров



Сергей Петров

СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ

КНИГА 1

Водолей Publishers
Москва
2008

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6Р
С51

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
В. А. Синкевич (США),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
Л. С. Флейшман (США)

Научный редактор *В. Резвый*
Составление, подготовка текста *А. Петровой, В. Резвого*
Послесловие *Е. Витковского*
Оформление *М. и Л. Орлушиных*

ISBN 978-5-902312-34-5

© А. Петрова, В. Резвый, составление, 2008
© Е. Витковский, послесловие, 2008
© М. и Л. Орлушины, оформление, 2008
© Водолей Publishers, 2008

1926

* * *

То не ветренная Геба
(олимпийцев кубок высох) –
то базальтовое небо
еле держится на высях.

Беглый лист вверху крутится,
то взметаясь, то хирея,
но испуганная птица
не достигнет Эмпирея.

Он уже устал, бродяжась:
глыбы неба придавили.
Или это та же тяжесть,
та же тяжесть, что в могиле?

Наземь он падет, безмолвный,
достоянием насекомых.
В смуглом небе прорезь молний –
точно прищур глаз знакомых.

Лето 1926

1930

СПИНОЗА

Как содрогнулось время над порталом!
Воззрилось в полночь бледное окно.
И треугольным взором суждено
притрагиваться к стеклам полуталым.

Протяжной тишине и числам одичалым
вверять раздумья цепкое звено.
И, руки оковав, звенит оно
стеклом пространства по ночным каналам.

И кубики ума на полке хороши
и ввысь восходят башенкой высокой.
Так строит Вавилон среди жизни кособокой
сферическое тело за гроши.
И ночь далёко. Только Бог широкий
чертит пространство медленной души.

1930?

* * *

Заря плывет, взметая весла,
мигает ветер меж дерев.
Кружится лес, звуча на версты,
как нарастающий напев.

Моргают жалобные птицы,
по-женски их наивен всхлип.
И мглы навязчивые спицы
снуют среди воздушных глыб.

Рука плывет и бредит ночью
вдоль остывающего лба,
бередит жизнь, и вот воочью,
как громы, шествуют гроба.

Играй, душа, ломая пальцы
и запрокидывая сны!
Деревья, времени скитальцы,
в бред губ вечерних включены.

Когда бы ничего не трогать,
не прикасаться ни к чему!
Но согнутый, как фуга, локоть
облокотился в полутьму.

Так не играй! Растет до боли,
до темноты в глазах напев.
Помимо нас, помимо воли
судьба мелькает меж дерев.

И, весла тихо осыпая
на твой задумчивый висок,
заря, как песенка слепая,
зарылась в роковой песок.

1930?

1931

ГУСТАВ МЕЙРИНК

Астроном стремится за Альголем,
и рефлектор бережно скорбит.
Я – Слуга, я рефлексивный Голем,
глиняный чурбан обид.

На пороге многолетней Праги
я стою, подлунный чудесам.
Не боюсь я офицерской шпаги,
молнией летящей к небесам.

И когда она, мой плащ ужалив,
превратится в элегантный стек –
я не звук, а только буква Алеф,
алфавитный первый человек.

Астроном – он занят делом странным:
звездной Каббале внимает он,
и проходит по морям и странам
тех ночей внимательный закон.

В снах тюремных копошатся турки,
чьих-то глаз мышинная возня.
Друг мой режет черные фигурки,
вырезает самого меня.

А кабак ославлен алкоголем.
Нищеты грохочет барабан.
Я же раб, я бессловесный Голем,
я обиды глиняный чурбан.

На Розину, пышный рот разинув,
розовый воззрился офицер,
юноши из пьяных магазинов
и невинный сутенер.

Этим людям старости не надо,
мысли их кочуют в черепах,
словно тяжело отдыхает стадо
всех галапагосских черепах.

Гиллель, Гиллель, ты погряз во звездах
и прошедшего целуешь дым.
Я же, словно погустевший воздух,
прочь бегу по улицам седым.

И по слову Божьего поэта
валятся дома и чудеса,
снова возвращается комета
на земли пустые небеса.

Жертвенного агнца мы заколем.
Лунный луч нас к жизни возродит.
Над рекой взойду я, бледный Голем –
месяц и луна – гермафродит.

1931?

* * *

Любовь настигла Понтия Пилата
под смуглою луною Иудеи,
и в страшном сумраке пустой палаты
он слышал властный голос Саломеи.

Мохнатое в груди рычало сердце,
латинские пробить пытаюсь латы.

Пустынным тяжким шагом иноверца
наместник шел по сумраку палаты.

Меж черных туч луна летела мимо.
Шумели тучи, будто орлы крылья.
Кривые улицы Ерусалима
ушли во мрак и срама и насилья.

А голос звал прекрасно-лицемерный
отведать песнь ночей и винограда,
остановиться пред глухой таверной,
где римлян ждет хмельной любви награда.

В единый круг солдат сомкнулись шеи,
сверкали на полу расплесканные вина,
и до утра смотрел наместник Иудеи,
как пьяная плясала Магдалина.

1931?

ВЫХОД В СОЗНАНИЕ

За окном беспросветная ночь начиналась,
черным эхом звенела в ушедшей реке
и, как жизнь, неожиданно вслепь обрывалась
с темным стоном за медленный холм вдалеке.

По углам шевелилась пугливою тенью
тишина. Бормотал посеревший испуг.
И отсюда начаться широкому зренью,
и отсюда рождается вкрадчивый слух.

Дверь откинувши в ночь, я в сознание вышел.
Грохотала луна. А испуг – он со мной.
И я шел, где печали становятся выше
и где медленный сад потрясал белизной.

Мне навстречу деревья, как руки, струились,
светлой музыкой листьев хлестали в лицо,
и доверчиво тени на плечи садились,
вдалеке же, как пристань, белело крыльцо.

1931–1932

1932

ПИСЬМО

Вот письмо неведомо откуда,
без печати голубой квадрат.
Не письмо – окно, кусочек чуда,
неба голубой квадрат.

Тень листает легкие страницы.
Я смотрю на бледное письмо:
в нем щебечут тоненькие птицы,
вечерет бледное письмо.

Не хочу читать его, не надо!
Всё равно не знаю языка.
И хранит бумажная ограда
легкоперстный щебет языка.

За семью печатями, за ночью
будущее демоны хранят.
Ну, а мне является воочью
неба голубой квадрат.

1932

* * *

Ты у небес не думай отпроситься
внимать в ночи проснувшейся траве.
Кусок любви за пол-аршина ситца
да дым в прокуренной и душной голове
тебе остались. И порхают очи
по нежным рассказам бумаг.
А грудь отложена для предстоящей ночи,
для пиджака, для рук и прочих благ.

1932

1933

* * *

Ночью душно и не спится.
Я покинул злую клеть.
Выскочил воды напиться
и на звезды поглядеть.

На дворе, у черной риги ль,
всё равно легко душе.
Сладкозвонный блещет Ригель
в ключевом моем ковше.

С ночью смешанную воду,
эту острую струю,
словно темную свободу,
из ковша я жадно пью.

Под боком в вонючем стойле
конь ступает тяжело,
о небесном грезит пойле,
и ему теперь светло.

По воду уходит челка,
но вода – не повода.
И в ковше, жужжа, как пчелка,
гаснет шустрая звезда.

март 1933

* * *

Калабрийских пастухов овчина.
Шумный, жесткий волос бытия.
Средиземноморская кручина,
итальянка звонкая моя!

Колокольчик золотой! Мадонна!
Что же, дева, делать мне с тобой,
если Адриатика – бездонна,
если воздух – гладко-голубой?

Высоки небесные качели,
и костра пастуший горек дым.
И, наверно, нежный Боттичелли
был любовником твоим.

март–июнь 1933

* * *

За то, что котенок катает игривый клубок
и прозрачную дочь мы шершавой рукою голубим,
за брошенный вечер, за то, что колодец глубок
и розу за разум запаха любим.

За счастье, свернувшееся на дворе,
за то, что роса, что петух, и за то, что так рано,
и за сад, возникающий на расхожей заре
с первыми капельками тумана.

За то, что нам прошлое с век воспаленных сотрут,
за то, что ложится снежок молодой да пригожий,
за этот широкий, всю размахнувшийся труд,
за теплое детство на сене под честной рогожей.

За чертову стужу, за битую землю зимой,
за то, что обиды наглухо в полночь забиты,
за беглые прошлые беды, за то, что весной
не сходят глаза со своей воспаленной орбиты.

За то, что девчонка, как лето честна и ясна,
на куколку ладит смешные цветы да платочки,
что всё миновало, и вспыхнула снова весна,
и на пальцах шершавых горят зеленые почки.

март–июнь 1933 – 19 апреля 1941

* * *

К нам слетит бессмертная порука
и раздаст бумажные цветы,
и придет тринадцатая скука
из пещерноглазой черноты.
А когда в разинутые очи
крик вороний медленно войдет,
капнет капля этой горькой ночи
и душа в бессмертниках замрет.

17 июня – 15 июля 1933

ЭЛЕГИЯ

Тепло с вечернею коровой
приходит в дом под сонный кров.
Тоской тоскливой и дворовой
колодцы полны до краев.

Рассеянный, сенной и сонный,
шершавый воздух настает,
и в облаков развод законный
луна, как яблоко, плывет.

О, легкий смертный, покорися
гадалке, ночи и судьбе.
Венере яблочко Париса
судили Мойры – не тебе.

В тиши и сельской и эллинской
сiju на горьких берегах,
и луга запах исполинский
слеп у коровы на рогах.

Ко мне нисходит дух весенний
молочной тяжкою струей...
Собачья жизнь лежит на сене
и дышит ночью небольшой.

26 июня – 8 июля 1933

СТРАНСТВИЯ УМА

I

Я был один. Свеча торчала,
в окошко тычась и шумя.
И начиналось тут начало
великолепного ума.
Подобен клятве иль зарнице,
он вспыхивал и гас,
повиснув тихо на реснице,
незрим для глаз.

II

Как тополь огненнорастущий,
он ветки в комнату волок,
когда в окно летели тучи
под бестолковый потолок.

И уходил, покинув очи,
в блаженные луга,
когда в испуге бледной ночи
смыкались берега.

III

И, как ребенок, возвращался,
водой полночной лепеча,
и с детством бешеным прощался
крутою поступью плеча.
И так окончилось начало
великих прав.
И ночь болотная торчала
на стеблях трав.

27 июня – 15 июля 1933

ОФИЦЕР И ЛУНА

Ah, la belle pleine lune.

*J. Laforgue**

Четырнадцать раз касалась луна
офицерского галуна,
и четырнадцать раз отходила она
от красавца и от лгуна.
Над столом был воздух, как пепел, сер.
За столом сидел офицер,
он сидел и курил, и курил и сидел,
и висок воспаленный седел.
И стучалась опять, как коханка, луна
в уши ветреника и лгуна.

* Ах, прекрасная полная луна. Ж. Лафорг (франц.).

А по стульям в окно улепетывал дым,
не найдя себе оправдания.
Офицер становился совсем седым
и несдержанным, как рыдания.
На столе бушевала бутылка вина,
но и в ней проплывала луна.
Ветер шлепался в сад, обрываясь с окна,
и бутылка была пьяна.
«Круглый месяц как сыр я катаюсь здесь, –
говорит седой офицер, –
от девиц удавиться, повеситься весь
я готов, дорогая ma chérie.
Я упился жизнью в этот час, –
говорит седой офицер, –
je vous aime*, я теперь обожаю вас,
lune belle et lune claire!**»
И в пятнадцатый раз луна подошла –
анемичная дева зла.
И был бледен и шаток ее поцелуй
среди журчания винных струй.
Пепел – лунные горы... И смерти пример...
«Где бутылка, мундштук, табак и...?» –
Опустился до полу офицер
и пустился выть собакой.

7–8 июля 1933 – 20 апреля 1936

* * *

Деревья как с ума сошли –
жестокими стучат листьями.
Бессонница гнется, а вдали
грома перекатываются за громами.

* Я вас люблю (*франц.*).

** Прекрасная луна и яркая луна! (*франц.*)

Как легкая ветка, бессонница гнется,
в окне мигает сон, как свеча.
Тяжелая птица остается
на ветке, возле моего плеча.
Я слышу: трещат дощатые реки,
как будто шагают по ним леса,
и, грохоча, захлопнулись веки,
в дверь ломятся птичьи голоса.
Леса идут. Обрастают щеки
породистой бурной бородой.
Иль это только курчавые намеки
травы, и прохладной и ночной?

10 июля 1933

* * *

Мне усталою рукою
ветер гладит волоса.
За далекою рекою
скачут с ветром голоса.

Приложив друг к другу локти,
всё смотрю я на восток.
В очарованные ногти
пал рассветный холодок.

Чей-то одинокий голос,
чуждый, ходит по грибы.
И цепляются за воздух
крюкорукие дубы.

В легкой поступи тумана
веянье души одно.
Загородкою обмана
предо мной висит окно.

Шаткий запах раздается
трав, побившихся в комок,
и в ногтях прохладных бьется
розоватый голубок.

10–30 июля 1933

АГНОСТИЦИЗМ

I

Собака, озверев, кричала.
Она сорвалась с ночного причала,
как с бешеной цепи волна.
Над башенной темной жизнью
сидела упорно, что камень,
большая луна.
Собачий вой, собрав в пригоршни,
несли домой тропой святынь,
а он звучал, и был он горше,
чем дым, чем скорбная польнь.

II

Мудрецы качались на террасах
удивительнее ив.
Налетал и охватывал враз их
разозлившийся залив.
И мучительного отраженья
колыхались пустые листы
от величественного удивленья
и от собственной пустоты.
И раскачивался от удивленья
золотой неуравновешенный плод,
а мучительное отражение

разрезал собачий крик,
как волна кромсает плот.

III

Я отшвырнул ослепший лик
и к листьям жиденьким приник,
и мне пахнуло пустотой,
собачьей шкуры красотой,
небес немереной верстой.
И мне швырнуло пустоту,
а шерсть простерлась на версту.
Верста небес была верзила,
разверзлась в плоть мою до дна.
Она умы что кладь возила
туда, где сидела большая луна.

IV

Дрожали жирные скользкие бревна,
лежа на брюхе и все потемнев
от рыбьего страха. Дрожали неровно,
и страх был темен, как гнев.
Покойник тонкий и прозрачный –
усопший голос мертвецов
еще носился над водою мрачной,
еще нырял со всех концов.
Собачий вой, и этот пьяный голос,
и жизни нежный волосок,
и леса лиственный намек
водили вод звериный ток.
И, как белый камень, сознание расколосось.

V

Ум глиняный – горшок, убитый камнем,
его огромным, медленным куском.

Ночь цепью звякнула о том,
что сила слабая была в нем.
Так бешенства и пены произвол
его в черепки произвел.

VI

И, собирая черепки,
я пробую на лбу их.
Они еще чуть-чуть крепки
и все в поцелуях,
великих чувственных святынь
сожженные печатью.
А поцелуй – он как полынь
и сродни заклатью.
В тоске ревет мое ребро,
детище воздуха ночного.
Чую, как на ощупь бродит тепло
разбитого горшка ночного.
Перебирая черепки,
я – дерево страданья,
и грудь мне ломит от тоски –
от смертельной и сухой доски
и сладкого незнания.

25–30 июля 1933

РОЖДЕНИЕ МИРА

Сквозь шумы садов, навевающих жизнь,
качается боль золотая.
И лето клокочет, и лодка кипит,
в полдневные сны залетая.
Я чувствую: плоть созревает, как плод,
к земле, что ни год, тяготая.

Сквозь шумы садов и дождливых невзгод
душа дождевая бежит по аллее.
Вверху облака собрались в добро.
К ним тянутся девичьих пальцев напевы.
Но сквозь сон отдаленный блеснуло ребро,
как при рождении Евы.
Я боль золотую зажал в пятерню,
и рот отворился, как двери.
Сквозь райские дебри ходили к огню
травы, птицы и звери,
шли бабочки, в шутку мелькая в кустах,
шли тени, присущие саду,
шли длинные рыбы, на кротких хвостах
влача неземную прохладу.
И сад зазвенел, потрясая казной,
поражал стрекозиной казнью.
Меня он страшил своей показной,
своей расписной приязнью.

Я козни узнал. Я узнал серебро –
тридцать серебряников эфира,
и в час, когда боль подошла под ребро,
узнал сотворение мира.

28 июля – 17 августа 1933

БАЛЛАДА О ВЕТРЕННЫХ ВОРОТАХ

Я вычитал в чертовой книге судеб,
что мне остаются песня да хлеб,
суровый опреснок, и стопочка сна,
и песни шумливая весна.
Из ночи и злобы сварил я зелье.
Ну что ж! Приходите ко мне на веселье.
Мы клюкнем, и будет всё позабыто,
и мы поцелуем у жизни копыто.

Где робкое слово? Где нежное слово?
В глубокой траве затерялась подкова.
И, путаясь глухо в дорожной пыли,
ворота навстречу стуку ушли.
Огромный воздух лежит на ладони,
и к дьяволу скачут чертовские кони.
Это гости песню послушать летят,
и листья как вуроны кричат.
Из ада прислана целая рота,
но рот отворяется, как ворота,
и воздух качается от злости:
«Пожалуйте в горницу, милые гости!
Садитесь, и будем ужинать вместе.
Надеюсь, везете вы добрые вести?»
Но нету ответа. Лишь ветер и чад.
И только ворота, вернувшись, стучат.

29 июля 1933 – 19 апреля 1941

* * *

Укрытый тьмой слегка, лежу
и, скудоумья беловатей,
простертый разом на кровати,
за грязным разумом слежу.

В окно несет зарей и ленью,
и лень как раз по брови мне,
и отдаюсь я в тишине
сверчкообразному томленью.

июль 1933

* * *

Когда валы коней угрюмых,
главы глухие наклонив,
запутав гривы в грозных думах,
бежали прочь дорогой нив,

когда тяжелые телеги
скрипели, и под крики птиц
шли половецкие набеги
и лай волков и брех лисиц,

когда дикарь, на лес похожий,
пятой мял девичьи цветы
и человеческие кожи
натягивали на щиты,

когда страна подобно стону
летела из конца в конец,
тогда испить шеломом Дону
пошел неведомый певец.

11 августа 1933 – 12 мая 1936

* * *

Несется снег, ложится снег,
непререкаемый, шершавый,
горит саней любезный бег,
и легкий хохот над Варшавой.

Медвежье, бурное тепло
клубами валится в колени,
и от коней бегут светло,
как ручейков водица, тени,

и пляшет, пляшет при свечах,
крестом зловещим осиянна,
забывши туфельку в саях,
Варшава, ласковая панна,

и, как горячий ветерок
(о, кровь свирепого надреза!),
проходит хищный говорок
по легким волнам полонеза.

И месяц брачный вкруг стола
медовые льет паннам речи,
и обнажают зеркала
им неожиданные плечи.

Во тьме церковных голосов,
за что февраль нам платит лютый
литою медью месс, лесов,
алгебраической валютой,

смешалось всё. Медвежий мех,
он для подложной создан ласки.
Колокола впадают в грех,
звения во славу польской пляски.

Играет коготь Сатаны
с веселой кошечкою панной.
Покрыла ночь лицо страны
непроницаемой сутаной.

Сверкает снег, летает смех
да вопль звезды сухой и ржавой.
Во всех домах играет грех,
и вихрь несется над Варшавой.

11 августа 1933 – 12 мая 1936

* * *

Падают плечи в широкую воду,
капают звезды, кричат петухи.
С полночи в утро ведут на свободу
тонкой тропинкой стихи.

Губы шевелят тело травинки,
нежно лежащее на руке.
И без запинки, наизусть по тропинке
сходят стихи к промелькнувшей реке.

Знаю я холода тяжелое благо,
прикосновение росы и всплески плотвы.
О, как ритмично расчлняется влага
вкруг рассветающей головы!

И возвратившись, давши роздых
душе, ушедшей по уши прочь,
видеть воздух в мелькающих звездах,
слышать разваливающуюся ночь,

где ползают в цепях тяжелые собаки,
где, напившись до положения риз,
возятся в ошалелом мраке
еще храпящие туловища изб.

И около рассвета подслушать у колодца
крови стучащий родимый ключ,
и, обернувшись домой, уколотся
с криком о первый петушиный луч!

22 августа 1933

* * *

Протяжный вечер финской речи,
и вязы невпопад молчат,
бессильный сумрак нашей встречи
и губ безвольный водопад.

Как эхо здесь звучит судьбою,
и сколько колкостей и скал!
И ливень гласных над душою,
как бы проснувшись, засверкал.

В покрытой пенными клоками
душе – сошествие луны.
И шевелят сквозь мрак клыками,
припомнив древность, валуны.

Как дева, строгая свобода
сидит на холмике камней,
и вся колючая природа
угрюмо ходит перед ней.

24 августа 1933 – 16 мая 1936

* * *

Липы все давно на даче.
Всё равно, пойдем и мы
вдоль испытанной дороги,
комариной кутерьмы.

Чуть прищуруются ворота,
пруд насмешливо блеснет.
Как мечтательная лодка,
дача легкая плывет.

Этот сад смешной и дикий,
убегающий от нас,
эту чашку с земляникой,
глуповато-кислый квас,

эти клумбы, эти грядки,
на террасах вечера
и бегущий в беспорядке
запах сена со двора

я запомню, я зарюю,
я в пригоршнях унесу
и с твоей, чужой зарюю
схороню в глухом лесу.

Разве мир переупрямить,
возникающий порой,
коль легко бегут на память
локон, ветер и левкой?

12 сентября 1933

ОН

Лицо Его пусто, как зеркало.
Когда Он проходит по улице,
шатаются липы и лошади
и бешено падают прочь.
И смутные тени испуганно
бегут, словно отпрыски мыслей,
и перебегают без умолку
широкоротый квадрат.

Всё меньше и меньше от улицы
остается, когда Он проходит

и перед немymi витринами,
стеклянными от удивления,
снимает надменный цилиндр.

Не любит ни звезд Он, ни барышень,
ни няnek в трескучих садах.
Ему обезьяны в зверинце
почтительно кажут язык.
Он взором срезает деревья,
Он мыслит диагоналями,
Он горд, неучтив и нескромен,
как тайный советник, со взрослыми
и дьявольски дружен с детьми.

12 сентября 1933

* * *

С места срывается пресс-папье,
и начинается бытие.

И продолжается: кабинет.
Он как бы есть и как бы нет.

От глаз отваливается стена,
и приключается: вышина.

Деревья суют носы везде,
лучи плывут от звезды к звезде,

и спичечный крик Полярной звезды
я уношу в стакане воды.

Я мореплаватель, и в стакан
со стуком валится туман.

Плывет Магеллан, огибая свет...
Он как бы есть и как бы нет.

Листвой оголтелой гремят корабли,
рукам обещаны журавли.

Издали мчится возглас окна,
и приключается: вышина.

О, металлический стук планет!
Он как бы есть и как бы нет.

Вот и душа вверх дном блестит.
Ветер картою шелестит.

Вешают мир на точных весах:
как бы не спутаться в голосах!

Падает на пол кабинет;
он как бы есть и как бы нет.

21 сентября 1933 – 22 апреля 1941

* * *

Es ist eine alte Geschichte...
*H. Heine**

Он докуривал девочку до конца.
Он гладил трубочку вдоль лица.

И делала трубочка дымок,
и рос, как цветочек, семейный домок.

* Всё это старая песня... *Г. Гейне. (Перевод С. Петрова.)*

И шла любовь и вкривь и вкось,
и шла, покуда не пришлось

стоять в передней, выпрашивать губ,
смотреть в передник и стряпать суп,

мешая ласковые имена
с ребячьим криком и рюмкой вина.

Вспомнить, заплакать и позабыть!
И старую трубку снова набить.

24 сентября 1933 – 22 апреля 1941

ПТИЦЕЛОВ

Я только грустный птицелов,
и существую я спьяна.
Передо мною стол сполна,
огромный праотец столов.
Передо мной окно висит,
в нем птицы легкие поют,
в нем дождик пальчиком стучит,
как мальчик, ищущий приют.
Силка натягивая нить,
иду я тонких птиц ловить.
Уводят в темные леса
их расписные голоса.
Но плачет дождь, но молит дождь,
идя за мной от пьяных рощ,
а я с повешенной рукой
иду, как стадо чувств, домой,
и бродит стадо, как волна,
качая вечное руно,
и существую я спьяна
с дождливым миром заодно.

В руке сорока говорит
каким-то странным языком.
Вдали на всех ногах бежит
ко мне родимый дымный дом.
В нем идол дела встал в углу
в тенях китайских на полу.
В нем в бледном шорохе бумаг
я сам – как идол или маг.
В нем самый потаенный звук
не избежит крикливых рук.
Вокруг него несется сад.
В нем бродит пиво наугад,
играют дети и вино...

Вновь предо мной висит окно,
вновь предо мною стол сполна,
огромный праотец столов,
и существую я спьяна,
как неудачник-птицелов.

6–13 октября 1933 – 22 апреля 1941

* * *

Только грянула весна –
верь лирической примете:
оторвавшись ото сна,
ставень стучал на рассвете.
Ставень стучал на заре,
и откатывался сад
в безнадежном серебре
в ночь, в минувшее, назад.

На столе, как труп, свеча.
А рассвет в слезах и пепле.

Помнишь, как, сквозь сон треща,
почки лопались и крепли?
Слышишь? Возятся жуки
под корой, в корявых норах.
У весны и у реки
новый ход и новый норов.
Слышишь, как, ломая лед,
ставший желтым, прелым, скучным,
щука, пасть раскрыв, поет
на наречии беззвучном?
Белоствольный шум берез
над очнувшейся могилой
первый ветер к нам донес...
Слышишь ли в остатках слез,
ты, что в зарослях волос,
сна и грез казалась милой?

Я, безумец, строил ночь
из вина, белья и дыму.
Я в свой дом вводил, как дочь,
робкую слепую зиму.
А теперь – открой окно, –
и природа хлынет разом,
чем попало, всё равно,
ветром, ласточкой иль вязом.
И как в детстве – помнишь? – вновь
сказки красный вымысл пестуй,
и, как ветка, дрогнет бровь
над неведанной невестой.
Из густых лесных дворцов
выйдут кустики-калеки;
прибежав со всех концов,
грянут взбалмошные реки.
И зеленой свадьбы хор
грянет «Славу», крикнет «Горько!»,
и с пригорков и озер
на невесту глянет зорька.

В ковшик солнца всыплют хмель,
снег блеснет последним блеском,
и подснежники в апрель
побегут по перелескам.
На рассвете потому
мне об этом ставень стучал,
и рассвет летел во тьму
из людей, теней и кукол.

Но кряхтело бытие,
ночь была широколобой,
и грязней, чем снег, белье
было собрано в сугробы.
Кучи дыму, вздохов, слов
набросали в кресла, на пол,
и над ворохом голов
ночи пот вонючий капал.
Разворачивалась страсть
в потрохах мускулатуры,
и покачивалась власть
человеческой натуры.
В сумрак водки и сигар
уклонялась тень лица.
Пах грехами шей загар,
шел от шеи до крестца.
И, любви принадлежа,
люди зычные потели,
разъяренное ножа
лежа в бешеной постели.

Неужели ночь – как хлеб
и величья ни черта в ней,
и, от страсти ошалев,
дом и днем закроет ставни?

10 октября 1933 – 26 апреля 1941

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Я на костре уху варю,
картофель пеку в золе,
и о себе я говорю
во множественном числе.
Это во мне мычат быки,
тяжелые как боги.
Они повисли от тоски,
как мяса звучные куски,
и мечутся в тревоге.
Это во мне гудит и мычется
земля глухонемая,
существ и чувств владычица
дичится, слов не понимая.
И с ночью об одном боку,
сухой ловец природы,
лежу, подобен рыбаку,
и сочиняю оды.
От арий леса, хора вод
уха уходит в хоровод.
Уха кипит, и гнев огня
идет, согнувшись, сквозь меня.
От рыбьих звезд и чепухи
былинной и ночной
встают спросонья петухи
разбуженной грозой.
И пресмыкающаяся кровь скользит,
и рыбы бьют хвостами...
Встает восток и сквозит
и возится между кустами.
И вот, теряя небо в звездах,
мычат и мечутся быки,
а мимо, на веслах, шагами бесхвостых
идут, разрубая валы, рыбаки.

18 октября 1933

* * *

Как ведро, стучит погода,
как жестяное ведро.
То опять, опять у года
время вырвало ребро.

Как запутан в мыслях дождик!
Как запуган небосвод!
И взыскательный художник
листья красками зовет.

И меня как листья мчало...
Нет, опять, опять не то!
Словно пуговиц не стало
на разбеге у пальто.

Заклиная и колдуя,
размахнувшись рукавом,
словно пугало, стою я
в огороде роковым.

Там веками городили
чепуху да ерунду,
там на небо возводили
золоченую звезду.

Погоди, мы ту погоду,
как ненастное ведро,
году вышвырнем в угоду
за дождливое окно.

26 октября 1933 – 19 февраля 1934

ГЁТЕ

Взлетает ветер, как фейерверк,
в огнях искрящихся листьев.

По саду растрепанный Гёте
бежит, распахнув камзол.
Как полная бури зеленая ветка,
он машет свирепой тростью
и небо, схватив за загривок,
с собой волочит в луга.
И там, разметавши копны
семейного свежего сена,
и там, растолкав деревья
и камнем пустив в горизонт,
ложится он с томом Спинозы
и, ноги задравши в небо,
глядит, словно сам Создатель,
на развороченный мир.

Приходит домой и плачет,
закусывая пирожками,
и горькую страсть запивает
домашним добрым вином.
Не спит он целые ночи,
поет итальянские арии,
нагар снимает со свечки
и с плачем читает Руссо.
Блеснет ли роса за окнами –
не жемчуг, а слезы Шарлотты,
и солнце повисло на шторе,
как локон ее золотой.

Да здоровствует тайный советник –
и главный канализатор! –
в раскрытую полночь глядящий,

где ветер, и Вертер,
и Мефистофель,
друг с другом в обнимку,
шатаясь,
по саду бредут.

30 октября 1933 – 26 апреля 1941

* * *

Я встал с протяжною рукой,
вращая ею, как собой.
Моя крикливая рука
на всё смотрела свысока.
Она взирала, словно гром,
на всё живущее кругом
и отрывалась от лица
пощечиною хитреца.
Я славлю эту руку рук,
из уст исторгнувшую звук.
Ловлю я эту руку рук,
что начертала миру круг.
И, не сравнивая ни с чем
в едином нищенстве своем,
она была мне темой тем,
что сделало меня вдвоем
с огромным миром заодно,
с лесной и тесною судьбой,
с рекою, потерявшей дно,
и с жизнью, и с самим собой.

9 ноября 1933

* * *

Встал рассвет и вышел на озера,
пал туман на синие моря,
и пошли писать золотые горы
каменные кренделя.

Всенародным эхом прокатилось
утро по затверженным холмам.
Сколько кленов, лип, дубов столпилось
и мелькает здесь и там!

Путешествуй, коль не надоело,
по классическим долинам и,
спотыкаясь на слове то и дело,
слушай, как умолкли соловьи.

Вспоминай, коли еще не трудно,
утро, ночь, мечтательный монах!
Или спи, как Цезарь, непробудно
в грамматически знакомых временах.

Луг растрепанный бежит по кругу...
Ринется ли в омут головы,
где хранят реки рыдающую руку
и запутанную речь травы,

где мешают плач слепых мелодий
с годовалой радостью ребят,
где мешают медленной природе
спать, как тысяча веков назад?

Я иду на озеро с рассветом
и за ветром девичьим слежу,
говорю с самим собой и в этом
нехорошего не нахожу.

9 ноября 1933 – 19 июня 1936

ФЛОБЕР

Утро распахнулось, как халат.
Встал Флобер, и кровь в нем тяжелеет;
как телеги с грохотом на рынок,
движется в громаде тела кровь.
О, побеги будничного шума,
первых звуков слабые ростки!
Ухо пышет розою багровой
и вбирает капельки рассвета.

Высекая кованым копытом
о скупой булыжник мостовой
золотую искру Прометея,
груз искусства тащат битюги.
Труд воловий! Каменеет вя,
словно ствол, прошедший сквозь века.

Встал Флобер и, поднимая руку,
говорит: «Искусство – кара мне,
тем величественней, чем труднее».

Вдалеке, как черный муравейник,
рынок развороченный кишит.

Медленной патрицианской крови
в грузном теле слишком тяжело.
Римский взор уходит в облака,
в синь над черепицами Руана.
Ванна ждет. И мысли мудрый свиток
развернет рука – привычный к слову раб.
А на ванне голубые вены,
будто реки на холодной карте,
на огромном мертвом теле жизни...

Ключница забрякала посудой...
Солнечные звонкие запястья,
топот смуглых ножек Саламбо.

В кабинете уж кричит работа.
Кофей в облаках клубится на столе.
То фарфоровая чашечка Сократа! –
Пей, трудясь над воспитаньем чувств!

Рынок ринулся, воскликнув: «Ессе homo!»*
Задуши, распни, побей камнями».
Балки давят плечи, и дыханье
стало грузным соляным столпом.

«Нет, я жив еще». Флобер топорщит
гневные лохматые усы.
Неужели кладбище восстало,
рынок мертвых правит буйный торг?
Неужели тенью похоронной
птицы пали на сады Руана
и аптекарь в шарики цветные
разливает пестрые яды?
Сердце грянуло. И надломилась выя.
Хрустнул дуб, как зуб гнилой, в саду.
Пал Флобер, и на челе открылся
сок искусства – медленная кровь.

11 ноября 1933 – 30 апреля 1941

ГЁЛЬДЕРЛИН

Я взоры свои на ладонях тебе приношу,
отец мой, Эфир голубоокий.
Глубокая, как небесный океан, любовь
стоит надо мною в жарком полудне,
в ручьях и векбх истекает время,

* Се человек! (лат.)

и пересохших уст
еле касается
мгновенная влага.
Отче! Эфир голубоокий!
Нимб безумия
собрался над моей головой,
от молний ослепли тонкие очи...
Так зачем улыбаются легкие реки
и воздух с налету
в щеку целует?

Отец мой!
Убери с головы моей черные тучи,
отгони ворон от стенающей груди,
открой мне, как в детстве, тихие дали.
Где ты,
о Диотима?

13 ноября 1933 – 30 апреля 1941

* * *

Город занесло туманом.
Как назло, разит весной.
В головах и по карманам
ходит ветер продувной.

Обернется и присвистнет,
и в воротах постоит.
Брань на вороту не виснет,
брань как бабочка летит.

А весна в упор подходит,
дерзко под руку берет
и его, дурного, водит
от ворот и до ворот.

На полуночной прогулке:
«Милый, любишь ли, скажи».
А в укромном переулке
блещут финские ножи.

И, туманы разрывая,
будто тошно взаперти,
разбегаются трамваи
по последнему пути.

Втихомолку, понемножку
в нас безумье входит вновь.
За трамвайную подножку
всё цепляется любовь.

Фонари, ушедши в мыло,
всё пускают пузыри.
Всё опять, как в детстве, мило –
вечер, звезды, пустыри,

глупый топот женских ножек
и бессмысленный снежок,
всё, покуда финский ножик
сердца разом не ожег.

21–22 ноября 1933

ПИКОВАЯ ДАМА

Утро лопнуло. Город пускает пузыри
сонным детским ртом.
Сознанию розданы красные карты зари,
сознание мыслит о том.
Дверь навалилась грудью, не пускает растущий шум
войти с корзинкой петрушки, салата, моркови.

Опущены шторы. И мечется ум,
рвет и мечет карты цвета огромной крови.
Ныне отпускаеши ночные грехи
и все малюсенькие прегрешенья.
Я рву написанные стихи,
и город рвет от принятого решенья,
от принятого хлоралгидрата,
от белых простынь и желтых домов,
где лицо сужается до квадрата,
наполненного тенями умов,
где лицо, чьи тени узки и покаты,
призывает на помощь Муз,
повторяя: «Три карты, три карты, три карты!
Тройка! Семерка! Туз!»

22 ноября 1933

* * *

Опара вешнего тумана
восходит. Мне природы жаль.
А пара вечного романа
идет в пастушескую даль.

Везде любовь имеет место:
и при звездах, и при луне.
И тело, теплое как тесто,
лежит в объятых, как в квашне.

И вот лицо в оправе страсти
растет и заполняет даль.
Оно природу рвет на части,
и мне природы этой жаль.

30 ноября 1933 – 24 апреля 1941

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Куры дремлют, козы спят.
Ночь от головы до пят.
Скачут блохи по избе.
Что ж не дремлетя тебе?
Печка пухнет, что калач.
Замолчи, пострел, не плачь!
За грядую облаков
бродят стаи мужиков.
Кто с ножом, а кто с ружьем,
с кулаками и с дубьем.
Принесут тебе – не хнычь! –
освежеванную дичь.
Чу, летят во все концы
бородатые отцы.
И ножи, как синий чад,
во хмелю блеснув, стучат.

6 декабря 1933 – 30 апреля 1941

ЭЛЕГИЯ 1-я

Домики забрызганы садами.
Разметался жаркий городок.
Лето валит синими клубами,
день, как девичьи глаза, глубок.

За приметой тянется примета...
В паутинках яблони цветут.
Раскраснелось кухонное лето,
серафимы белые поют.

В бурной меди варится варенье.
Серафимы колют рафинад.

И, как в день последний сотворенья,
встал торжественный воскресный сад.

Липнет день в прекрасных белых крошках
сахарного счастья и любви,
и на шустрых желтеньких дорожках,
как горох, стрекочут воробьи.

В небе чистом, медленном, глубоком
облака веселые гостят,
и тихонько, улыбаясь боком,
сухонькие домики грустят.

Только грусти каждого предмета
нынче пасть в ладонь не суждено.
Ласточка – воздушная примета –
вместе с облаком летит в окно.

Еще дышат сонные подушки,
а уже, губами шевеля,
всё гадают робкие старушки
на бубнового былого короля.

И от легкой голубой обедни
девушки-безбрачницы идут.
Всё бесплотное в этот день последний,
колокольни белые поют.

Домики! Старушки-вековуши!
Я, проснувшись, грешник, опишу ль,
как доходит человеку в уши
утром звон обеден и кастрюль.

11 декабря 1933

* * *

Во тьме деревянной воздуха,
в зыбком осеннем вечере
задумались руки мои.
Испуганные мысли пальцев,
как столбики лунного света,
порхают сквозь темь вековую,
едва указуя пути.
Бормочут бедные пальцы,
касясь шумной природы,
обрушивающейся, как вечер,
с восклицаящих лип в траву.

Закат подступает к горлу,
и черствым куском вороны,
нелепо воткнутом в небо,
давно подавиться пора!

Но нет! – Я целую корни
огромным дубам бессловесным,
и ворохи междометий,
как листья, с лип летят.
Но нет! – На груди по-кошачьи
играет когтями ветер,
и вечер строит просторный,
открытый настезь шалаш.

И я говорю: «Mater nostra,
natura bona, humana!»
И всходит последним прибором
к последнему, доброму небу
бушующий рук разговор.

13 декабря 1933

1934

1-е ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

Десятый год во мрак и непогоду
уходит поступью, прилично годам,
несет во тьме сиятельную оду,
что нам оставил Осип Манделъштам,
когда он тайно с временем прощался
и век в свидетели разлуки призывал –
и, как ребенок нежный, возвращался
и руки матери, рыдая, целовал.
О Новый год! твое святое имя
век восемнадцатый, дрожа, произносил.
Возьми стихи из рук моих своими,
исполненными стародавних сил.

1 января 1934

* * *

Быть может, некогда, в Начале,
когда была в пеленках речь,
ночам суровым назначали
нам детство сонное сберечь.

И зрели мы тогда воочью,
как душу брали нам ветра,
надменной посланные Ночью,
непроходимой до утра,

как, гриву превративши в струны,
гремел в степях широкий конь,
как звонко падали перуны
в молитвой полную ладонь.

Всё нам являлося вплотную
и подступало к горлу вдруг.
И одесную и ошую
был камень, лес, топор и звук,

грехопаденья и ошибки...
И сон еще не кончен мой.
И неуверенно, как в зыбке,
качаюсь я в ночи глухой.

И эта ночь всё что-то значит,
всё пышет звездами она.
Завтра день переиначит
ее немые письма.

1 января 1934

И. С. БАХ

Как свод земли еще исполнен страха
и пенья вод дрожит в груди ночной!
Свеча, как жизнь, сгорает за свечой.
О, восковая жизнь надменного монаха!

Тоска, свеча, смиренная рубаха,
органный сумрак, посланный судьбой...
И руки ходят грозной чередой,
построив страсти Себастьяна Баха.

Органный сумрак, тела стройный крик...
И, к небу возводя и огонь и воды,
растут, как гром, и в тучи вышли своды,
и ночь стоит – неколебимый миг...

А Магдалина – тень земной свободы
плюет с размаху в царственный парик.

6–7 января 1934

* * *

Ведро с полным, круглым звоном
упадают в водоем.
И на горе суждено нам
одинокчество вдвоем.

Вдалеке играют Глюка,
и к реке бежит обрыв.
Наша кроткая разлука
смотрит, двери приоткрыв.

Ропот робких паутинок
слышен в воздухе окна,
и от Гофманских картинок
наступила тишина!

Тех картинок за бесценок
не отдам я в этот час,
и самой души оттенок
у твоих прекрасных глаз.

Кто же ты, что так вплотную
подошла к душе моей,
что тебя к себе ревную
черной ревностью своей?

Ты ль мне сердце сразу вынешь
и дыханье вырвешь прочь,
и на утро отодвинешь
набегающую ночь?

Я, чудак и беззаконник,
слезы мелкие утру...
И, упав на подоконник,
руки плачут поутру.

7 января 1934 – 2 августа 1935

* * *

I

Туда мы душу повлечем,
к высокой в звездах яме,
туда, где ночь кипит ключом,
эфирными струями,
где заикается звезда,
в деревьев бурю канув,
где тени мучает вода
от облаков и великанов.

II

И где страна в прозрачном «ах»,
как звонкий мятный пряник,
где сказки виснут на ветвях,
как на руках у нянек,
где луны бледные бредут
и плачут неустанно,
царевны бедные прядут,
шумят рассеянно фонтаны.

III

Туда мы душу повлечем,
и по законам лучшим
за каждым звуком и плечом
мы по лучу получим.
О, кто тебя еще поймет
среди тишины родимой,
ты, страстный ночи водомет,
безжалостный, неукротимый?

10 января 1934

* * *

Сугубая полночь. Сугробы, как темные губы,
надвинулись ближе и правду в лицо говорят.
Да, ночь нарочита снегами и тени сугубы,
и тени идут от ворот и в окошки стучат.

И брешут собаки. На мельнице снег засыпают.
Вращается жернов, как гром отдаленный, в бреду.
В глубоком саду все рябины уже засыпают,
но шарят по снегу упавшую навзничь звезду.

И бродит тепло по рукам голубыми клубами.
Котенок у печки играет клубочком судьбы.
И на стену рвется кровать, а стены сшибаются лбами,
погрязло в сугробах и мечется жаркое тело избы.

Огромное брюхо вздыхает, растет, как опара,
и пресного счастья волшебный лежит колобок,
и в сумрак взирает начищенный лик самовара,
как идол настольный, как добрый хозяйственный бог.

Воркует тепло. Воробьи уже спят под застрехой.
Лишь изредка охнет любовь, повернувшись во сне,
и тотчас раздастся в ответ непомерное эхо,
как туча растущего тучного теста в квашне.

И брешут собаки, и нежно визжит поросенок,
что кругленький розовый месяц, взошедши в хлеву.
Рябины всё шарят звезду, оступаясь спросонок,
и шепчут сугробы всё ту же ночную молву.

А нищая правда, шершавой прикрыта рогожей,
стоит в огороде и машет пустым рукавом.
Не лебеди, нет, а вороны летят у царевны пригожей,
и мельницы ждут в обороте своем роковым.

11–19 января 1934 – 5 мая 1941

ПТИЧЬЯ ОСЕНЬ

I

Три тени птиц в руке моей
и ухо розовых морей.

Лицо дубов, осеннее, рябое,
в глубокой оспе медленно стоит.
Как раковина на краю прибоя,
звук вечера вдали лежит.

Как грудь, вздымается и ходит море,
и кличет ночь, и пробует уснуть,
колышется и переходит в горе,
а горе подымает грудь.

Осенний холодок. Попробуй быть счастливым,
поговори блаженным языком –
тебя заморозят зари разливом,
как розовым топленным молоком.

В сухих лучах волной играют кони,
синица мчит через плетень,
и палочкой выводит тень
ее полеты на ладони.

Как сизоперый гром, летит синица,
с волною синей смешана она.
И море в этот час огнями осенится,
вскипая гордостью до дна;
взрывая неуклюжие глубины,
обидной солью берег окропив,
оно поднимется, как грозный час судьбины,
как вал веков, как времени обрыв.

О птичка нежная! Вернись скорей на пашни, –
пусть встретит гром тебя в сияющем лице, –
и стань опять такой вчерашней и домашней,
отстукивая осень на крыльце.

II

Крикливые проходят корабли –
венеценозные красавцы журавли;
они шагают – длинные скитальцы, –
и небо бьет об их бока,
и клювы их – пронзительные пальцы –
уходят в золотые облака.

III

И ястреб бешеный расходится кругами,
как камень, брошенный в густую синеву.
И тень его обширными руками
всё шарит в травах, душных наяву.
Семейный стог. Домашний вечер мира.
На детский лад в лугах играет конь,
и ястреб, в когти взяв злаченый сноп эфира,
как башня, рушится в бездонную ладонь.
Прощай, оставшаяся знаком птица
в моей ладони! Такова судьба.
Вдали уже чернеет и коптится –
нет, не архангела, а домика труба.
Валы коней нахлынули чрез луг,
хранят траву прозрачные копыта.
Остался вечера осенний звук,
а остальное позабыто.
И я в ладонь, как в зеркало, смотрю.
О нет, не я тому виною!
И вот, по капелькам собрав зерно,
как лучиком, играю я волною.

25 января – 24 июля 1934

* * *

Плещут бешеные знаки
в море бурного письма.
Я сижу в осеннем мраке,
очарованный весьма.

Топот слов похож на шепот,
голос входит как прибой,
и огромный неба опыт
собрался над головой.

Я читаю. Фраза тучей
оседает на губах,
а звезда, звезда в падучей
так и бьется на волнах.

Вечер тонок был до смерти
и тянулся, как тесьма,
на голубеньком конверте
торопливого письма.

Милый друг! С моим сомнением
всё свершается легко,
и встают стихотвореньем
мир, и вечер, и письмо.

29–30 января 1934

* * *

...und alle Dinge stehn wie Klüster...

*R. M. Rilke**

Сумрак замкнут в каждой вещи,
как в пустом монастыре,
и стареет звук зловещий,
звук заката на дворе.

Облака в куски разбиты,
липы вянут от тоски;
звонко шлепаясь о плиты,
стонут майские жуки.

Я сижу, немой и строгий,
как святой Себастиан,
переписывая строки
весен, канувших в туман.

Стройной киноварью крашу,
поздним златом золочу
прописную букву нашу,
«Я», подобное лучу.

Хором громким и богатым
буквы кружатся в лучах
и цветут сплошным закатом
на пергаментных полях.

И в венце из горьких терний
я сижу – уже ничей, –
но исчезнет час вечерний,
хлынет сумрак из вещей.

* ...и все вещи стоят как монастыри... *Р. М. Рильке (нем.)*.

И затмит его движенье
шепот сухонькой травы,
будет головокруженье
рук, и губ, и головы.

Тем ужасней, чем короче,
чем тоскливей и пустей
в этой иноческой ночи
одинокество страстей.

2–18 февраля 1934

* * *

Приходит сад, глубокий до потери
сознания, и стоит в окне моем,
сияющий в огромной звездной вере,
и ухо темное – монашеские двери –
открыл внимательный, тяжелый водоем.

О католическая ночь! Колодец,
ушедший в небеса из теплоты земли.
И легкий вздох и отзвук богородиц
ладони лип, склоняясь, пронесли.

И желтоликих свеч уже толпятся хоры,
и проповедь горит среди свечей...
На плечи мне легли твои глухие взоры,
о Вещь единая вещей!

Ты поднимаешься, вещая,
из тьмы куста, как с темной крови дна.
Ты, нищая, мне звезды обещаешь,
морщинкой бедности всё исстари видна.

И, вещи робкие беря больной рукою,
как теплый и потертый грош,
одну вещицу за другою
ты мне в ладонь холодную кладешь.

Органа шум, и ветер свищет, тщится
найти созвучье всех ветров.
Трепещет павшая в ладонь вещица,
как отпущение грехов.

В окне внимательном деревьев вбиты сваи,
пустеет щедрый сад, сходя на нет,
и ухо булькает, по капелькам рыдая,
уже предчувствуя рассвет.

2–18 февраля 1934

* * *

Если Ты, Господь, в грозе и буре
простирали торжественную длань,
то сегодня в липовом сумбуре
лета – вновь грозою стань.

Посмотри, как, извиваясь, стонут
в судороге травы на лугах,
как идут ко дну, с тяжелым сердцем тонут
реки в изумленных берегах.

Посмотри, какая суматоха
воробьиной, яростной листвы.
Из груди уже не вынуть вздоха,
не поднять упавшей головы.

Посмотри на головокруженье
лип; они совсем сошли с ума,

их зеленое воображенье
покрывает полдня тьма.

Полдень слеп. Лежит как душный слепок,
душный слепок лика Твоего.
Господи! Ты словом зол и крепок,
и боюсь я слова Твоего.

У ручья лицо водобоязни.
О, кузнечиков египетская тьма!
Бог! Твои ужасны казни,
и не дай мне, Бог, сойти с ума!

Лучше грянь огромным громом гнева,
тучей грохота осядь среди кустов!
Но течет с разинутого неба
бешеная пена облаков.

Раздави стоверстною стопою
этот день; он хрустнет черепком.
И я лягу псом перед Тобою,
с высохшим от счастья языком.

9–19 февраля 1934

* * *

Облак нб небе висит,
а за ним огонь бежит...

И вечерней крови зной
над небесной кривизной
в душных кленах ходит снова.
Облак, облак подвесной,
весь пронизанный весной,
ты ль бежишь от расписного,

золоченого огня,
или тень – твоя основа
пролетела через меня?

Без улыбки и без злобы
я гляжу, как бы шутя,
крупноглазый и безлобый –
философское дитя.
И в поту тоски ребячьей
думу легкую храню,
счастлив тем уже, что зрячий,
что гляжу вослед огню.

Ах, я знаю, что от зною
мне не деться никуда,
но я всё же не открою
мнений детства никогда.

11 февраля 1934

ПЕЙЗАЖ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В сад, от неба отделенный,
заунывный вечер лег,
и, как детство отдаленный,
вевт волжский холодок.

Горький вкус листа сирени.
Пароходные свистки.
Пальцы нежные мигрени
на мои легли виски.

Тру глаза, как бы спросонок.
Неужели я не сплю?
Неужели, как ребенок,
я бывшее вновь люблю?

Неужели по законам
задушевной теплоты
сонным, медленным драконом
тихо тянутся плоты?

Неужели мне не снится
и не мучает меня,
как тяжелая ресница
выпадает из огня?

Ах, пора бы удивиться,
что так явно, например,
на бульваре ждет девица,
что к ней будет кавалер,

что в трактире на гитаре,
на бильярде, за столом
жизнь ведут купцы да баре
и играют напролом,

что старушки всё хлопочут,
яствам делая парад,
что колеса всё лопочут
не в угоду, наугад.

Рыбаки на черных лодках
возят легкий сноп огня.
Поцелуйчик в папильотках
раздается у плетня.

И по-детски непонятен
этот звук среди тишины
небольших вечерних пятен
и скользящей прочь волны.

О, далекий вкус варенья,
ты один пред миром прав.

Мир уходит в испаренья
колдовских и сонных трав.

Ночи тень ложится косо.
Снова сплю я наугад.
Пароходные колеса,
как в тумане, мне стучат.

13 февраля 1934

СУД

Я, веселый, как весы,
протянув ладони обе,
я колеблюсь для красы,
ради правды – не по злобе.

Счет веду я в тишине
неумеренно и резко,
я, распятый на стене,
как египетская фреска.

Души кроткие вещей:
коз, деревьев и пшеницы,
трав, мотыг и овощей,
насурьмленный вздох ресницы,

и любимой узкий след,
и любовный воздух ночи,
и потерянный браслет,
и тоску мою – короче

всё, что есть, беру сейчас
в воспаленные ладони.
Тело зыблется, мечась
в белене и белладонне.

Беспристрастием мой лик,
словно краской, изукрашен,
когда в тьме ночных улик
город стал в порядке башен.

Город башней доказует,
что он мыслит и живет,
он луну грозой волнует
и в свидетели зовет.

Город, город, ты – вчерашен,
ты погряз в полночной тьме!
Доказательства от башен
существуют лишь в уме.

Душ поток несется, ширясь
кругом вечного дождя.
И сижу я, как Озирис,
счет грехам во тьме ведя.

18 февраля 1934

* * *

С упрямым зеркалом играю;
оно беззвучно и темно.
И ночи нет конца и краю;
она безбрежна, как вино.

Стекло окна, стекло стакана –
не всё ль прозрачно и равно.
За тонкой прихотью тумана
прядут какое-то руно.

Земля покрыта снежной сыпью,
сплошной страдальницей видна.

Я до конца окна не выпью,
не осушу окна до дна!

И, как велят нам тьмы преданья,
на перекрестке буду ждать
и соляным столпом рыданья
о радости чужой гадать.

И башмачок падет на счастье,
и я опять коснусь всего,
а полнолуние – полногласье,
одно восторженное «О».

18 февраля 1934

СЕРЕНАДА

Худой румын да тощий серб
с тоской глядят на лунный серп.

Вдали волной шумит Дунай,
и звуки льются через край.

Румын романс слегка поет,
а серб смычком едва ведет,

и музыка – больная дочь –
с трудом растет руками в ночь.

Рыдай же, сердце, бейся, плачь
в загоне загородных дач,

где спят, уставши от игры,
в саду крокетные шары,

где, отцветая, спит сирень,
где каждый лист похож на тень,

где, за день наигравшись властью,
спит дачная молодая страсть.

В ответ тоске сплошной молчок.
Волной становится смычок,

и, как у песенки без слов,
у голоса нет берегов.

И все кругом обречены
на грусть цыганской тишины...

Худой румын да тощий серб
с тоской глядят на лунный серп.

21 февраля 1934

ЛЕС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Человечество с ветвями
подымает голоса,
запевает соловьями,
как вечерние леса.

От корней и до макушки
по нему шагает рост,
раздается стук кукушки,
бьют часы старинных звезд.

И оно, часам внимая,
шлепает в глухой пыли,
с корнем корни извлекая
из дряхлеющей земли.

Ходит бурей по предместью,
разражаясь жестом в гром,
и грохочет, как пред мезью,
ржавой жезью и стеклом.

Утихает как-то разом,
так что дождик моросит.
В фиговых листочках разум,
словно в платьице, висит.

То березоу, то кленом,
чем попало – всё равно –
в робком голосе зеленом
подымает ветвь оно

и кричит, слегка тоскуя:
«О, помилуй, Боже, мя»,
каждой веткой голосуя,
каждым листиком шумя.

В небеса уводит звуки
звучной логики тропа,
и стоит, нахмутив руки,
человечества толпа.

23–26 февраля 1934

* * *

I

Всё утро в смутных разговорах –
и в скорбном дыме папирос
воспеть осенних листьев ворох,
как письма к памяти без слез,
без вздохов грусти, без печали,
и дым событий голубых,

и запечатанные дали,
и почерк дождичков грибных,
всё, что когда-то звали, ждали,
придет опять – и будет стих.

И эту кучу старых писем,
души моей ночную тьму,
порывом страсти к тихим высям
я, вспоминая, подниму.

II

К забытой издавна природе
навстречу я с крыльца сойду
туда, где тучи в огороде
и ветерок сидит в саду.
Деревья вроде птичьей клетки,
где птицы больше не звучат.
И вот, на ветер бросив ветки,
березы мыслят и молчат.
В них небо, словно взор в сетчатке,
стоит испуганною тьмой,
и голубые опечатки
в нем прорываются порой.
В воздушной путанице линий
шагает взор, уже устав, –
так ноги вязнут в липкой глине
и каждый чувствуют сустав,
как молний взгляд. Ландшафтом болен,
он на детали расчленен.
И с отдаленных колоколен
летит вороний тихий звон...

Невыносимо ревматичен,
с сердцебиеньем начат день,
и частоколом зуботычин
простой становится плетень.

Мне горя нужно до зарезу,
мне нужно счастье вспоминать.
Через плетень я перелезу,
чтоб в диком воздухе блуждать
и за едва звучащей чашей
перебирать старинный хлам,
набросанный по всем углам,
такой шершавый и шуршащий.

III

Даль у вечера – нора барсучья,
близ нее лисицею закат.
И дубов насупленные сучья
сдвинулись и под ноги глядят.

Подымите веки и ресницы,
отпустите на свободу взгляд!
Листики, нахохлившись как птицы,
всё на тонких веточках сидят.

А потом, в траву все враз попадав,
вновь становятся листвою,
и, как будто круг последний адов,
роща кружится передо мной.

Мой насупленный от горя голос
мне навстречу по полю идет,
и про то, что под землей боролось,
на гитаре он поет.

Ветер треплет тряпочкой и тучкой –
вспомни занавеску на окне! –
и заржавленные звезды кучкой
собраны в небесной глубине.

26 февраля 1934 – 18 августа 1935

ЛЕДОХОД

Шумно мечется вода,
как сплошная ерунда.
В ней обломки веток, щепки,
козырек усопшей кепки,
в ней по правилам науки,
как ружье, стреляют щуки,
в ней, как бурные явления,
друг на друга прут поленья
и весна кусочком льда
тает, тает без следа.

Ветер вскапывает грядки,
и упрямый берег смят.
Испаряясь в беспорядке,
льдины буйные шумят.
Вольной влаги луговина
так и ходит ходуном,
словно мира половина
повернулась кверху дном,
и бежит рысцою год,
догоняя ледоход.

Пережитым и бывалым
вся река полным-полна.
И девятым хлынет валом
шумной памяти волна.
И следя, как, жизнь измучив,
году вслед мелькает год,
вспоминаю я, что Тютчев
пел такой же ледоход.
Ведь и Тютчев в эти дни
мне доводится сродни.

1 марта 1934 – 13 мая 1941

АЗБУКА

Я встал, немного ошалев,
пред обветшалым входом в хлев.

Смущен до глубины лица,
растерянно сказал я: «А».

И проблеяла слабо «Бе!»,
покрыта шерстью, Вещь в себе.

И шерсть без Меры и Числа
на все Окрестности росла.

Она косматила луга,
она входила в берега,

и, как мохнатая волна,
к ладони ластилась она,

свисала с сучьев и ветвей
уже пушистых тополей,

едва-едва издалека
гнала ягнячьи облака

и, как туман, в вечерний час
низинной шла помимо нас.

Лицо мне обвевал зефир.
Я созерцал мохнатый мир.

Мою измученную персть
покрыла бешеная шерсть.

Мы вместе стали есть и пить
и звуков азбуку учить,

мы стали в кубики играть,
слога да буквы составлять.

Какие длинные слова!
От них болеет голова.

Но про себя храню мечту:
быть может, что-нибудь прочту.

5 марта 1934

* * *

Солому, солнце, лес и тучу
свалив в одну большую кучу,
сказал я тихо: «Благодать!» –
и сел на камень отдыхать.

Скворцы, хвосты задравши вволю,
шагали по сырому полю,
внимая шелесту ветвей,
ища, как вшей, в земле червей.

Перед картиной этой тихой,
пленен сплошной неразберихой,
стоял я, глуп и глуховат,
не зная, кто ж тут виноват.

И представитель побасенок,
нежнейший, скромный поросенок,
порозовевши для красоты,
визжал от холода росы.

И посреди двора земного,
где многое уже не ново,
не понимая ни черта,
стояла дева Красота.

Она, как барышня, дрожала,
и робко мненье выражала,
и говорила, что мой дом –
библейский сумрачный Содом.

Ее печаль была горька мне.
Я всё еще сидел на камне,
и ни вода, ни даже речь
под камень не решались течь.

Вдруг, пожалев ее рыданье,
ее прекрасное страданье,
я совесть в горле ощутил
и, как герой, с земли вскочил.

Я встал в мучительную позу,
пошел навстречу по навозу
и, взявши девичью ладонь,
запечатлел на ней огонь.

И дева, рук не отнимая,
стояла, как глухонемая,
а в бледном зареве ногтей
светился стыд, таимый в ней.

10 марта 1934

ФЕВРАЛЬ

Он шутник, гуляка, бабник,
мот и залихватский враль,
сват, и сводник, и похабник –
разухабистый февраль.

Масленица отгудела,
отзвенели бубенцы,

снежным сором то и дело
сыпало во все концы.

В кротком благовесте будней
в сумрачный сугроб сырой
дом, купчихи непробудней,
сонной валится горой.

Переулки опустели,
спят на козлах кучера,
и валяются в постели,
заскучавши, вечера.

Пост ленивый и старинный,
через силу ешь едва.
И великою периной
ты раскинешься, Москва!

Белый кофей засыпаешь,
перемолот вздор былой.
Вот и сам ты засыпаешь
на подушке пуховой.

12 марта 1934 – 13 октября 1942

РЕКА ГОВОРИТ:

Под небесного цвета льдом
Божий мой прозрачный дом.

В дрожи сваи, бревнб, столба
струится моя судьба.

Звон монеты, нечет и чет.
Жизнь, захлебываясь, течет.

Так озябнуть и мне довелось
до корней стеклянных волос.

Дом устал поить и звенеть,
зеленеет, как старая медь.

Высоко надо мной леса,
над лесами висят небеса,

а вокруг, как зловещий знак,
снежный рок, ледовитый мрак.

15 марта 1934

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,
в час, когда ранняя обедня
шла по обедневшим ветвям берез,
шла по рукам разменной монетой ветра,
звякающей мелочью жизни,
обступившей с дарственными лицами
мой первородный крик.

Звенели почки и бубенчики,
отголоски румяной масленицы,
и комья рыжего снега
летели из-под саней.
Меня обступили лица
шумевшего человечества,
надо мной проносились предметов
погремушечные тела.
Комната была как аквариум,
в нем слонялись гибкие рыбки,
шатались, шептались растения,
в ней припрыгивали канарейки
и разбрасывали семя.

В этот день прилетавшие птицы,
огромные как южные звезды,
гнезда себе не свивали,
а громко молились и пели
о моей одинокой жизни.

Мир выпущен был на волю –
таков был милый обычай –
и пел, и свистел, и щелкал
на ветках ближайших деревьев.
Он славил мое рождение,
неотвязное чувство жизни,
то, которое ближе
своей самой милой тени.

В пучину простынь и подушек
я свалился розовой раковиной,
всё во мне орало от радости,
от воздуха, переполнявшего рот.
Цвели пасхальные лилии,
водосточная труба гремела,
как труба архангела Гавриила...
Я родился в Благовещенье.

7 апреля 1934

* * *

В разлитом море пива
и в бездонном горе слез
зачат был неторопливо
маленький туберкулез.

По ночам лежала слякоть,
насморк бил во все платки.

С пьяных глаз хотелось плакать,
проклиная взрыв тоски.

И, собравшись у окраин
и с трудом набравшись сил,
одинок и неприкаян,
ветер кашлял, ветер выл.

Это счастье, наше ль, ваше ль:
тенью быть перед стеной?
Вдоль по крыше шлялся кашель,
хриплый, ржавый, жестяной.

В каждом звуке, в каждом жесте,
в запахе от поздних роз
слышен отзвук ржавой жести
с именем «туберкулез».

Как мотало, как хлестало!
Как рвались деревья жить!
Но последние листало
листья, чтоб их закружить.

И звенели за стаканом
серебристые рубли,
исчезали за туманом
золотые корабли.

Высоко, на дальней мачте
чайка хлопала крылом...
Так не пейте и не плачьте,
а живите напролом.

8 апреля 1934

НА МОТИВЫ ЛАНДШАФТА

Или это только мнится,
как далекий взмах весла,
что очей моих темница
вдруг травую проросла,

что в широких водах взора
помутилось сразу дно,
и вращаются озера
и сливаются в одно?

Озираюсь с тихой лаской,
и, пока ищу слова,
свежей пахнущею краской
сразу бьет в лицо трава.

Легкий лебедь кличет самок –
белый пламень на груди.
И стоит Шильонский замок,
как былое, позади.

Не забыть мне этой даты.
И, держа весло в руке,
дух старинный, бородатый
проплывает в челноке.

Чу! Охотник кличет фею.
Село облако гусей.
Я с ума сойти сумею
от отвесной жизни сей.

Пропасть вымазана сажей,
просто плоскость. Надо ль ждать?
От таких земных пейзажей
можно голову сломать.

Над швейцарским домом мирным
небо долгое висит,
и оно звенящим фирном
вновь мне очи ослепит.

11 апреля 1934

НОЧНОЕ СЕРДЦЕБИЕНЬЕ

Слышишь, сердце большими кругами
нарастает, как полночь, во мне.
Черной крови в пассаже и гамме,
черной музыке – в полночь руками –
суждено рокотать в тишине.

Это – сердцебиенье ночное,
это – в горле кровавая тьма.
И начну я глухое, слепое
и немое дело ума.

С воспаленных ладоней постели,
скорбной краски не смыть, – так остынь,
пусть подушки летят по постели,
задыхаясь от страсти, без цели,
как в пустыне по ветру простынь.

Пусть луна проплывет на портрете
музыкальной фразой и вдруг
в этот час, час последний и третий,
переделает линию в звук.

Пусть гроза мне черты наметит,
и лицо прогремит, как луна,
и, как зеркало, эхом ответит
потемневшая вдруг тишина.

Это в зеркале ль рыбок свеченье?
Это морем ли стала гроза?
О, лица прозвучавшее пенье!
О, чужие, в испуге, глаза!

Полночь отдана снам и пернатым,
очертаньям деревьев во власть.
Я волнуюсь, как первый анатом,
раздирающий скальпелем страсть.

Ночь в окне – будто труп в формалине
гениального подлеца.
О безумная форма линий,
линий голоса и лица!

Я себя по частям собираю
и с трудом в зеркала увожу,
и оттуда я песни слагаю
и, стекло раздирая, гляжу.

Я в свидетели злого искусства
призываю Тебя, Господь!
И осколком полночного чувства
вскрою белую кроткую плоть,

чтобы кровью моей замогильной
подписать роковой договор,
чтоб увидел ты, Деспот всесильный,
что не раб, не слуга я, не вор.

Ничего из творений Господних,
ничего из Твоих имен
я не взял и стою лишь в исподних,
в утомленном сияньи кальсон.

Ты простишь мне, что я издеваюсь,
что слова мне – как жест Сатаны.

Если мало, так я раздеваюсь
и совсем снимаю штаны,

и стою фигурой нагою
до того, что похож на луну.
И клянусь моей светлой ногою,
что другую луну прокляну.

Эти звезды – как гвозди, как стуки
над моим деревянным концом,
и сойдутся, рыдаючи, руки
над моим двуединым лицом...

.....
.....
.....
.....

Всё беззвучней, бледней и бездонней
в простынях и подушках луна,
и не смыть с воспаленных ладоней
бестолкового черного сна.

11 апреля 1934 – 21 сентября 1935

* * *

О, как этот взор сверкал
в дебрях яростных зеркал!
Словно молния рвала
на блистающие части
гладь туманного стекла,
помутневшего от страсти.

Будто грубых лбов кубы,
льды вставляли на дыбы.

И в стекле что было сил
сумрак жил, подобный выюгам,
ледовитый сумрак жил
за его полярным кругом.

И, волнуясь, в глубь ушли
руки, словно корабли.
А вокруг толпилась ночь,
вся в раздоре, вся в сумбуре,
и лицо бежало прочь,
всё в кусках зеркальной бури.

18–19 апреля 1934

ЛАВКА

Деревья толпятся, как тучи, и давка,
и пыль. Голова – как сама не своя.
И вот начинается шумная лавка,
где лето полощется, как кисея.

Кисейное лето. Кисельное время.
Молочные зубки и реки в брегах
с водою молочной и водами теми,
что зубы ломают и вязнут в зубах.

И счастье, как пряник. И месяц медовый
прилип к горизонту, который глубок
своей голубой и горячей основой,
которую знают стрижи назубок.

О Сахар Медович, прилипший к гортани!
О темные вишни в вечернем вине!
О сад, словно очерк былых очертаний!
Герани, гортензии, тюль на окне!

До боли зубной всё знакомо и мелко,
а воспоминаньем – хоть пруд пруди.
Вот озеро бьется – с водою тарелка,
и «лодка колотится в сонной груди».

Меня, как рубль, бестолковые знаки,
пейзажа кусочек желая купить,
пытаюсь с отчаянья я в Пастернаке
свирепое время и стих утопить.

Несносна любовь ввечеру и торговля
крикливых стрижей в гущине садовой.
И слышится: пу дому ползает кровля
и виснет, как горе, над головой.

Небес бестолковая куча. Толкучка
садов, птичьеглазой листвы толчея.
Нет, азбучных истин не вынести, и взбучка
дождя, как содовая шипучка,
нужна до зарезу. А лето – как тучка,
а тучка над лавкою – как кисея.

21 апреля 1934 – 23 сентября 1935

ДУДОЧКА

Времени дудочка
берестяная!
Шатается шуточка
по миру, стеная.

Ходит, ходит пу миру –
не отец ли помер?
У вещей – по номеру,
у каждой вещи – номер.

Что же ты, деточка?
Зачем же всхлипы?
Отлетела веточка
от зеленой липы.

Взмахнула листиком
до самого моря.
С горя станешь мистиком,
с птичьего горя.

Выслушают уши чьи
обиду прибоя,
горе кукушечье,
птичье, рябое?

Дудочка времени,
милая береста,
научи во мгле меня,
откуда что берется.

В сорочке шелковой
шутка родилась.
Пой да прищелкивай,
сделай только милость.

Где-то в Житомире
няня ждет, в Ельце ли.
Шуточка в номере
плачет без цели.

Страшно ждать няне той
черной с белым ночи,
снятой и занятой
под разговор сорочий.

Миру сорочьему
породы длиннохвостых,

бйды напорочь ему
в золоченых звездах.

На воздух выйди-ка!
Он лежит, как грядка.
От этого видика
пойдет всё гладко.

Станет ночь возвышенна,
и проснутся Музы.
Из-под Камышина
повезут арбузы.

Горе ставь на полочку
и под субботу,
захватив дустволочку,
иди на охоту.

Времени дудочка
берестяная!
Крякает уточка
водяная...

29 апреля 1934 – 15 сентября 1935

* * *

За славу твою я воюю,
о слова крылатая плоть,
и мир твой стоит одесную,
а слева рыдает Господь.

Насупив огромные руки,
как тучи, несутся дубы,
сходясь, будто в радости, в звуке
архангельской смертной трубы.

Овец патриаршие дымы
в траве одичалой бредут,
и душу мою серафимы
на стройных смычках унесут.

Под страшной мамврийскою сенью
усну я, чтоб страх побороть.
Ночною и плачущей тенью
мне явится нежный Господь.

Ладони скорбящие вымыв,
за трапезу сядет со мной;
Он – в славе Своих серафимов,
тоскующий, весь восковой.

И вдруг, как ребенок заплавав,
поднимет Он лилии рук
и скажет: «Ты слышишь, Иаков,
как мир превращается в звук?!»

1 мая 1934

НА БЕРЕГУ ВЕСНЫ

Я не пойму весенней суматохи.
К чему сходить заранее с ума?
Когда звучат, в какой эпохе
берез высокоствольные дома?

А сердце просит пить, как пить, и любви
ему и ветра рост, и теплоты возврат.
Но все-таки мои встревоженные губы
как два куска молчания лежат.

Шагаю я с усмешкою обидной
в водоворот природы круговой,

а зренье, словно обруч стекловидный,
бежит дорожкой береговой.

Толпа подснежников с большущими глазами
на берегу весны рассеянно цветет,
соперничая в цвете с небесами,
у них же краски нежные крадет.

Я думаю: того и пальцем не потрогай,
что время голосом скрипучим назовет.
Бежит река текучею дорогой,
на водяном наречьи лжет.

Скрипят ручьи, как мерзлый полоз,
и раздирают затрещавший снег.
И прямо по лбу ударяет голос,
как будто голос – человек.

Он встал и говорит, что по весне
все звери думают жениться...
А будущее, как пшеница,
тихонько зреет в полусне.

1 мая 1934 – 24 сентября 1935

ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА

Этот вечер – навек черновик моей ночи,
не просохнуть ему и от слез не остыть.
Страшен – черным по белому – рокот сорочий.
Горя птичьего мне никогда не избыть.

О, болтливый язык! Для чего ты подвешен
в гулкой области рта? Для того ль, чтоб в тебе
все деревья сошлись, все шесты от скворешен,
всё воздевшее руки, весь дым на трубе?

Черновик моей ночи! Ты важен, ты влажен,
вложен в руки судьбине во всю ширину.
Неужели ты ложен и плохо прилажен
к перемене погоды, к воротам, к окну?

Черновик человека вечернего, злого,
от которого тень на природу легла,
я впишу тебе в жизнь зашумевшее слово,
и калиткою стукнет мгновенная мгла.

Затрубишь ли ты в трубы свои дождевые
иль отрубишь наотмашь под гром топора –
это птичьего горя часы роковые,
это слезок кукушечьих, плача пора.

3 мая 1934 – 19 мая 1941

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА

Сердца яростный дневник...
Я покаюсь словом Света,
что пока еще не вник
в тень свою на травах Лета.
В жирной краске, в липком масле
травы были широки,
и, порхая, с треском гасли
искры полдня, как жуки.
Краски были так резки.
Луг – яичницею лета.
Одуванчиков глазки
смотрят глазками омета.
В этом лета смысл живой...
Облак кремовый растает,
и береза ерундой
говорливой обростает.

Ни людей нет, ни видений.
Запись я гляжу на свет,
запись коротких наблюдений,
сердца радостных замет.

Но обводит пальцем круг
принахмурившийся луг.
Словно взору западня,
гулко хлопнет запад дня.
Травы, горбясь, понесут
от меня кусочки тени
и представляют их на суд
велевозрастных растений.
Лета тень идет за мной.
Что ей, девушке земной,
сердца не сваливший зной,
ей, пугливой недотроге?
Как артерии, дороги
гонят кровь домой, и в них
оборвется мой дневник.

3 мая 1934 – 24 мая 1941

БРАНЧЛИВЫЙ ДОЖДЬ

Дождик злился, осыпал
мелкой бранью двухэтажной.
Дом скрипел и засыпал,
дом степенный, старый, важный.

По приказу ли писца,
из-за взятки ли подьячим,
но ползла, ползла грязца
вдоль по улицам бродячим.

В ключья лезла шерсть с собак,
люди делали поступки:
с жаром нюхали табак
и раскуривали трубки.

Завтрак. Скучное меню:
ерунда на постном масле.
В подражание огню
трубки пыхали и гасли.

Вороха чужих имен
ходким делались товаром
и течению времен
велся счет по самоварам.

Вскоре высох небосклон,
но по злобности золовок
дождик был переведен
на язык старух-торговок.

5 мая 1934 – 24 мая 1941

РАДОСТНЫЙ ГРОХОТ СОМНЕНЬЯ

Сомненья грохот отдаленный,
и листья как губы встревожены.
Бег деревьев на месте. Они стреножены
и топчутся в траве опаленной.
Глубина испаряется, еле существует.
В двух измерениях душа негодует...
За крутым, будто лоб, бугром
былое вспоминается,
и с ноги на ногу переминается
гром.

Душно. Движение на слух зарисовано.
Гром – растреклятого бурого цвета,
и по частям, как у Босха, рассовано,
всюду кусками натыкано лето.
Свинья добралась до грязцы,
легла и выпялила сосцы.
Остря, как быстрые ножи,
мелькают над землей стрижи,
они уведомляют писком,
что подобны дождевым запискам.
Малинник зеленеет рьяно
от девичьих дум затаенных.
Из непроглядного бурьяна
выползают два пса влюбленных.
Треща, телеги по дороге валят,
отодвинулась от амбара баня,
и стайки капелек, прозрачных дьяволят,
запрыгали, по стеклам барабана.
И вот как пошло тормозить да трясти,
как пошло лететь вверх тормашками,
и Волга барашками против шерсти,
а весла и руки не в силах грести,
и луг забегал ромашками,
по берегу бегают, рвет волоса,
а страсть разыгралась и бьет в паруса,
воды целина раскопана.
Плывет, словно лапчатый гусь, пароход,
колеса гогочут, а он ревет,
и дверь на балкон выступает вперед,
и хочет сорваться со скоб она.

Как всё разворочено, смято, украдено,
размякло, набрякло, намокло!
И неба слепая Эдипова впадина
ждет своего Софокла.
Как всё разворовано! Сколько наплакано!
Уже последний сад ворошат,

и в уши, мохнатые как у диакона,
лохматые тучи, врываясь, шуршат
и влагою жизни дышат и хвалятся.
Гром ахнет то спереди, то позади.
Поверишь ли, въяве яблоки валяются,
и ливень счастья проснулся в груди.

Зажав всю махину пейзажа в кулак,
смешав все узоры на нем и разводы,
сломав отраженья в воде, как дурак
стою посреди набежавшей внезапно природы
и вижу села расписные клочки,
обрывки листочков, дороги отрывки...
Всё прется, треща, в окна, в очки
сквозь сладкое зреньё, густое как сливки.
Всё прется, ломаясь, то впрямь, то бочком,
то рывкнет и стукнет по раме,
то рвется на волю парами,
то дымом левкоев, а то табачком
играет и шутит с ноздрями.
И воздух как летнее платье измят,
и сад не зря назревает:
ведь в кои-то веки левкои дымят
и слух на дожде прозревает,
ведь в кои-то веки и капли и дрожь,
и веки и губы распухли,
ведь в кои-то веки живешь и растешь
и настезь застегнутый дом распахнешь,
не зная, в Зрение, в Слух ли.

Я рвусь, как покинутый бурей дом,
за нею, растрепанной, следом
и рад, что под божеский град не ведом,
что всё существует навзрыд и с трудом,
что мне рай в природе неведом.

Листовою ли душу мне оплели
в годину слез и затмения,
иль зелье волшебное в травах нашли,
иль новые земли нашлись у Земли,
иль сдуру меня возвели в короли,
но встанет то рядом, то грянет вдали
мне радостный грохот сомненья.

16 мая 1934 – 24 мая 1941

* * *

Средь облаков, песков, лугов
я шел, как летний день, туда,
где мимо робких берегов
небрежно плавала вода.
Она по-девичьи скользила,
порой за камушек задев,
а тополь – молодой верзила –
шел рядом с нею, обалдев.

О, беззаботная водица,
лепечущая пустыки,
ну как с тобой, с такой водиться
и сочинять тебе стихи?
И как тебе не подивиться,
красотке кроткой и шальной?
И всё ж, прозрачная девица,
не торопись, побудь со мной!

Но ты исполнена измены
и, ускользя под откос,
раскроешь нежный веер пены
с воздушной россыпью стрекоз.
Ты ускользнула от ответа,
влюбленный тополь твой зачах,

но сколько блеска, дня и света
в твоих поверхностных речах!

20 мая 1934 – 24 мая 1941

NOX EROTICA

Ночь восходит на ступени
белокурого дворца,
и уже толпятся тени
у подножия лица.

Воздух мчится из-под арок,
из-под крон ослепших мчит.
Как хрустальнейший подарок,
между рук луна висит.

Ночь восходит на ступени,
бьют тревогу соловьи.
И лежит в поту и пене
действие жаркое любви.

Опустило опус тела
море музыки на дно.
Как в театре, опустело
входит в глубь зрачков оно.

Нежно дремлет Афродита
в пене кружев и простынь,
словно счастья часть раскрыта
над просторами пустынь.

И Эрот, откинув полог,
смотрит в глубь теперь наглей.
И блестят с далеких полок
Лонгус, Плавт и Апулей.

21 мая 1934

* * *

Моя любовь – палящий полдень Явы.

В. Брюсов

Я строил боль, как нежную больницу
с перстами хрупкими тоскующих сестер
и с осенью в окне, содѣржащем синицу.
Я эту мысль со лба ладонью стер.

Она прилипчива, как нежная зараза,
как тление чахотки, как любовь.
И вот во мне уже четыре раза
багровым утром поднималась кровь.

Бродила в зарослях температура суток,
и полдень Явы близился и жег,
и тела бледного лежал рассудок
под простыней, как замерший прыжок.

Жара ума была невыносима,
и символы малайцев подошли,
часть времени летела вкось и мимо,
и стены вдруг, толпяся, зацвели.

22–24 мая 1934

НАД ВИЛЬНОЙ

По-над городом над Вильной
бестолково, между строк
дождь валился изобильный,
дождь, как сноп, валился с ног.

Дождь возили на телеге,
дети ползали в пыли,

и букетами элегий
две сирени расцвели.

Две сирени под окошко
подошли наперебой,
а в окошке злая крошка
крутит локон золотой.

Дождик глупенький, он мог ли
испытать любовный гром?
Две сирени даром мокли,
отряхаясь под окном.

По-над городом над Вильной
солнце резко прорвалось,
окунувши луч бессильный
в воду девичьих волос.

Этой шелковой водицей
был пустой заполнен день,
и клонилась пред девицей
в три погибели сирень.

Рынок радостный качался
на измученных весах,
и бродячий говор шлялся
при гитаре и в штанах.

Звуки злата, звуки меди
били попросту в лицо,
и литовские медведи
продевали в нос кольцо.

Радуга – пузырик мыльный –
продержалась с полчаса.
По-над городом над Вильной
ухмылялись небеса.

24 мая 1934

ПОСЛАНИЕ О ПЕЙЗАЖЕ

Вы просили описать
вам все прелести в пейзаже –
озера тишь да гладь,
луга Божью благодать
и дождя детали даже.

Слишком много мелочей,
оживленных мелочишек.
Пусть поет их мелочижник
в куче листьев и лучей
для сентиментальных мишек
и нахмуренных грачей,
употребляющих ручей
как зеркало чужих речей
для отраженья их умишек.

Но во мне тьма сомненья
и презренья грозный фунт.
И нужно бы дать в стихотвореньи
с ястребиной точки зренья
всех пейзажей контрапункт.

С точки зренья ястребиной
начинаю опись так:
день стоит неистребимый
под рубиновой рябиной,
день ребячески любимый,
день – пастушеский простак.

Я пейзажную тайну выдам
вам тихохонько и вдруг.
Вот, щеголя голым видом,
ходит озеро вокруг
и за собою водит хоровод.
Ему бы закрыться камышом,

а не вертеться нагишом,
развернув просторы вод.

А вот торчит на паре ног
беспризорный паренек.
Кнут, как молния из пакли,
в руке божественной зажат,
и декорациями на спектакле
тени деревьев полулежат.
Живописно, точно канонада,
валит повсюду пестрое стадо,
и, запинаясь о пенек,
пригожий прыгает денек.

Друг мой, если есть охота,
а сказать точнее – блажь,
запишите этот пейзаж,
но таких, как он, – без счета.

25 мая 1934 – 2 февраля 1942

* * *

На мосту белеют кони.

М. Кузмин

В огромные лица прохожих себя я с трудом погружаю,
как в темный и молчаливый от века веков водоем.
Из ночной грохочущей массы одно за другим вынимаю,
и вот, наконец, остаюсь я с любимым лицом вдвоем.

В толпе фонарей оголтелых, окутанное туманом,
пробирается еле-еле и слабо дрожит оно.
Оно заполняет полночь и близится крупным планом,
владея пустым пространством, как зрительным залом кино.

Вбирая в себя предметы, остатки камней и чувства,
дрожит в промежутке бледном испуганное бытие,
и мчатся чугунные кони, как тени былого искусства,
и я узнаю, как в театре, что это лицо – мое.

25 мая 1934 – 29 сентября 1935

* * *

Май ударил на славу, и зелень забила.
Водометами встали вокруг дерева,
и, как тучи собравшись, как древняя сила,
по лугам разразилась густая трава.

Громовые раскаты реки издалека
доносились и вновь исчезали вдали,
где дождя от земли возносилась осока,
где дожди как грибы, как ромашки росли.

Май ударил по окнам. Стаканы звенели,
и черемухой к чаю несло да несло.
Где-то плавала лодка, стучася о мели,
и, в воде спотыкаясь, ломалось весло.

О, как мучилось зренье: что выбрать получше?
А меж тем – всей весны молодые творцы, –
собираясь в поющие нежные тучи,
по скворешням, как град, рассыпались скворцы.

Било садом наотмашь, и, как в лихорадке
сотрясаясь, росли и крепчали дубы.
Май ударил на славу в слепом беспорядке,
май ударил по окнам, по веткам судьбы.

Этим вечером, влажным от счастья и ливней,
приоткрытым, как розовый девичий рот,

мне живется по-птичьи и даже наивней,
и рекою далекою катится год.

Вот парным молоком и туманом качаться
начинают луга от ближайшей версты,
и заря по холмам сходит к речке купаться
и в просторную влагу влагает персты.

А потом по немому, как месяц, условью,
замыкая в круг запахов тени и день,
темнолистой, ночью, горчащею кровью
хлынет темною массою в окна сирень.

31 мая 1934 – 29 сентября 1935

КАРАСЬ

Откинув хвостом долговязую грязь,
как медленный князь, выплывает карась.

Воды раздвоённой торжественный дым
зеленою славой плеснется за ним.

Философ болот и мыслитель пруда,
он в жидкости нежной плывет без труда,

травинку как кончик идеи жуя
о том, что душа есть и что чешуя.

Он сыплет тяжелым, живым серебром,
он ставит вопросы о рыбах ребром.

И стайки совсем молодых карасят,
как дождик ребячий, за ним моросят.

Они, молчаливые ученики,
внимают тому, как дрожат плавники.

И трепет воды добегают как звук
до них об опасности щучьих наук.

1 июня 1934 – 19 мая 1941

КУСОК ЖИВОПИСИ

Это дело неспроста,
что изменой дразнит местность
и на плоскости холста
улыбается окрестность.
Это дело, кроме шуток,
мучит. Ерзая кустами,
встал пространства промежутки,
задыхаясь, меж листьями.
Эта суতোлка веток
и волос принесена
ветром с тысячью заметок,
прилетевших из окна.
От сумятицы пейзажа,
от кромешной тьмы листов
взор назад бежать готов,
но и там окрестность та же:
окруженная стеклом
и оправой из ореха –
вид хрустальный над столом,
красок сумрачное эхо.

1 июня 1934 – 7 февраля 1942

БАЛЛАДА О ПРОГУЛКЕ ДВУХ ПРИЯТЕЛЕЙ

Два мыслителя высоких,
заломивши в небо лица,
медленно себя вели
вдоль по Невскому проспекту.
Развевался дым табачный,
словно будущая слава,
и коням барона Клодта
ноздри нежно щекотал.

Важно шаркая ногами,
два приятеля безмерных
за собой вели небрежно
на цепочке разговор.
Он вертелся, как собачка,
и, обнюхивая тумбы,
излагал свое сужденье
розоватым язычком.
Он вертелся возле женщин,
подле подлости немецкой
и полученных недавно
томиков Марсея Пруста.

Два приятеля высоких,
приподняв умы, как шляпу,
шли торжественно и важно
через Мойку, через арку,
через площадь, через мост.
На Неве суда стояли
и тянулись, как закат.

Дальше, дальше тем же шагом,
той же мерною стопой
по зеленому пространству,
мимо пар в садах кипучих,

мимо парочек укромных
Петроградской стороны.

Острова, кружась как пиво,
подплывают им навстречу,
все в стекляшках смеха женщин
и в осколках светлых вод.
О блаженство! Там под сенью
грустных девушек в цвету,
воздух жизни разрезая,
мчатся велосипедисты.
Там в киосках под закаты,
под шумок оркестров медных,
лбы надвинув важно на нос,
воды крашенные пьют.
Там, почувяв птичью волю
и крутой размах природы,
скачут дети, скачут девки,
руки вывернув, как куклы,
и на травке в полной мере
развернулся человек.

Два приятеля высоких,
два мыслителя безмерных,
странствуя, достигли цели
и утерли облегченно
лоб платочком носовым.

3 июня 1934 – 9 февраля 1942

* * *

Я болен летом, и помимо воли
растет в стихах медлительная страсть.
Так зреет яблоко и в закругленной боли
дрожит на ветке, пробуя упасть.

Горячий летний мир неожиданно отворился,
и из ворот ведут купаться лошадей.
А под листьями полдень притаился
в тени прозрачной яблони моей.

По травам трепаным, сухим и нищим
я с тенью яблони хожу вдвоем.
Мы в стихотворный час предмет любимый ищем
и лишь ему все силы отдаем.

Быть может, мне вовек не стать поэтом,
и слово новое из рук моих уйдет.
Но тень от яблони над широченным летом
стоит, как Муза, с яблоком забот.

4 июня 1934 – 7 февраля 1942

БУХГАЛТЕРИЯ ДОЖДЯ

Дождик, дождик, ты без счета
решето пустой воды
в небе носишь, и еще ты
сыплешь серебром в сады.
Сад осыпан капель сыпью,
сад трясется, словно птица.
Я с листа две капли выпью,
чтоб немного освежиться.
Ты ж, встряхнувши каждый листик,
влагу в капельки прибрав,
там пройдешься, как статистик,
в мелкой переписи трав,
станешь мелочен и мелок,
и в очках, слезящих взор,
ты с террас под звон тарелок
вдруг уйдешь за косогор.

Туч обрывки рву от злобы,
счет веду веселым водам,
водам луж, канавок, чтобы
стать, как ты же, счетоводом.
По усталым водоскатам,
вдоль по глине молодой
скотовод с тяжелым стадом
возвращается домой.

Воздух пышный и махровый
вкруг сирени чуть течет,
и следят в тоске суровой
за последнею коровой
счетовод и водосчет.

8 июня 1934 – 2 октября 1935

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК

Как предаться неге здешней?
В головах висят плоды,
а на дне, сжимая клешни,
рак терзает ткань воды.

Небеса вполне пустые.
Блеск воды – как визг пилы.
Даже бабочки густые
будто бочки тяжелы.

Солнце медью самоварной
вдруг ударилось в лучи,
и его собрат – пожарный –
грустно блещет с каланчи.

Толку нет в словесной давке.
Выберусь из топи книг.

Для меня тогда на травке
день возникнет, как пикник.

От жары полураздетый,
так бы и скакал босой.
И зачитаны газеты
сыром, пивом, колбасой.

Что же делать, если лето
расставляет нынче дни
на манер веселых клеток
или вроде западни?

В деревьях толкутся птицы
шумным ворохом седым,
и ползет, как небылицы,
папиросный грустный дым.

И спокойно и лениво
день проходит под мостом,
как река сплошного пива,
может быть, часу в шестом.

16 июня 1934 – 15 февраля 1942

* * *

В корыте каменном весь день валялась Мойка.
Развешен воздух с видом грязного белья
по тополям. Петровская постройка
стоит на плоскости болотной бытия.

А лето мается в ленивой мыльной пене,
злаченная нуга небесный ситец шьет.
И пар из прачечной, подобен тяжкой тени,
валит и клубьями Исакий обдаст.

21 июня 1934 – 1941

РОЗА ЮНОСТИ

Розу юности качая,
теребя атласа складки,
губ движенья подмечая,
ты сидела подле чая,
возле лета в беспорядке.

Подличая, как мерзавец,
словно хулиган с тоски,
ветер у ночных красавиц
вдруг повывал лепестки.
Личность темная – он сгинул:
не догонишь подлеца.
Только розы щек он кинул
в краску, в нежный пот лица.

Вечер шел и торопился,
щебеча, как ручеек.
Чуть дыша, нескоро пиля
мелкотравчатый чаек.

В жизни пахло земляникой,
легкой россыпью дождей.
И звалась ты Вероникой,
роза юности моей.

Средь теней, больших и карих,
от очей, ушедших вкось,
ты ломала, как сухарик,
время, нежное насквозь.

Розу юности качая,
затворив горячий рот,
ты выходишь после чая,
жизнь свою с моей сличая,
от калитки до ворот.

И тогда тебя за дело
неожиданно и мглисто
лето краешком задело –
белой бабочкой батиста.

И теперь – как будто вправе –
взмахом чувства бросишь ты
розу юности на гравий,
в душный омут темноты.

24 июня 1934 – 6 октября 1935

* * *

Качая на пальце большую слезу,
я душное горе в телеге везу.

Я время собрал, словно сено, в мешок.
На талии я подтянул ремешок.

Я вижу, что хлеб колосится, несжат,
на западе тучи, как бревна, лежат.

Я чувствую, хватит по шапке бревном
добротный, махровый, купеческий гром.

А может, конечно, статья и так,
что рухнет на землю грома кулак,

и брызги дождя разлетятся, дрожа,
как перья гусей от полета ножа.

Колеса скрипят, продираясь вперед,
по травам глубоким и влажным вброд.

И горе, как сено, играет вокруг
и делает полным кузнечика звук.

По рекам, озерам, по глади пруда
на взмыленных конях скачет беда.

И мир перекошен в ее глазах,
и чешет подковами по полю страх.

От горя сенного да конской беды
мутнеют истоки отважной воды.

Заслышав погоню, потом тишину,
я с пальца слезу под колеса швырну.

28 июня 1934 – 6 октября 1935

ИЮЛЬ

Слоняюсь я лениво по полям,
и ноги обросли травой кипучей,
и лето горькое – с полынью пополам –
торчит всклокоченною кучей.

День – как четыре дальние конца,
горячим небом связанные туго.
Вот узел Гордиев! загадка мертвеца!
Вот въяве квадратура круга.

Поют, вдали белея, косари.
Пристала жизнь к просторным их рубахам.
На травы косы их, как отблески зари,
ложатся всероссийским взмахом.

1 июля 1934 – 12 августа 1942

* * *

Ты, время, – как ливень. Захлопали ставни
по-детски в ладоши и скрыли лицо.
Я остановился – как даль, недавний
и незаконченный, как письмо.

На пальцах, как петли, мотаю часы я,
свое крючкотворство любя и кляня,
а буквы дождя прописные, косые
читают, и пишут, и мучат меня.

Вязал кружева, а сплетается лапоть,
и лыко мне в строку, а не тесьма,
и в робости пробует свечка накапать
слезой восковой на строчки письма.

2 июля 1934 – 9 февраля 1942

* * *

...Du bist allein im Saal.

*R. M. Rilke**

Стругая горы и равняя реки,
порой ругаясь и грубя,
я с маху опускал на мир шумливый веки, –
так топорами машут дровосеки, –
Господь мой Бог, я мастерил Тебя.

В собрании камней, в осколках тьмы и пены,
украшены игрой стеклянного ручья,
росли Твои торжественные члены
и шевелилось тело бытия.

* ...Ты один в зале. *Р. М. Рильке (нем.)*.

И пели камни и слагались в стены,
звенел металл, как песня птиц ночных.
Вошли ручьи в Твои большие вены
и реками загромыхали в них.
И в стройном теле, словно в доме новом,
то исчезая, то являясь вновь,
куда-то бегала движением суровым
и по-хозяйски суежилась кровь.
Деревья ввысь текли сплошным прибоем
и не меняли чудного русла.
И было страшно нам, Господь, обоим,
что мы себя так неуютно строим.
И лес шумел. И храмина росла.

Ты – дом, в котором окна внутрь ушли.
Ты – дом, где залы – как подобья пауз.
А я – цветов, столпов и стульев хаос.
Я – натюрморт плодов Твоей земли.
Ты – друг оструганный, в котором вечерами,
похожая на кровь, на ощупь бродит мгла,
и, словно пот, тяжелыми слезами
из тела каплет теплая смола.

А где-то топоры метались и стучали.
Валился тучей лес. Сквозь ночь несло зверье.
И дровосеки грубо, как в Начале,
рубили для себя подобие Твое.
И реки им звенели, как стаканы,
и камни им стояли, как столы.
И Твоего подобья истуканы
стучали лбом о край вечерней мглы.

4 июля 1934 – 12 октября 1935

* * *

Я знаю, где-то рядом,
поблизости, как дочь,
пугаясь вместе с садом,
стоит, темнея, ночь.

Так близко и так сладко –
совсем рукой подать, –
как тихая загадка,
чтобы не отгадать.

Стоит, перебирая
кленовые листья,
стоит, перевирая
наречье темноты.

И, теребя передник,
луною смущена,
как скромный собеседник,
покорствует она.

О, сколько лип и ив в ней!
Девичьих дум пора
стоит еще наивней
и проще, чем вчера.

За этим примитивом,
быть может, есть тоска.
Или на память ивам
приходят вдруг века?

10 июля 1934 – 13 октября 1935

* * *

Банкомет восходит деревом
в пятьдесят и два листа.
Банкометом Саввой Зверевым
деньги бьются неспроста.

За суровыми оконцами
ночь шумит на все лады,
и веселыми червонцами
в руки падают плоды.

Слава Савве! – Он туманную
ночь уводит за окно.
И блестит, блестит осанною
в рюмках тоненьких вино.

Две селедки стынут, грустные,
на тарелке у реки.
Пальцы ползают, как грузные
дождевые червяки.

А потом, ползя заборами,
как уставший пешеход,
сквозь просветы между шторами
утро осенью войдет.

И, шурша, шурша бумажками –
дым в глаза да ловкость рук, –
вдруг с лакейскими замашками
сунет их в кармашки брюк.

15 июля 1934 – 13 октября 1935

* * *

Остановился вечерок.
В болотце тянутся туманцы.
Жужжат невидимые танцы
и крикает в траве чирок.
Пейзажик между двух берез
к закату рыжему прирос.
Порхает в зябкой дрожи луг,
и темноглазые цветы
встречаются в часы разлук.
Они друг с дружкой на «ты».
Они доверчиво близки,
у них свои секреты,
и расписные лепестки
их мыслями согреты.
Ты, детский маленький мирок,
зажался, как в бинокле.
А кругозор стал так широк,
что глазоньки намокли.

Ручная жизнь – как ручеек,
пугливый, но не дикий,
и пьется ввечеру чаек
с прохладной земляничкой.
А за день нынче сколько раз
смеялись и кричали.
Обвисли паруса террас
и дачи на причале.
Пары не хочет разводить
большая чайная машина.
А человечек будет жить
и сахар грызть совсем мышино.
Он чайной ложечкой стучит,
уча печали тихой.

На ветке соловей торчит
с печальной соловьиной.
Баран туманом встал в хлеву
и видит дым овечек.
И потихоньку ест халву
ученый человечек.
Он съел кусочек пирожка
и подбирает крошки.
А месяц кончиком рожка
барахтается в ложке.

25 июля 1934 – 21 февраля 1942

* * *

Накапливаясь по каплям, как детство,
идти дождем собирались предметы,
оспаривали друг у друга соседство
и тяжелые, как роса, приметы.
В испарине трав, под замахами месяца
бесилось их скопище, как бестолковое стадо.
В колодец, за край судьбы перевеситься
тянуло и, может быть, было надо...

Переставляя ногастые тени,
ходят по кругу, о чем-то молчат.
Детство уснуло в зеленой пене
иголок подоблачных
сном утомленных галчат.
Всплыл ввечеру чарующий чад,
липы, как зубы шатаясь, стучат,
листья покорны ознобу и дрожи,
тучи валяются в небе,
а реки торчат
из-под земли и на палки похожи,
и деревянные ребра холмов
криво темнеют под шкурою жесткой,

а помрачневшие лица домов
смазаны бледной смертельной известкой.

Шум поднимается, как на руках.
Спорят, толкаются и голосуют.
Клены-смутьяны хрипят в облаках
черного бунта,
а вещи, почуяв страх,
теньями тела полосуют.

Там, где просветлела дорожка ручья,
предметы – как черные свечи,
там идет бестолково существ толчея,
и в круге твоём воеводою я,
вещей многоглавое вече!
Ты вечер, который закрыт на замок
и зарницей и громом грозитя.
Ты вечер, который собрался в комок
и готовый грозой разразиться...
Ты вечер, который не ведаёт вех,
но вещает голосом бури.
Ты вечер, который для всех и навек
откроется в голом сумбуре.

Стою вовсю. По откосам плечей
воды несутся крошки,
и льется дождика ручей
далеко, как в окошке.
Дом убежал. Весь вымок он.
Раскрыло небо зонтик,
и бестолковый, как балкон,
темнеет горизонтик.
О вече вечное вещей!
Охваченный тобой,
стою, бессмертен, что Кошей,
но обручен с судьбой.

Я, как зияние лица,
вишу над вами громко,
как часть начала и конца,
как часть творца и часть скопца,
часть предка и потомка.

26 июля 1934 – 21 февраля 1942

КАМЕНЬ

Я на ладони, как на белом камне,
держал весь мир. Со мной тоска жила
подругой робкой. И была тоска мне,
как этот камень, формой тяжела.

Войдет ли он в мучительное зданье,
иль мира передаст широкие черты,
иль, может быть, туманное желанье,
в том белом камне жизнью встанешь ты?

Глубокий лес чернел и топоры звенели.
День строился, и падал ствол на ствол.
С глазами синими печальный дух синели,
как девочка, из лесу, плача, шел.

Мне скромный камень дерева милее:
он не шумит и не растет,
он медленно молчит, к сознанию тяготей,
скатившись некогда с высот.

Я жизни не рубил с упорством дровосека,
я медленно вошел в непроходимый сон.
Я каменщик. И, может быть, два века
тому назад я был масон.

26 июля 1934

* * *

Я смутным невским утром из-под арок,
как бы рождаясь, появляюсь вновь.
Какой в глаза ударит мне подарок?
Какой судьбой отяготят мне кровь?

А вечером, часу в четвертом иль шестом
(что значат здесь число иль слово!),
мне жизнь туманная уже готова,
как дым, стоящий при луне шестом
на плоскости снегов, как на холсте простом,
как тень от сна отвесного, крутого.

26 июля 1934 – 17 декабря 1935

* * *

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Goethe*

Разве я пойму, природа,
твой бедлам,
где с водою время года
пополам?

Где замешаны, как тесто
во квашне,
время, действие и место
на весне?

Вижу, как растет опара
двух холмов,

* Mailied. Ст. 1–2.

а деревья – как опора
для умов.

Если ум откроет веки
от зимы,
все кусты ему – как вежи
кутерьмы.

А над летом сухопарым
всё синей,
и опять начаться парам
птиц, зверей,

рыб, людей и насекомых,
и опять
по губам своих знакомых
узнавать.

И опять в любовь без брода
вплавь, стремглав!
Разве я пойму, природа,
мудрость трав?

Целый месяц ты месила
грязь да снег
и на ветер выносила
сплетни рек.

Ты – кухарка побасенок
и речей!
И вертелся, как бесенок,
плут-ручей.

Он бросался поваренком,
вихри вод
разливая по воронкам,
обормот!

Именинной и румяной
ты зарей
замарала безымянный
пальчик свой.

Меж гусей, тетерок, заек,
в сонме их
ты – подарок для хозяек
молодых.

Так добрей, стряпуха, пухни,
будь притом
книги бесконечной кухни
жирный том!

3–7 августа 1934 – 12 августа 1942

СНЕГ НОЧЬЮ

Снег толчется у ворот,
мелкий, мелкий, мелкий,
словно сахар подает
кто-то на тарелке.
Месяц светит и дрожит,
тучка зимняя озябла
и, наморщенная, дрябло
дряхлой тряпочкой лежит.

Снег толчется у ворот,
а они как ночь темны
и закрыты; снег идет
в царстве сельской тишины.

«Светит месяц, светит ясный,
светит месяц сверху вниз.

Где ты, милый мой прекрасный,
поскорей ко мне вернись!»

Глухо, глухо, словно в сене,
на дворе играют тени
и кричат собаки.
Дремлют женские колени
и бормочет прялка лени, –
сказка тянется! Молчи!

«Сено косят на печи
молотками раки».

Дева – грудь в поту и в пене –
шась на волю через сени,
дева в облаке видений,
ожидая наслаждений,
дева – лебедь нетерпений –
подаст всё дерзновенней
позывные знаки.

Вещью темною бочонок
по снегу валяется.
Лай задорных собачонок
скромно удаляется.
Одинокий пьяный голос
по селу блуждает вслух,
и скрипит проезжий полоз,
белый свет и сед и глух.

Снег ложится всё послушней,
память вовсе замело.
Ночь кончается в конюшне,
просыпается тепло.

Утро ситец розовый
положило нб снег.

Деву друг целует
впопыхах и наспех.
Петухи уже кричат,
подымают на смех.

Петя, Петя-петушок
с бородою масляной,
не кричи! Избави Бог
от такой напраслины.

Чу, дома дымят...
У ворот снег смят.

12 августа 1934 – 12 августа 1942

ЕЩЕ О СНЕГЕ

Не снежок, а так – крупа,
манная каша.
Осень до того глупа,
что всего лишь кажется.
Вот и ясеню сквозь сон
небо моросится,
и линияет небосклон,
как кусочек ситца.
Ясень, ясень! Ты – как сито
иль, вернее, решето!
Решено и шито-крыто!
Сколько муки пережито!
На полях собрали жито –
смолото-пережиту.
Только крутит мельница
жернов свой, бездельница.
Жито жизни смолото
в житнице лежит.

И, блестя, как смолоду,
резвый дождь бежит.
Налетает на кусты,
задевая струйками,
покрывает кусты
рыбьими чешуйками.
Оползают глины глыбы,
и обвал грозит во мгле,
а кусты плывут, как рыбы,
по туманной земле.
Ни к чему тебе безделки,
о земля туманная!
На тебе, как на тарелке,
кашица манная.

13 августа 1934 – 17 декабря 1935

* * *

Никого не назову,
ничему имен не дам,
и похожий на сову
вечер спустится к садам.
Серый – он уйдет в сирень
и, темнея понемножку,
выйдет вновь чуть-чуть, как тень,
на оглохшую дорожку.
Так к чему ронять слова?
Ведь не станет ночь иной!
Горько плачется сова
от премудрости ночной.
А в саду туман и тьма,
да луна – как полотенце
над истерикой ума
и над воплями младенца.

20 августа 1934 – 17 декабря 1935

* * *

Душа жарка была, как печь.
Ужель ей целый день топиться?
Река текла, чтоб только течь,
река жарка была, как речь,
и призывала утопиться.
Она слепила и со мной,
как проповедник, говорила
в глаза, как заговор зубной,
и в воду как во грех вводила.

В реке толпились тополя
и облака топились,
и изумленные поля
вокруг нее копились.
Не разбирая, что и как,
но задавая жару,
чертило солнце круглый знак,
во всем подобный шару.

От мух, жуков и от стрекоз,
от жизни сей жужжащей
трава валилась под откос
и становилась чаще.
Был час такой, когда вокруг
туман стоит от зноя,
когда знобит и знаешь вдруг,
что всё – и лес, и луг, и звук, –
как на смех, показное.

Иль это воздух стал таков,
что все предметы тают
и липы вверх до облаков –
условный знак для знатоков, –
как птицы, улетают?

Ужель река стоит теперь?
Она ль наколдовала?
Закрытой сделалась, как дверь,
вдруг на щеколде вала.
Обманщица! Она течет
и даже волны мечет,
и знает всё наперечет,
и небу не перечит.

Но не пойму: всё это суть,
по-моему, помоев муть
по имени, иль это
тоска, которой не вернуть?
И не могу я с плеч стряхнуть
весь жар души и лета.

24 августа 1934 – 18 декабря 1935

АКТРИСА

В одиннадцать потянется, оденется,
разучивая комнату, как роль.
А день за шторую куда уйдет и денется?
Он – как безделица, как маленькая боль.

Актрисой – ты, о, всех вещей любимица!
Твердят тебя предметы наизусть.
И, как рисунок тени, вдруг подымется,
как удивленный дым от папиросы, – грусть.

Актрисой – ты. Играй обorkой шелковой!
О, шелк влюбленный – как он льнет к тебе!
Ломай запястья, пальцами прищелкивай,
вращаясь в вальсе вслед своей судьбе!

Как ветер, ты идешь, шумя предметами,
сметая на пол их – какой в них толк!
Как губы, бредя страстью и приметами,
всё льнет к тебе горячий, нежный шелк.

Ты вспоминаешь – тени мчатся пу снегу –
толпу карет и весь в цветах мороз.
Как осень, ты взволнована по-позднему,
срывая лепестки ночных и шалых роз.

Актрисой – ты. Фигурой полунощницы
несешься в комнате. Остановилась вдруг,
нагнулась, поднимаешь с полу ножницы,
гребенки, всё, что выпало из рук.

Актрисой – ты. И я тебе суфлирую,
а зеркало тебя пронесит на руках.
Окно звенит прозрачной зимней лирою
и слава валится в подушки в облаках.

30 августа – 2 сентября 1934

* * *

От любви и от губ, от шумливых садов и от гибели
тишины отвернусь и взгляну чрез плечо наугад.
Слушай, месяц бессонницы! Выглянь, пройдишь-ка и выбели
сад от копоты ночи, где смутно желанья висят,

как плоды назревая, как боль закругленная, спелая,
а откусишь – и сладость, с которой нет сладу во тьме,
бьет листвою в лицо, и идешь всей громадой, не делая
ничего. Как в овраге, осыпались звезды в уме.

Далеко, как в овраге. И надо ли к сердцу прислушаться?
Неужели оно – словно вздохи реки за холмом?

Или, может быть, мужество это? Но страшно обрушиться
в это место заглохшее, в страсть неуклюжим умом.

За пустыми кустами, теней и сознания лишенными,
за пустыми, как дом, где видений и духов не счесть,
тополя, как в монастыре, ждут, шевеля капюшонами,
и готовят дубы криворукие черную месть.

За пустыми кустами, откуда все тени уехали
(это бегство сознания. Там детство осталось во сне),
ночь огромна, как ухо. И сам я – не темное эхо ли
на краю тишины и подобный во всем тишине?

Далеко, как в овраге, на самом краю, там, где свалены
чуткий хворост и страх, где боязнь осторожной ноги.
Вражья сила! Я встал, и слепого сознания прогалины
притаились в глазах, где не видно ни боли, ни зги.

9–12 сентября 1934 – 7 марта 1942

* * *

В комнату пришла обида,
а с обидою и злость,
и торчал, как панихида,
в белой стенке ржавый гвоздь.

И нелестно и нелепо
кочевряжилось трюмо.
Тишиной и тленом склепа
пахло на столе письмо.

13 сентября 1934 – 15 февраля 1942

* * *

Я листьев падших, горьких не считаю,
времен торжественная нищета!
Я – дым, тихонько вьющийся по краю
размашистого хриплого куста.

Костей не счесть на этом бранном поле,
широко протянувшемся, как вздох.
И горестно носить обломок боли –
сучок в глазу – на поприще эпох.

Я чувствую плечом, как ветер тронул веки
и как в дождях навзрыд проходят дни.
В тумане медленном шевелятся калеки –
обрубки горькие, обугленные пни.

И чувства колют сразу, как поленья.
У топоров дыханье занялось.
Обиды в кучу! И без сожаленья
вся осень движется, как погребальный воз.

Я деревом, которое боролось,
вступаю в дом моих растущих дум.
Я дерево, но взят мой бедный голос
и с корнем вырван многолистый ум.

И, спотыкаяся, горит лучина.
И разве ты теперь поймешь меня,
сухая, бедная, колючая причина
великолепного огня?

25 сентября 1934

БАБЬЕ ЛЕТО

Кусты прозрачны. Дым несмелый вьется,
тревожит солнце робкие листы.
Стучат тихонько ведра у колодца,
как чувства грубые пусты.

Так хрупок день, что страшно поневоле
его задеть: сломашь – зазвенит.
Он, как соломинка, забыт на праздном поле,
как дряхлая соломина обид.

О старость светлая! Пока не грянут тени,
ты веткой держишься за счастье свое.
На паутинке тонкой и осенней
висит, качаясь, бытие.

27 сентября 1934

РОЗА В СУМЕРКАХ

Пусть это вечер – ну, куда ни шло! –
и вещи под чужими именами,
но сумерки, как битое стекло,
рассыпаны над дальними горами.

И розы горькие поют, поют в слезах,
и, как волною, обдает сиренью,
и одиночество растет впотьмах,
с своею сталкиваясь тенью.

Попробуй розу взять – и страшно, что тогда
сломаться может, вдребезги разбиться...
В осколках нежности – о скорбная вода! –
девическая грустная водица!

А тут и Ты придирчивей, чем тень,
охватываешь сад и шевелишь туманы
и тянешься поодаль, как плетень,
вбирая луг, деревья и поляны.

И тишина – ужасней капель с крыш –
нависла, еле держится и гнется.
И страшно спать, и кажется, что спишь,
и кажется: вот-вот она сорвется.

Но я свой сон, но я свой сын,
ручной, и нежный, и молочный.
А Ты стоишь, торча, как тын,
вокруг воды времен проточной.

А Ты, ладонью заслонив,
березу слабую, как свечку,
хранишь в ночи косматой ив,
ушедших в пруд, ушедших в речку.

И кажется, что пруд меж этих ив висит
и в них таится существо колодца.
И вник ивняк в стекло. И бледный пруд горит.
И кажется: он рухнет, разобьется.

О, птичьи сумерки! Не я ли ваш птенец?
Не с вами ли дремать, укрывшись теплым пухом?
За тыном тьма измучена вконец.
О, тьма моя с огромным, детским ухом!

Прислушайся – и вот она лежит
в тумане трав, готовых приподняться.
Но стоит двинуться – и вновь она бежит,
и голос может дрогнуть и сломаться.

Как пауза, как звуков перебой,
ты мучишься, становишься неточным,

уходишь в ночь. И сплю я над собой,
ручным, и нежным, и молочным.

И так всю ночь – всё спишь и не уснешь,
как дом, захлестнутый тяжелою сиренью,
и чувствуешь сонливых капель дрожь,
и чувствуешь: пора стихотворенью.

Но рыба бьет хвостом. Звенит времен хрусталь.
Качает утро теплую березу.
И я держу – и вот не знаю, та ль –
разбитую, в осколках ночи, розу.

28 сентября 1934

* * *

В непроглядной ночи, по колено в пространстве глубоком
пробираюсь бочком, продираюсь настойчиво боком.

Не пройти – не проехать. Шагов убежавшее эхо
мне стоит на пути, как вехб, как глухая помеха.

Налипает тоска, – и таскай эту тяжесть и слушай,
как всей тушею туча обрушилась, шепчется с лужей,

как, огни потушив, петушится, топорщится роща,
и темнеет она, и становится глуше и проще.

И грязца без конца по лицу полицейской заметкой.
Роща дерзкая за душу цапает медленной веткой.

Неужели следят? Нет, следов не найти им, пожалуй,
в непролазной ночи не сыскать им тоски возмужалой,

мелких чувств и заметок не счесть, и, дрожа в шпионаже,
тень как сыщица рыщет, и грех укрывает она же.

Пешеход тишины, я пишу кренделя и тоскую.
Я печатаю знаки и знаю, что полночь такую

не подкупишь ничем – ни рассветом фальшивым, ни звоном
серебристых подков, запрещенных по конским законам.

1–2 октября 1934 – 8 марта 1942

* * *

В тебе, растрепанный домишко,
примкнусь душой к окну ли?
И захудаленький дымишко
в трубу тебе воткнули.
Ты весь в узорах оконных кружев,
стареющая женщина.
Суетится внутри и торчит снаружи
вещей деревянная деревенщина.
Гостей пропуская, дверь скрипит.
Эти лица с видом полен.
И кто же тебя тоской скрепит,
дошатае счастье стен?
Дымится чай. Сиди да грезь
на порыжевшем плюше кресел.
Здесь каждый – леностная смесь
того, кто спал, того, кто грезил.
В руках мелькает разговор,
и в кулаках разносят спор,
на указательном – вопросы.
И под шумок
бежит дымок
из позабытой папиросы.

2 октября 1934 – 12 августа 1942

ИУДЕ

С тобою, Иуда, мы песни поем
и празднуем горе и беды вдвоем.

У темной смоковницы (та иль не та?)
в вершине старинная ночь заперта.

И тьма прислонилась к стволу, и над ним
мы – листья по ветру, – Иуда, летим.

У Мертвого моря вода – как беда.
Лишь ветер ливанский доходит туда.

Там камни к слезам и сухи и глухи,
там серые камни лежат, как грехи,

да, выйдя, как зверь, из угрюмых пещер,
там горе бессмертья влачит Агасфер.

У Мертвого моря, чтоб страх побороть,
Ты клялся бессмертьем, о нежный Господь!

Чего ж Ты боялся? Что мы предадим,
Иуда, да я, да другой нелюдим?

Но людям на горе Ты хлебы вручил,
чтоб каждый до Мертвого моря влачил

тоску о себе, чтоб он бредил Тобой
и падал, подхваченный грозной судьбой.

11 октября 1934

НОГА

Какая умная нога!
О, как она с рукою схожа!
И белизна ее строга,
как простынь девичьего ложа.

О чем задумалась ты
и какова твоя наука?
Твои пугливые черты
дрожат нежнее линий звука.

Ты протянулась в полусне,
и кровь снует в тебе лениво.
Плывет, качаясь в вышине,
окно подобием залива.

И распахнуть пространство лень,
где облаков столпилась пена.
И ты отбрасываешь тень,
крутой и мудрый лоб колена.

Как всё похоже на меня!
И не хватает только слова.
И осторожная ступня
на хладный путь ступить готова.

13 октября – 7 ноября 1934

* * *

Как этот день высок и крут!
Цветы бегут гурьбой,
и гуси тяжкий пруд везут
в осоку за собой.

И он качается, скрипит,
с трудом блестя водой.
О, кто его теперь скрепит,
чтоб он не пах бедой?

Он развалился б, если б мог,
и, точно от плеча,
он поворачивает вбок,
кувшинки волоча.

На повороте накренься,
он в облаках идет,
и позлащенный князь-карась
хвостом тревогу бьет.

Перевернуться так легко,
но лодки спят в цепях.
Несут коровы молоко,
и воздух стих в степях.

И что там, далее, за ним? –
Хоть часть руки умой! –
Коров ручной и теплый дым
с трудом идет домой.

15–26 октября 1934

* * *

Слабо чувствуешь, как спит
в лодках тонкая вода.
Слышишь – кличет и летит
лебединая беда.

Неужели это день?
Он белей больных рубях.

И горчит, горчит сирень,
как предчувствье, на губах.

В черной зелени повис
белый дом... И вот тогда
он идет, как тяжесть, вниз
и запнулся у пруда.

О, ума безумный дом
в кислой горечи речей,
ты зачем лежишь пятном
возле самых мелочей?

На стене окно и так
словно темное пятно.
Взяли горе, как пятак,
и швырнули к нам на дно.

Брызг и капель кутерьма;
огорченный речью рот
в страшной паузе ума
потемнеет и замрет.

И тогда в его просвет
вдруг светлее, чем вода,
грянет с горьким кличем «нет!»
лебединая беда.

18 октября 1934

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЛОМОНОСОВУ

Грома, искр и льда философ,
самый ражий из детин, –
славься, славься, Ломоносов,
молодой кулацкий сын!

Ты оттуда, где туманы,
где валится с неба снег,
вышел, выродок румяный,
всероссийский человек.

Средь российския природы
ты восстал, высоколоб,
и заслуживаешь оды
на покрытый мраком гроб.

С миром Божьим в неполадке,
рубишь воздух стгоряча
и камзол ученой складки
сбросил с крепкого плеча.

На тебе парик с хитринкой,
пряжки звонко блещут с ног.
Вспомни, как, шутя с Катринкой,
ты в немецкий шел шинок.

Слово славы, между прочим,
ты вписал себе в итог,
над столом склонив рабочим
пукли мудрой завиток.

Век, идеями чреватый,
пал, как хмурая пора,
под полет витиеватый
лебединого пера.

Ты взойдешь, подобен буре,
на дворцовое крыльцо
и в лицо самой Натуре
влепишь русское словцо.

В ледовитый мрак полмира
погружается кругом.

Блещет Северна Пальмира,
озаренная умом.

Над тобою, трудолюбцем,
первый рокот лирных струн.
И Нептун грозит трезубцем,
и свергает Зевс перун.

А когда Натура кучей
свалит всё на дно ночей,
ты, парик закинув в тучи,
гром низвергнешь из очей.

19 октября 1934 – 12 августа 1942

* * *

Весь сумрак вечера навеки пережит,
и сердце тронула полночная прохлада.
И, как оттенок женщины, лежит
в твоих глазницах тень большого сада.
Кусты разбросаны, как темные мячи,
и в горле тишина глухим комком.
Молчи, прекрасная! Стерпи, смолчи!
Псы улеглись, и слово под замком.
Какая тьма очей! Как всё насквозь глядит!
И чувствуешь: земля, как сон, поката.
Крокетный шар в густой траве летит,
и тень его – продолговата.
Округлость плеч твоих и десен теплота,
и испаренья с губ – хотя ни зги не видно –
я чувствую до трепета листа,
которому и душно, и обидно.
Бесшумный поворот торжественного сада,
деревья наклоняются в ручей.

Боюсь запутаться в прекрасных дебрях взгляда
и в тьме египетской твоих очей.
Так под замок скорее разговор!
Смотреть и вопрошать, не требуя ответа.
И взор стоит, как жест, меж двух озер
там, где, как палец, лунный столбик света.

25 октября 1934 – 23 января 1936

ШАХМАТЫ

Сижу над шахматной доской
и вижу: вариантов бездна.
Играй рискованно, с тоской,
с которой медлить бесполезно.

И, козни пустоты казня,
возникла из печальных чурок
безумно-мудрая возня
отполированных фигурок.

Они как тронулись умом,
как блики легкие на лаке,
в точеном облике своем
они сознательные злаки.

А я сам Бог, им давший дух
очаровательных пустишек,
я повелитель и пастух
живых, ходячих деревяшек.

И, самому себе дерзя,
фигурок двигаю лавину
и в страхе жертвую ферзя,
как темной жизни половину.

27 октября 1934 – 12 августа 1942

* * *

Зима закрыта на замок.
Собаки лают лишь украдкой.
Огонь знобит, он занемог
трепещущей лихорадкой.

Железный вечер встал в упор,
и в окнах много тьмы и страха,
и в мясо дров летит топор
морозной птицею с размаху.

Чем дальше в лес, тем больше дров...
Заборов темное сиянье...
И я боюсь: не хватит слов,
скульптурой станет вдруг дыханье.

8 ноября 1934

ВАЛЬС

Ты помнишь: в вихре губ,
пунцовом – без конца,
был вечер чем-то глуп,
шумя, как бурный дуб,
вдоль бледного лица?

Ты помнишь: как закат,
как рук замах, как взгляд,
откидывался сад,
как в ста умах, назад?

Как шумом в ста домах,
прибоем мглы да вала
ты набежавшим «ах»
с размаху обдавала.

Ты помнишь всё равно:
окно и скрипок море,
и бурю домино,
пунцовое вино,
чьи капли в разговоре,
чьи капли на плечах
болтаются, как кровь.
И душный сад в шелках,
который вдруг зачах
в твоих глазах и вновь
запах в твоих руках,
чудесных как любовь.

Ты шумом в ста умах,
в ушах и в бледных залах
летела впопыхах,
как ворох маков алых.
Как сто веков назад,
сказала: «Не печалься!»
И несся в вальсе сад,
и я был садом вальса.

Посылка

Так в вихре губ лови
предсмертное дыханье,
слетевший лист любви
и страсти восклицанье!

15 ноября 1934 – 27 января 1936

* * *

В дыму морозном теплый дом
встает, как будто утро внове.
В печи Гоморра и Содом,
хозяйка соляным столпом
застыла, стоя наготове.

Непозабывтый грех ночной
и счастье, счастье на подковах –
как лошадь с потною спиной
от плотской тяжести свиной
и поцелуев стопудовых.

Опять в сумятице волос,
как в диком первобытном мире,
опять услышать довелось
объятий, поцелуев, слез
роняемые грузно гири.

Вновь собиралась страсть в прыжок,
и как в припадке Божьей мести,
пройдя жару грудей и щек,
сернистый дождь любви ожег
всех тех, чей грех, кто были вместе.

И суждена им кара дня.
Ломота бродит по предплечью,
и черной ночи головня
в дожде домашнего огня
лежит, охваченная печью.

24 ноября 1934 – 12 августа 1942

NATURAE NATURALAE

На лице твоём медленном вечера легкого ретушь.
У потушенных горем, прижженных пастушьих ресниц
я в тени собираюсь. Деревьев прозрачная ветошь
на ветру шевелится, и валятся тени от птиц.

Ручейков набросав (сколько милого, детского хлама!)
и настроив холмов, ты всё пробуешь горы на свет.
Неужель я твоя от времен потемневшая рама,
о мой детский, мой кроткий, в младенчестве снятый
портрет?

От девичьей тоски, голосов твоих простоволосых,
от овечек ребячьих в фарфоровом нежном лугу
я беру, о пастушка, иссохший страдальческий посох
и его, словно в памяти ветку, с трудом берегу.

Я люблю твою карточку – так дорожат безделушкой.
Дай хоть сто фотографий с тебя – это будет не то!
В этот миг полюбил я тебя простодушной пастушкой,
потому что ты так хорошо подражала Ватто.

24 ноября 1934

* * *

I

Примета, признак, суеверье
на коже нежного холста
лежат. И жизнь моя проста.
Я свой спокойный подмастерье.
В нерастворимую картину,
куда войдешь ты, бледный гость,

осенней киновари кину,
кленовых листьев брошу горсть.

II

Уж выцветают небеса
церковным меркнувшим витражем,
и кажется, что мы расскажем
деревьям нищим чудеса.
И вот тогда бросаю кисть я
и делаю мазок реки –
летят разрозненные листья
и ветер крутит вихорьки.

III

У отдаленья что в уме там?
Что берегам на мысль пришло?
Ветла, сломавшись, как весло,
стоит, подобная приметам.
У щек воронье дуновенье –
не станет скоро и примет,
и плеч коснется ощущение,
что и природы как бы нет.

IV

Уже я стал предсмертным нищим,
и вместо зора – медяки.
Зачем в вечерний час тоски
с тобою мы друг друга ищем?
И я войду в свою картину
коленями слепых калек
и из нее, как мусор, выну
клочки кустов, обломки рек.

27 ноября 1934 – 28 января 1936

ГРОЗА

Я приближаюсь. Ты далече
в покатом воздухе скользишь.
Пока лишь вздрагивают плечи,
пока там лишь, как выстрел, стриж.

Сады в зеленых, мутных пятнах,
как неумытые умы,
пока ты вдоль дорог опятных
катаешь сдобные холмы.

О, неужель во всех явлениях,
гроза, ты вновь сорвешься с губ?
В витиеватых ответвлениях
твой гром стоит, как темный дуб.

Я приближаюсь и, пока ты
стряпней широкой занята,
слежу ветвей твоих раскаты
и дождик реже решета.

Как прежде, правду режешь ярко,
хоть в небе решено не то.
И ты трясешь, небес кухарка,
пустой водицы решето!

Ты – мой бегущий лугом признак.
В широкий ковш тебя ловлю.
Твой черствый гром – сухой опреснок
на трезвой тризне преломлю.

7 декабря 1934 – 18 марта 1936

ГАМЛЕТ

Я прохожу дощатый этот мир,
я счет свожу со счастьем бестолковым;
оно глядит из пучеглазых дыр,
и ночь висит тяжелым бранным словом.

Пируют парами. В стаканах бьется гром.
Природа пир на скатерти простерла.
Толпа заздравных пушек целит в дом,
и тьма глядит в разинутые жерла.

Я есмь! И клятва на мече: «Он есть».
Ядром чугунным прокатилось эхо.
Сквозь ветер ледяной грохочет жесть
одетых наспех шлема и доспеха.

Не приближайся же к моей душе!
Ты – ночь в Конце, а я – туман в Начале
среди скал суровых из папье-маше,
картонных башен и кустов в мочале,

деревьев, наскоро сколоченных, всего,
что пахнет Данией, вином и горьким морем.
Я не приемлю имени Его,
кого зовем, о ком мы с Богом спорим.

Во тьме продрогших от ветров плащей,
на темной страже что ж природа мямлит?
Мечом сбивая пыль с ночных вещей,
я на мече клянусь: я принц, я бедный Гамлет.

11 декабря 1934

* * *

Лицо вертелось колесом,
и мир стоял перед лицом
тяжелым лесом, ручейком
и озером, где плавал сом,
как темный и помятый ком.
Весь мир был мирен и знаком.
Под колесом, как под лицом,
он был смиренным подлецом.

23 декабря 1934

1935

БАЛЛАДА О БЕДЕ И ГОРЕ

Горе, полымем горя,
ничего не говоря,
в середине января
на санях подъехало.
У ворот пошли смешки
сразу, как игра в снежки.
Всё кругом, давясь с тоски,
ахало да эхало.

Горе ехало в кабак
с делом, скверным как табак.
Пара бешеных собак
из ворот – навстречу им.
Вверх задрались два хвоста.
Распахнулись ворота.
Брань валила изо рта
местным красноречием.

Дух на улице хмельной,
слух по улице дурной,
и поклонец поясной,
от икоты окая,
горе бьет, и вот тогда
нараспашку, без стыда
из ворот идет беда
шумная, широкая.

Горе стало умолять,
шапку с головы ломать.
А беда – ебена мать!
В сани мигом сели – и

горе шапку набекрень,
на гармошке трень да брень,
и гуляли целый день
на селе в веселии.

24 января 1935 – 15 августа 1942

* * *

Воспоминания копились,
как воду держат берега,
и вперемешку в них томились
дожди, морозы и снега.

И, как колеса, дни скрипели,
и голос шел по колесу.
По кругу путались и пели
ветра и вороны в лесу.

Топили печи до упаду.
И пели голосом сырым
дрова скрипучую балладу
и облекались в мрачный дым.

Воспоминания, как воду,
хранили до утра. За ней,
взваливши сумрак на подводу,
ночь увезли под скрип саней.

27 января 1935

* * *

Говорят – как пишется
в дёбрях канцелярии:
российская ижица
на итальянской арии.

Город, город! пощади,
куда плывешь во мгле ты?
Оперы и площади,
сани и кареты?

Выберусь из лирики
к дому поскорей!
О, мыльные пузырьки
зыбких фонарей!

Легкие, молочные,
словно детский лепет...
А вокруг подстрочные
тени ветер лепит.

Ты мое позорище,
страсть к веселым высям...
А снег – сплошное сборище
голубков и писем.

И, склонясь у ящика
в позе нежной смерти, –
знаю я, – твоя щека
дремлет на конверте.

Пишут мне, что якобы
всё вокруг – туманы,
что те, кто в шубах, – Якобы
Вассерманы,

что весь город спутался,
стал в шагах неверен,
что в меха закутался
башмачок Венерин.

И холод – как помешанный
на одной идее:
зачем, в окне развешаны,
не зябнут орхидеи?

Пишут мне, что опыта
всей души не станет
на эту ночь из топота
и цокота в тумане.

Так в кроватку чинную
джентльменом лягте!
Кой же черт причиную
в этом сонном факте?

Вы утра не осудите,
что к постели вашей
поднесут в сосудике
с мутной простоквашей.

19–20 февраля 1935 – 16 апреля 1940

ЛЕРМОНТОВ

Волны с кашлем бьют о берег,
берег бледный и больной.
Злополучный офицерик
говорит один с луной.

Местность вся – в свирепых гулах,
страсть глядит из каждой мглы.

Под стопами гор сутулых
сухорукие скалы.

О, далекий берег бальный!
Ветер – как царя указ.
Офицерик мой опальный,
павший сердцем на Кавказ,

ты запомни и исполни
мечь за камни над тобой,
за кривые взмахи молний
над горячей головой,

и за то, что бранью резкой
был исполосован лик,
и за то, что под черкеской
сердце ходит напрямик.

Терек бьет о черный берег.
Счастье, видно, не в чести.
Смуглый, хриплый офицерик,
пей, стреляй – но пой и мсти!

Скулы сдвинувши, как скалы
в опаленных перьях туч, –
мсти, упавший, одичалый, –
демон грома, камень с круч.

Если ж чересчур жестока
гордость в горле, словно ком, –
падай в бешенство потока,
как Грушницкий, вниз, ничком.

24 февраля 1935 – 16 апреля 1940

* * *

Эй, художник! Тяпай-ляпай,
разной краской мажь да крась!
Вон любовник машет шляпой
и трепещет, что карась,
по икру ушедший в грязь.

Вкруг толпится бурный рынок.
Меж корзин, лотков и крынок
девка к милому спешит,
и над девкой семенит
дождь, как тысячи икринок.

В узком утре зданий глыбы
стали возле рынка в ряд.
Двери шумно говорят,
и возы соленой рыбы
смертным запашком смердят.

Тещи тяжкие свирепы
рвутся бомбой тут и там,
подлетают враз к лоткам,
тянут за волосы репу,
лупят мясо по щекам.

Эй, художник и чудака,
населяющий чердак,
что ты видишь из окошка?
Это с красками ли плошка?
Тяпай-ляпай, крась да мажь
приоткрывшийся пейзаж,
набок съехавший немножко.

7 апреля 1935 – 16 апреля 1940

ОБЕЛИСК

Вдали от родины тяжелый камень спал,
и площадь, как пески, была пустынна.
Аббат, крепясь на лавочке, читал
деяния святого Августина.
И дерева густая хворостина,
вытягиваясь в одинокий рост,
образовала шаткий тени мост
над светлой лысиной христианина.
Латынь дышала тучей и грозой
под этой католической лозой...
Жара была как длинная равнина.

На площади угрюмый камень спал,
и зной уже заметно спал,
и шума бабочки огромные порхали,
дома махали крылышками крыш,
метались лошади среди зарослей афиш, –
египетская тьма в прозрачном опахале, –
обмахивался веером Париж,
и монну Биче провожали.

Вдали от родины тяжелый камень спал,
он был как жрец жары, сухой и молчаливый.
Шумели поезда по руслу быстрых шпал
и рвался дым нетерпеливый.

У монны Биче очи – что века,
и монну Биче злые провожали
колеса, как ключи по кругу пробежали,
напоминая взгляд проводника.
Томясь по хрустально из родника,
но видя только накипь Сены,
да слезы женщин из вечерней смены,
которых в этот день никто не покупал,
да молока фальшивенький опал,

что продает базарная артистка,
и чувствуя, что ночь уж, видно, близко,
вдали от родины угрюмый камень спал
и думал думу обелиска.

1 мая 1935 – 18 апреля 1940

* * *

В тот час, когда по клетям душегубы
и чувство судорогою свело,
я вижу грубые, нетесанные срубы –
Вселенной медленное, трудное село.

И знаю я: как песня, месяц светит,
плетется налегке подвыпивший плетень,
но на него всей тяжестью ответит
моя, темнеющая бранью, тень.

Передвигая тонкие колени,
как овцы грустные с хозяйского крыльца,
пройдут другие – робким стадом – тени
околицею около лица.

Ты окоlesiца построек деревянных,
где я, отбросив тень, стою,
прозрачней голоса в лесах пространств туманных
в селе моей Вселенной на краю.

Ну что стараньям этим я отвечу? –
И, сдваиваясь, страиваясь в дом,
они вдруг грянут мне навстречу
одним нетесаным лицом.

В такую ночь хоть по кривой дороге,
слепым путем, попробуй обогни

село, когда оно лежит в тревоге
и гонит звезд хвостатые огни.

В такую ночь мы замираем в мире
и на скрипучие весы
кидаем чувства, как глухие гири,
и, чуя мясо, хрипло лают псы.

Ужель изба моя – не вечность в кубе?
И, мировых видений лишена,
спит кротким сном в своей курчавой шубе
овечья шерстяная тишина.

Но утру что ж от горя утроенья?
Уже в уме протяжном рассвело:
Вселенной громкие, громадные строенья
сливаются в одно спокойное село.

4 мая 1935 – 18 апреля 1940

СКРИПАЧ

Да здравствует он, вездесущий скрипач,
предводитель мышиною возни.
Пусть в доме возникли сквозняк и плач,
пусть в доме погасли огни.

Пусть хлопает ставень и слепнет окно,
от ночи туманней, чем Кант,
но счастье наше тебе вручено,
мышиный палач-музыкант.

Пусть плачет ребенок и спят дубы,
как люльки веков, в саду,
пусть спят, почернев от грозы и судьбы,
которую жду и не жду.

Пусть Моцарт-лунатик с постели встает
и трогает клавесин.

Пусть строит луна и тени кладет
тесней и темнее тесин.

Пусть строит луна домовину нам,
половину судьбы для нас.

Скрипач-палачуга приходит к нам
и скрипка звучит для нас.

Пусть время точит крысиный зуб
и смерть уж недалеко,
но мы видим и реку, и древний дуб,
и сладостна та река.

Вдоль душ скользит смычок скрипача,
и пробуем мы любить.

Водой из скрипичного ключа
он будет нас поить.

Захлебываясь той водой,
блаженной водой твоей,
мы славим смычок волшебный твой
и струны скрипки твоей.

Пусть счет давно не свести именам
и подняли дети плач.

Я знаю: играет он им и нам,
музыкант, крысолов, скрипач.

4 мая 1935

* * *

Как прежде, горек
вкус рябины...
Сентябрьский дворик,
полсотни зорек,
прошедших мимо,
и клочья дыма
в чужие спины,
и вкус рябины
неистребимый.

За зимним чаем
и с папиросой
чуть-чуть скучаем
хорошей прозой.
Заря в стакане,
и разговорик
без пререканий
немножко горек.

Набухли почки.
Всё тихо в доме.
В стакане небо
и незабудки,
и жизнь в соломе
за коркой хлеба,
жизнь на цепочке
в собачьей будке.

12 мая 1935

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

Так написано мне на роду,
чтоб читал я в саду Жироду,

чтобы ветер исподтишка
на дорожках валял дурака

и дробил золотые плоды
в округленном пространстве воды.

Если точно теперь считать,
то на ходиках будет пять.

Округленно считая день –
отцветает он, как сирень.

Я один уже с давних пор
(время тянется, как забор).

Приблизительно: это пруд
(и калитки не отопрут).

Это зренье круглым числом
(и никто не пойдет на взлом).

Круглый взор потемнел и намок
(на калитке висит замок).

Круглый взор потемнел и намок
(и замок тяжел, как намек).

И мне кажется, что в бреду,
как в цветку, деревья в пруду.

Ах ты, девичий яблони цвет,
не опал ли ты, как рассвет?

И не я ли тому виной,
что остались они со мной:

пруд, деревья и ветер-простак?
(Приблизительно это – так.)

12–31 мая 1935

* * *

Пастух, живописец и инок,
но каждый по-своему горд,
смотря на рисунок росинок –
стеклянной слезы натюрморт.

Но что бы найти вы смогли в ней
среди скрипа лесов и колес,
в России рыданий и ливней,
в России росинок и слез?

1–2 июня 1935

* * *

Улица узкая,
семечки луская,
утром подходит к дому,
в котором ты нежно спишь.
Но ей не ответят ветки,
ни канарейки в клетке;
заря зелена по-иному
и даже свистит, как чиж.

В тоненькой лужице
деревце кружится:

остатки ночного бала
и с ветром вальс садовой.
У липы, у этой кокетки,
как локоны, взбиты ветки.
Смотреться она устала
в зеркальный круг водяной.

8 июня 1935

* * *

У меня так немного тем:
я и тихая темнота,
что вокруг меня, а затем
есть, пожалуй, еще, но та –
это ты, коль покинешь туман,
ту толкучку имен и стран,
где предметов озноб и дрожь;
это ты, если любишь сама
и сойдешь, как с горы, с ума,
с той горы, где туман и тьма,
где во мраке имен живешь.
Эта теплая тема – ты,
цвет весенний, вечерний свет!
Я люблю тебя до темноты,
до того, что теряю черты,
что тебя, может быть, и нет.

29 июня 1935

* * *

Как ворох чувств растрепанный, огромный,
в сплошную кучу свален бурный сад.
Среди листвы кромешной, страшной, темной
висит лицо, как белый циферблат.

Кузнечиков стрекочущее время
в сырой траве волнуется, звенит.
И кто меня в глубокой этой теме,
как в темной лжи, надменно обвинит?

30 июля 1935

* * *

В дебрях глухой ночной поры
вздыхаются чувства, как топоры,

и обнаженное лезвие
с горем врубается в бытие.

Передо мной столетний туман
и пня простодушный истукан.

Деревьев идола служат мне
и подчиняются, как во сне.

Я им отесал корявые лица,
они ветвисты, как небылица.

У них одно деревянное чувство, –
и здесь... начинается искусство.

Я каменный горем, я – человек,
я каменщик, плотник и дровосек.

И моего топора лезвие
мне обнажается, как бытие.

5 августа 1935

ОРАТОР

И над водой худой, голодной,
под слезной тьмою влажных глаз
гроза, как бы трибун народный,
жестоким жестом поднялась.

Простора чистые хоромы
безгрешным чаяньем полны,
и с кафедральной вышины
гремит гроза – оратор грома.

Следя за речью постепенной,
с какой-то мрачною тоской
уже вскипел свирепой пеной,
соленой злобой вал морской.

Оратор бурный на разбеге,
и ветра свист, и скал молчки,
грохочут тучи, как телеги,
и скачут молнии в очки.

Когда ж в конце горячей речи
дождь, как сознание, засиял,
из голых скал взметнулись плечи
и рукоплещет длинный вал.

И снова в стопудовом звоне
ложатся гневно на пески
валов глухие кулаки
и волн холодные ладони.

12–16 августа 1935 – 15 августа 1942

КАТАКЛИЗМ

К окружности озеро светлось,
и в бешенстве парк оглох.
Я вижу: в вихре моих волос
бунтует пляски Бог.

Как атомы, лодки сошли с цепей,
и хлещет вальс садовой.
Давай – бери ладонь и пей,
черпай из зелени мутных аллей,
кружащихся с тобой.

И в зелени водоворот,
в оркестра темную медь,
Господь! – врывается Твой рот,
пытающийся петь.
И голос, закованный в куру, скорбит,
у нимф отнимают сад...

Мои ли глаза сошли с орбит,
и звезды летят невпопад?

У лип ни лица, ни тени нет.
Как атомы, лодки вплоть
до захлеба ныряют, и ты, Господь, –
безглазой грозы портрет.
У них ни лица, ни тени нет.
И в горле клокочет тьма,
и лодки – как черный хор планет,
сорвавшийся с ума.

Обрывки ветвей и цепей висят,
как молний прерывистый блеск.
Я – музыка, мраком вошедшая в сад,
и страшен не зря мне мрака разряд,
волос электрический треск.

Как атомы, лодки и листья летят,
как вал, нарастает ствол...
Я музыка, мраком вошедшая в сад,
несущая муку, дождины и град, –
я собственный произвол.

Как не существуя, как в темень оград,
упало лицо между рук.
Я музыка, мраком вошедшая в сад,
несущая миру дождины и град.
Я – сущий, я суженый миру назад
столетья, что в сучьях и ветках торчат.
Я суженный в линию пристальный взгляд,
я пристань событий, где волны кипят.
Я сущий пустяк, о котором молчат,
большого оркестра я взрыв и разряд,
до боли прищуренный звук.

14 сентября 1935

* * *

Был дождь – о бешенство Натуры! –
Был загнан в сад, к стене прижат.
На гребнях волн клавиатуры
теперь твои персты лежат.

Но я склонен опять, печальный,
в очках старинных и больной,
над шеи фразой музыкальной,
ее молочною волной.

И я понять еще не в силах,
что сердце бьется у виска,
там, где, как грифы скрипок милых,
висят два темных завитка.

Я оценить еще не смею,
что мне увидеть довелось –
границу, где волнение шеи
слилось с волной твоих волос.

Казалась паузой в природе
мне эта комната. Но ты
взметнулась облаком мелодий,
и дождь рассыпался в персты.

И поступь клавиш, как поступки
сердечных звуков, мне нова...
Веселой мельничихи юбки,
Шварцвальд, и вальс, и жернова.

О влажное от слез мгновенье!
И в хрустале поет вода!
И, от пьянино в опьяненьи,
я знаю, что пора тогда

спросить, волнуясь, о погоде,
потом припасть к твоей руке
и задохнуться от мелодий,
как пьяный Шуберт в кабаке.

16 сентября 1935 – 23 апреля 1940

ЧТЕНИЕ АННЕНСКОГО

Тянется осень, как серый намокший забор. И заботы
лезут навстречу о солнце, калошах, дровах.
Дождь протянулся от самых дверей до субботы,
псы поколеблены в самых собачьих правах

и не решаются больше шарахаться с лаем
под ноги ветру. Он трется у дачных террас.

Чаю напиться горячего, злого желаем
в утро осеннее, в третий мучительный раз.

И у тебя в это утро усмешка – не смеха
звонкая роза. Утеряно чувство рыдать.
В Анненском только с тобою нам будет утеха –
«Тихие песни» и «Лбрец» читать и читать.

Печку затопим, посушим калоши и души,
сядем к огню. Тени станут легко по местам.
Томик открыв, мы услышим, как дождик становится глуше,
еле шурша по бумажным, иссохшим листам.

16 сентября 1935

* * *

О гроза, я тебя до того доведу,
что ты встанешь у всех на виду!

Что ты деревом встанешь в глубоком саду,
вся в стекляшках листвы и ветвей.
О хрустальное дерево! Я приду
подивиться печали твоей.

О гроза, я тебя до того доведу,
что ты будешь стоять на виду

у свистящих, звенящих, ползущих вещей,
трав, сирени и овощей,
что ты будешь, сияя, стоять, как стакан,
как граненый стакан на столе,
что ты будешь стыть, как воды истукан
в хрусте листьев и в хрустале.

О гроза, я тебя на мысль наведу,
что ты встанешь у всех на виду.

И скажу я, к тебе наклоняясь, тогда:
«Ты в сознании прозрачном стань!» –
и, как темная бурей и горем вода,
мир войдет в твою каждую грань.

О сознание, тебя я на мысль наведу,
чтоб грозою ты стало в саду.

Если солнце поранит грани твои,
треснут стекла у самых плеч,
если рухнут, как ливни, глаза и ручьи,
распадется на камни речь, –
то, сияя тяжелым от мрака лицом,
что калиткою хлопнув им,
я войду в этот сад, как угрюмый гном,
стопудовый, столетний дым.

И с тобою, гроза, мы счета сведем,
и рассыплешься ты дождем.

21 сентября 1935 – 24 апреля 1940

ОХОТА

Выходит охотник, сжимая ружье,
взлетает сорокопут.
Тебе, пичужье бытие,
без разговора капут.

Охотник сделал всё, что мог
его охотничий дух,
и валится серого тела комок
к земле, испуская пух.

Охотник делает шаг вперед,
потом еще один шаг,
покорный трупик в руку берет
и говорит: «Дурак!»

И, как бы гадая, медленно рвет
он птице обе ноги,
а лес как Божий орган ревет,
и в музыке этой – ни зги.

30 сентября 1935

* * *

Он входит, шатаясь: «Я был молодым,
да коготь и зуб ступил».
Тяжелый, как ругань, махорочный дым
кругом его обступил.
Трактир дощатым столом скрипит,
некрепко сколочен, да плотно сбит.
И лица, висающие над столом,
врываються в бранный дым напролом.
Стеклянные слезы висят на усах,
белесых как старая мгла.

Он входит, шатаясь: «Я жил в лесах,
да жизнь лесная прошла.
И всё ж не хочу я пули в висок –
последнего из благ!»
На стойку хлоп мясной кусок –
лохматый красный кулак.

«Не сердце ль пылает в спирту голубом?»
И, подтверждая слова,
о стойку настойчиво бьется лбом
кулака угловатая голова.

И вот под державный кулачный гром,
а не под бряцанье лир,
задрожал, повернулся навзрыд кругом
и снова скрипит трактир.

6 октября 1935 – 24 апреля 1940

СМЕРТЬ БЫКА

Надменно попирая луг,
шершав, и черен, и багров,
как бог стоял, как туча – бык,
бык всех телят и всех коров.

Громадою лоснящихся бугров
он тронулся, как туша спящей бури.
Из-под божественных копыт
трава смиренно-бурая бежит.
Кусты дрожат испуганно в сумбуре.

Качаясь царственно, дорогою прямой
под осень бык вышагивал домой.
Рогатый Зевс, и пастбища властитель,
и телок девственных насильный обольститель,
он шел, как грома темный перевал,
да изредка ревел, припоминая телку.
Но Ио далека. И вот он горевал,
что осенью любиться мало толку.

Ворота двор любезно распахнул.
Сошлись за крупом Сцилла и Харибда.
Навозом хлев и тлением дыхнул.
Но бык не ведает, где правда и где кривда.
Простому сердцу незнакома ложь
и мало истин в черепе рогатом.

Бык добр, и ясен, и красив. Но всё ж
косится перламутром и агатом,
оправленными в крованистое кольцо,
на длинный нож,
который вынесла хозяйка на крыльцо.

Вот существо, что состоит из ситца
и пары дегтем смазанных сапог,
приблизилось.

И снова он косится,
косматый первобытный бог.
Вот существо с одной лишь парой ног,
расставив их, чтоб обрести опору,
его по шее глядя, свой клинок
вгоняет внутрь, как в дышащую гору,
и рушится гора. – Пришлось железо впору,
и каплями расцвел
торчащий в бычьих недрах черенок,
пустивший корень вглубь, где движется руда –
живая жидкость по воловьим жилам,
и грудa мяса рухнула, когда
бык изменил своим могучим силам.

Пурпурная струя из алой раны бьет
и пар багровый из ноздрей течет.
Огромный холм коленопреклоненный
вертит глазами, гневно-изумленный.
Остекленелый глаз вращается, как жернов.
Всё перемелется – и из костей мука.
И лес людей, как страшный ряд обжорный,
толпится возле бывшего быка.
Он нынче жалобно дрожит вспотевшим крупом,
готовый стать постылым грубым трупом.

Хрипит громада шерсти и костей,
и туша рушится от смерти потным боком,
и вот в последний раз в страдании глубоком

приподнимается, и маясь и мыча.
А дальше снова кровь и мутная моча.

13 октября 1935 – 15 августа 1942

ТАНЦОВЩИЦЕ

Снег несется, весел.
Где-то было лето,
где-то мысли мчались
и цвели цветы...
И к локтям прижались
ручки нежных кресел.
Лилия балета!
Это – снова ты.

Это те ли стебли?
Эти губы – те ли?
Ноги в легкой пене?
Шорохи воды?
Умные колени
в час вечерней гребли,
в час, когда летели
звезды, как следы?

Как следы на теле,
в поцелуях темных,
на склоненных веслах
двигалась вода.
Строгой речью взрослых
тучи налетели
и гусей бездомных
поднялась беда.

Будто память в пене
этот снег гусиный.

Занавес, как буря,
над тобой навис.
Длинный взор прищуря,
помню я колени,
голос лебединый
и как мы клялись.

Только это – ты ли?
Черный ветер сцены,
веер твой лебяжий,
влажный сумрак рта?
Это гордость та же,
но черты остыли.
Те же веки, вены,
только кровь – не та!

О метель и лето!
Снега отпечаток...
Сонный и мохнатый,
катится лихач.
И уйдешь в меха ты,
лилия балета,
лайковых перчаток
ласка, ложь и плач.

Взмахи губ и вёсел –
вспомнится – далече!
Полчища ладошей –
как они шумят!
Да, я был хороший,
но тебе я бросил
в дрогнувшие плечи,
как перчатку, взгляд.

25 октября 1935

* * *

Едешь, не едешь – всё мнится да кажется...
Кустик хрустит, обмороженный, хрупкий,
мнется на месте; и манная каша
снега подсыпана сызнава крупкой.

Веришь – не веришь! И вот осторожная
вкрадчиво ходит под пальцами карта.
В чайников шуме железнодорожная
скука среди Медитаций Декарта.

Писано-читано. Стянешь ли с полок ты
ворохи вырезок и вырезаний:
от Севастополя прямо до Вологды
и от Читы, через Омск, до Рязани.

Профили разной природы... Поправь и ей
пудру зимы на щеке, лета челку!
Нет, не потрафили мне географией,
и в философии – зубы на полку.

Если и тормоз, то с полок не ляпнуться, –
медным болваном качаюсь, как раньше,
в душном дыму о Спинозе и Ляйбнице,
Фихте, и Шеллинге, и Малебранше.

1 ноября 1935 – 26 апреля 1940

* * *

Не отбрасывая тени,
возле вечера иду.
Дремлют дряхлые колени,
смерть дремучая в саду.

И, быть может, не замечу,
что сегодня умер я.
Вместе с яблоней навстречу
попадается скамья.

Я присяду с книгой тихой,
с книгой радостной моей,
заглушен неразберихой
трав, побегов и ветвей.

Я, наверно, тоже всадник,
и скамейка – мой конек.
И веселый виноградник
вьет вокруг вино в венки.

Звук, начавшись в клавишках,
вдаль идет, где предстает
ночи демон в виде твердых
и решетчатых ворот.

Он тяжел, и тем он тени
из железа бросил прочь.
С милой мыслью о Монтене
раскрываю книгу в Ночь.

14 ноября 1935 – 26 апреля 1940

* * *

Отмель и отдых. И горю, быть может, конец,
горю соленому в каплях тяжелых обиды.
Я – Одиссей, захлебнувшийся жизнью пловец,
зревший пейзажи и заживо видевший виды.

В рубище грубом на времени желтый песок
тихо ступаю, свою судьбой озабочен, –

встретишь еще чем? Ударишь ли сердцем в висок
иль подаришь мне одну из несчетных пощечин?

Встречу тебе на ладонях несущее лицо.
Нет, не играть нам ни в мячик девичий, ни в прятки!
Вижу: на отмели, в белом, стоит дерево,
ветер запрятался звонкими осами в складки.

Ветку зеленую, что ль, попытаться сорвать?
Нет, не дается! Да кто ты, такая-сякая?
Силы иссякли, и некуда больше бежать.
Слышен ответ мне: «Я – дочка царя, Навзикая».

14 ноября 1935

ГЕОМЕТРИЯ ЗИМЫ

Ужасная пора была:
зима среди зеркал,
и ветер, как парабола,
в умах домов сверкала,
и линии каскадами
летели в тьме голов,
нас радуя парадными
квадратами и углов.
Ты жизни не ослабила,
абстрактная зима,
переписавши набело
черновики ума.
Из темных теней топота,
из росчерка саней
ты белой тучей опыта
опередишь коней.
Ты лепишь, а не верится,
пощечины крыльцу,
когда крыльцо – преддверьице
к вечернему лицу.

Хоть трижды грань оскаливай,
но быть тебе самой –
пасхальной, паскалевой
безумною зимой.

1 декабря 1935

КУРОРТНОЕ

I

О море дурашливой блажи,
о море – как тысяча губ,
и нежных и влажных! На пляже
июль на ожоги не скуп.

Ты – приступ болезни. Не раз мы
сойдемся с тобой, и тогда
ты – горло, зажатое в спазмы
от горечи, соли, стыда,

от памяти в бурных сугробах,
от щек, где щекочется мех,
от тех небольших, легколобых,
которых мы любим за смех,

за смех, за измятую розу
у губ и за лето в снегу.
А здесь докурить папиросу
от спазм я никак не могу.

II

Как звезды полдневные, реют
тяжелые в небе жуки.

И важно, что парус, белеют
надувшиеся пиджаки.

И зонтики, как апельсины,
висят в синеве тяжело,
и бьет в загорелые спины
двумя кулаками тепло.

Чего-то всегда не додумав,
ты будешь во веки веков,
о море купальных костюмов
да белых, как смерть, пиджаков.

Ты будешь до боли обычным
в приемном покое палат,
ты будешь в покрое больничном,
как вымытый свежее халат.

И кажется: кто-то окреп там
и, медный как памятник, спит.
И кажется парус рецептом,
и ветер по склянкам разлит.

III

Сегодня раздолье пернатым,
и пыль еще не улеглась.
Но я – как последний анатом,
занесший над вечером глаз.

О море! ты всё – человечье,
последняя жизни верста.
И пляж – как простора предплечье,
и в теле стоит пустота.

И глазу пора бы лечиться
от темной воды бытия.

Но выпадет зренья ключица,
о косточка чувства моя!

Глядеть невозможно без боли,
всё в грозный свивается круг;
на взорах натерты мозоли,
и мнится, что нужен хирург.

Клянусь перед дрогнувшим миром,
что сердце я вырву в итог,
что будешь ты мне сувениром,
о раковины завиток!

В нем ровные шумы былого
и памяти той борозда,
которую, будто бы слово
любви, увезут поезда.

Но веслами воду сгребают,
и в памяти мы молоды,
и гневные лодки ныряют
в сугробы огромной воды.

6 декабря 1935 – 28 апреля 1940

ОПЕРА

Шуб и шапок шумный шабаш,
чертов холод у подъезда,
ты влюблен и в смех и в хохот
милой спутницы в мехах.
На сто верст мороз, и кони
робко трогают копытом
камень мерзлый и певучий
на трескучей мостовой.

Шуб и шапок шумный шабаш!
Лампы в судорогах виснут.
Снег блестит на дыбе света
ослепительно, как грех.
Ты влюблен в ее улыбку:
о, серебряная мелочь
смеха девушки кудрявой
счетом нб десять рублей.
Этот смех пятиалтынный
спрячешь ты в карман жилетный,
где и сердце, и другие
документы бытия.
Ночь Вальпургиева, что ли?
Деву звать не Маргаритой?
Ты влюблен без декораций
и поешь совсем как Фауст.
Ночь Вальпургиева это,
ночь пурги – и лезут шубы,
размахавшись рукавами,
продираясь сквозь мороз.
В рай трехъярусный стремятся,
в парадиз тысячеместный,
где блаженный пот искусства
смешан с запахом духов.

И тебе туда же надо
со своею Беатриче,
в эти ангельские хоры,
в эти адские круги,
а услужливые черти
за бумажные червонцы
пару свежих индulgенций
без кривляний продадут.

31 декабря 1935 – 28 апреля 1940

1936

АКАДЕМИЯ НАУК

Будто лепка мудрых детских рук,
зданье Академии Наук.

Просыпаясь поздно поутру,
затекает умную игру.

Наклоняясь над Невой-рекой,
по утрам восходит дом такой,

что и сам становишься умней,
скажешь: видит на пять саженей

в землю, на которой спит вода
и пасутся хмурые суда.

В шесть утра разинуты, пусты
и зевают серые мосты.

В шесть утра мы утираем рты
от зевоты, рвоты, тошноты.

В шесть утра по-ангельски чисты
милиционеры и просты,

и просты, как серые шесты,
осеняючи свои посты.

Спит вода, забившись между свай,
и встает почтительно трамвай.

Покраснел он от смущенья вдруг
перед Академией Наук.

В шесть утра еще ленив и сер
и туман, и милиционер.

Сквозь туман многоученый дом
пробирается почти ползком.

Но Адмиралтейская игла –
по ту сторону добра и зла.

Но Нева – как черная черта.
Дом не понимает ни черта,

ибо в тесной глубине болот
ночь веков и ржавых жаб живет,

ибо кто тебя еще постиг,
город на войне да на кости?

9 февраля 1936 – 16 августа 1942

* * *

О тоска минутная:
пальцами по раме,
там, где царство смутное
с чайными парами.

Этот вечер, банными
запахами тронув,
встал вокруг чурбанами
почерневших кленов.

Ночь не может вырасти,
впору хоть и в плач ей
от любовной сырости,
страсти лягушачьей.

Кто ж тут жить поленится,
в сон с размаху канув...
Вечер – как поленица
грубых истуканов.

12 февраля 1936 – 10 мая 1940

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
Летела последняя ночь, мотаясь в оглоблях,
и серое утро в мокром снегу
ходило уже по дворам.
Старушечьи церкви толпились уже в переулках,
крестились и начинали
болтать и звонить языками,
медными языками колоколов.

А я был крик первородный,
крик о себе и о мире,
о мире на мягкой подушке,
о мире теплом, как кожа,
о мире молочного цвета.

С тех прошла четверть века,
наполненная уксусом и пряностями
чувств – обид и желаний,
в которой я как homunculus
сидел, поджавши ножки, –
четверть века на письменном столике
в кабинете Врача.

О смертельно-кислое снадобье!
Пить его по капелькам надо,
если хочется излечиться
от тяжелой болезни жизни.

Золоченым солнечным зайчиком
от окон прибегало счастье
и прыгало, как бы поддразнивая,
на скользкой глади сосуда.
Сосульки сусальные брякались,
и земля пасхальным яичком
катилась со вселенской горки
к веселому Богу в ручки.

С квартиры на квартиру переезжала Память
на возах со шкафами, столами и стульями,
и теперь еще, как в тумане, колеса
стучат по далеким уже мостовым...

Четверть века! Это латинское слово,
это дата моей истории,
но я, летописец, помню,
что я родился в Благовещенье.

7 апреля 1936

* * *

Чернеет лес, как смерти гнусный рот,
над саваном истлевшим снега.
Не сани, нет! а чертова телега
трясется, увозя с собою год.

Как синяки у глаз, болезненны ухабы.
Уж машут шапками: прощай и будь здоров!
Глядят из узких окон и дворов
весенние разнузданные бабы.

Румяна плоть нагрывушей весны!
Свиданье жаркое в соломе у овина.
А тело – каравая половина,
калач, исполненный тепла и белизны.

Просты и плоть, и смерть. Весною вздор мы мелем,
не поцелуй платим – медяки,
на веки их кладя, как синяки,
а смерть в телеге тащится с портфелем.

9 апреля 1936 – 10 мая 1940

* * *

О чертоги Семирамиды!
Вот возводит и там и тут
муравьиные пирамиды
суеотящийся рабский труд.

В стрекозиных сраженьях и войнах
время кажется мне свежей
между кровель мохнатых, хвойных
вавилонских лесных этажей.

Всё равно – повелитель, раб ли,
и жрецы, и купцы, и цари
да приемлют чашу до капли
ассирийской горькой зари.

Сколь лесную судьбу ни гневи я,
сколь я сумрак стволов ни порочь,
но падет на тебя, Ниневия,
темной смертью халдейская ночь.

6–7 мая 1936

ТАЙГА

Она – как на сто верст уснувший гром
по темным перевалам да по падам;
как в сундуках, как по тяжелым кладям
уложен сумрак в тишине хором.

Вдруг солнце тучу зелени багром
заденет, и мы быстрый день наладим,
как лодку легкую, пустив по глазам
реки, сверкнувшей справа за бугром.

И хор стволов, весь в сырости, в тумане
покинет темный княжеский покой
и встанет, петь готовый, над рекой,
над жмущейся от холода поляне.

И гром, досель в тени еще молчащий,
повалит, как медведь, из черной чаши.

6–7 мая 1936

ОДА НА ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 19 ИЮНЯ 1936 ГОДА

Люблю сей Божий гнев.

Тютчев

1

С утра занемогла природа,
с недугом жаркий спор ведя,
пока не ринулась погода
холодной оспою дождя.
В сумбур веснушек, капель и рябин
погружены ладони, локти, лица.

В глубокой оспе шумная столица
берез, черемух и рябин.
Сгинь, непогода, пропади, исчезни!
Почто смущаешь небо ты?
Под покровительством болезни
деревья, травы и цветы.
Хворать им даже очень просто:
с березы валится береста,
а с крыши лупится короста,
и мира бледное лицо –
как бы кукушечье яйцо.

2

Один в болезненном просторе я
стою и в похоти, и в лени.
Вокруг меня обсерватория
академических явлений.
Ко мне подходят лица. Горе им,
ладони положили нб щеки.
А там, за грозным плоскогорием,
с оружием вскрывают ящики,
и мороки грозят с опушки нам,
что станет черным белый свет,
и повторяю вслед за Пушкиным,
что от судеб защиты нет.

3

Так началось. Смотри да слушай,
как это длилось с полчаса,
как переглядывались с лужей
растрепанные небеса.
Сиди да жди. Хоть сам заплачь,
когда уже терпенье на исходе.
Но наконец к страдающей природе
явилось время – этот верный врач.

Какое он ей прописал лекарство,
то знает только Бог один...
Шумит окрепнувшее царство
берез, черемух и рябин.
Листва еще кипит в сумбуре,
еще в ней бьется чувство бури,
еще неможется Nature:
ее долит то холод, то жар.
Она пыхтит, как самовар.

4

Уже пошли – погнал же ливень их! –
пенечки по лужайкам топтать,
и солнце, словно стертый гривенник,
прокатывалось хмуро в копоть.
На зуб деньги добротность пробуя,
разверзлась молча пасть драконова.
Увижу ль также и утробу я,
и хвост, и когти зверя оного?
А над избенками погаными,
где днями сумрак ночевал,
шумливым табором с цыганами
зеленый мир заочевал.

5

О, зелени переселенье!
И смотрят люди, онемев,
оцепенев от удивления,
на непонятный Божий гнев.
Не занавес спускается с небес,
а черная библейская завеса:
не стало ни лугов, ни леса,
и самый горизонт исчез.
Куда девалось солнце в орифламме?
Настала черной нечисти пора.

Тревогу бьет петух крылами,
герольд навозного двора.
К нему бегут с испугу куры,
кудахчут, крепостные дуры,
баран молчит, как грешник хмурый,
и только гордый витязь гусь
готов спасать святую Русь.

6

Померкло. Солнца нет. Как в пропасти,
оно исчезло из бинокля,
и от волнения и от робости
сам удержаться я тут смог ли?
Лежит в канаве величая
свинья, спросонок тихо хрюкая:
в навозной жиже полуплавая,
она мудрей, чем тварь двурукая.
Вдруг под стеклом, покрытым сажею,
открылся крупнозвездный свод,
и кто-то рать увидит вражию
и крыльев ангельских полет.

19 июня 1936 – 16 августа 1942

ПАГАНИНИ

I

От больных итальянских ночей
в дилижансе трясясь по равнине,
я – печальный пророк скрипачей,
я – владетельный князь Паганини.
И с вершины скрипичных высот,
там, где воздух становится редок,

вихорь славы лишь мне принесет
горделивую смерть напоследок.
Только мне, только скрипке моей
смерти ветку лавровую. Горе!
Среди пенистых песен морей
ты, толпы разливанное море!
Что ты хочешь? Прозрачных речей
умирающей скрипки моей? –
Никогда не услышать: убита.
Я – убийца, я – гордости князь.
Я уста ей закрыл, в дилижансе трясясь.
Вы услышите только, как падают в грязь
капли, слезы, колеса, копыта.

II

Чудный бред итальянских ночей!
Нет гонений и гнева в помине.
Я не ваш, я не свой, я ничей,
я лишь имя себя – Паганини.
Я лишь ветра взлетевший смычок,
доходящий до силы сирокко,
громовержущий звуки пророк,
простирающий руки широко.
Малярийным дыханьем ночей
отравили мне сердце, и вызов
шлю я Вечности – бог скрипачей,
повелитель эстрад и свечей,
приживалец князей и маркизов.
Но довольно! Искусство с высот
не сойдет. Пальцы движутся в трансе.
А судьба и везет и трясет
мою ветхую жизнь в дилижансе.

III

Грозный бред итальянских ночей!
Звонкой стали и выпад и вызов!
Я сыграю! Ты слушай и пей
мой смертельный напиток капризов.
Не смычок, может быть, а клинок!
Прозвучит мне, как смерть, шпага ныне,
и падет у собственных ног
неуниженный князь Паганини.

IV

Это утро – последыш ночей
разыгралось в дурашливой сини.
Эй, возница, гони-ка коней,
поскорей увози Паганини.
Mia bella Italia!* вмиг
ты забудешь о блудном сыне.
Я сыграю, а ты, ямщик,
погоняй, увози Паганини.
На колесах славу везешь,
волочишь по презрительной грязи,
но смотри, как дорожная дрожь
зародилась в нищем князе.

V

О Италия! Дочка долин!
Buon matino!** Я стал иностранцем.
Я венгерских отведаю вин,
буду пить с крепким юношей Францем.

* Моя прекрасная Италия! (итал.)

** Доброе утро! (итал.)

Что впросонках ты мне говоришь
с грядок детства, салата, укропа?
Нет, меня не укроет Париж!
Что мне старая баба Европа?
И с вершины скрипичных высот
вам, живущим в глубокой долине,
только смерть мою жизнь донесет
да мой титул и герб: Паганини.

13 августа 1936 – 27 августа 1940

* * *

Я спал и был свой сон, свой сын,
я был как сад лишенных плоти палок,
был возведен в осенний сан осин,
был черной музыкой ворон и галок.

Квадригой похоронной небо шло
и озеро слезилось, как глазница.
Я одолел такое ремесло,
каким никто живой не соблазнится.

Я спал как плод, не ведавший тягот,
отведавший бесплотность отчужденья
от ветви. И замкнулся черный год,
и наступает холод пробужденья.

То, что казалось ясным и простым,
как взор покойника, где всё и ничего нет,
теперь горчит и ест глаза, как дым,
и мрак столетний тела к жизни клонит.

17 сентября 1936

* * *

И лежу я сном окован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.

И. Анненский

Надо мной идут часы,
словно дождь тыщеминутный.
Эту скорбь печальных капель
ощущаю жизнью смутной.
Таракаников усы
ощущением жизни стали
и шевелят имя «Апель»
на больной, как зуб, эмали.

Судьбы с белого листа
черный, четкий дождь читает.
Я держу в уме помарки,
время маятник качает.
Дождь, как видно, неспроста,
из укоров и угроз он.
А вокруг фабричной марки
жарче щек пылает розан.

Деревянная скамья,
ты – немеющее ложе,
лошадь муки и ломоты.
А кругом одно и то же:
зубы, дождь, часы да я,
всё знакомое до хруста
пальцев, глаз и скул. Но кто ты,
Апель – пасынок Прокруста?

1 октября 1936 – 27 августа 1940

СРЕДА

Я на коленях, Брат Календаря!
В высоких осенях шумят дожди, и серы
листы осин, как символ веры.
Я на коленях, Брат Календаря.
Ты пережит, как день. И сумерки даря,
и дыма влажные холодные охапки,
которые, как сизая заря,
на горизонте брошены, и тряпки
небесные, ты плачешь зря.
Я, убежавший из монастыря,
как ночь, украдкой, без души, без шапки,
я на коленях, Брат Календаря.

Ты день в паденьях слез, в грехопаденьи дали,
ты день домашнего сурового суда,
которого, дрожа, сжимаясь, ждали
столбы от виселиц, пришедшие сюда.
Ты день дождей, ушедших до суда
за мачты в море мира и матросов,
день серых курток, блуда и стыда,
день морозящих подлостью вопросов.
Я знаю, ты моя, ты серая Среда,
ты день тумана, луж и пота,
день боли головной, день страшного труда
просеивать дожди через решета,
забитых наглухо заборов череда,
во вне предутреннем забытая забота.
А я – твоя победная беда,
твоя страстная смертная Суббота.

7 октября 1936

ЛЕВЕНГУК

I

Над Европой небо – цвета дыма.
Держит бронзовые облака
на цепочках медных – серафима
восковая кроткая рука.

И на лицах – святости полуда,
и в молитвах, страсти шевеля,
ты камнями похоти и блуда
подавилась, черная земля.

Опилась ты мраком. В черных сучьях
демоны похожи на калек.
Ты в объятьях медленных, гадючьих
пресмыкающихся рек.

II

Над Европой в вихрях чернохвостых
судьбы в Божьей копоти летят.
Мне милей голландский вольный воздух
и страна, возвращенная как сад,

честность, что копилась здесь годами,
рыбаков серебряный улов.
И в плывущем тихо Амстердаме
тот фамильный звон колоколов,

что зовет на ужин, на дремоту,
на большой покой пуховика,
а не тот, латинский, что в субботу
проводил на кладбище века.

III

Говорю вам: ведайте, народы, –
в том я на свидетелей пошлюсь.
Мы одни одолеваем воды,
мы – единственный в Европе шлюз.

Впишем мы в торговые анналы
времени – коров и корабли,
мельницы и мерные каналы,
что ножами по лугам прошли.

В нашем небе и морях крепится
мирно человека торжество.
И не рухнет с дома черепица,
черепица с дома моего.

IV

Что ж, пожалуй, я и беззаконник.
На тюльпаны я глядеть готов,
опершись о крепкий подоконник.
Ну, а вы не любите цветов!

На толпу бегущих в море лодок,
мнущих волнам мягкие бока.
На сухой дубовый подбородок
и наряд убогий рыбака.

Ну, а вы... Коль нету правды в мире,
в мире крытых тучами небес,
где громов купеческие гири
возвещают всякой вещи вес.

Если в этом мире вместо истин,
молний Данииловой рукой,

вес, число и мера – ненавистен
и от века проклят мир такой.

V

Говорю вам: ведайте, народы!
Есть иной в болотах и пыли,
в малых водах малый мир свободы –
mundus parvus – мир моей земли.

Мир стеклянных зрения окраин,
мир минутных битв, страстей, эпох,
мир, в котором я – хозяин,
Deus potens – властный бог.

Я провел века в оковах взора,
я тащился без поводья.
Нынче в каплях для меня – озера,
нынче в лужах для меня – моря.

VI

Очи выплакавшая наука!
Ночи превращающая в дни,
вот тебе глаза от Левенгука,
добрым словом старость помяни.

Кто б ты ни был, мой наследник верный,
научись смотреть не вверх, а вниз.
Не над неба полою цистерной,
а над каплей мира наклонись.

И, ладонь щитком приставив ко лбу,
ты увидишь, как увидел я,
туфельку, и палочку, и колбу –
крохотную утварь бытия.

Правду грязи, слизи, пены, слюнок,
правду, что валялась под пятой,
ты возьмешь и сделаешь рисунок,
и поймешь всё вплоть до запятой.

15–20 октября 1936 – 29 августа 1940

* * *

Пора пустынная, полынная пора!
Теплы в степи, как щеки, вечера.

Идешь туда, где в копнах облака,
идешь и думаешь, что день не пережит,
идешь и видишь: степь, как разум, широка
и воздух весь как поцелуй дрожит.

И всё ж и мед и горечь на устах,
и всё же стих о жалости – с тобой,
когда, наверно, смерть в пяти верстах
или судьба мелькнет, как столбик верстовой.

Игра пустынная, полынная игра!
Безводной страстью дышат вечера.

Кузнечики куют свиданий час,
простор обстанет с яростью репья.
За пьяным солнцем по следу влачась,
ищу возвышенных предметов я.

Но неба нет – оно как мертвеца
безмерный взор, где все умы пусты.
У степи вид усопшего лица,
и, может быть, одна осталась – ты.

Любимая, в борьбе моей, в мольбе
о страсти, подойди и усыпи...
Я шел один и думал о тебе,
единственной, как дерево в степи.

17–18 октября 1936 – 30 августа 1940

БЭЖОН

Я изнемог в немоте площадей,
в толпе карет злаченой и надменной,
не кровь во мне бежит, а голоса людей.

Мне вручено считать все крапинки вселенной,
ее погрешности с усмешкой отмечать
и к ней, зажатой в скобки и кавычки,
к ней подбирать ключи, подыскивать отмычки.

Лорд-канцлер, спите: я храню печать.

Века летят в шумливой перекличке.
Переписал я старый инвентарь
и ярлычки на вещи по привычке
наклеиваю, словно календарь
природу по листочку обрывая, –
и Англия, сухая, меловая,
и Англия сурово-деловая,
зеленая, туманная, как встарь.

Как встарь, ее пещеры с божествами,
камины, библии в разинутых домах,
бесплодный виноград на меловых холмах
(и я не сплю, Лорд-канцлер, вместе с Вами).

Здесь некогда шумел ширококрылый Рим,
трирем раскинув деревянный форум.

И мы, наследники, латынью говорим,
и римских идолов мы славим буйным хором.

Седые фурии, укутаны в платки, –
вы, человечества жестокая скульптура, –
вцепились жадно в скромные лотки,
и ругань сыплется, как медяки.
Не ты ль торгуешь тут, Коммерции Натура?

Всё тот же Рим нам храмины воздвиг,
где каменщики пачкались в известке,
чтоб статуи живые на подмости
поставить скопищем болтливых книг.
И если я теперь в себя проник,
как вор в окно, наперекор природе,
что я сыскал бы в доме-сумасброде,
который, как в лесу пещера, дик?
Я старый пилигрим, стопы мои в походе
туда, где опыта сияющий родник.

Себе и всем мы научились лгать,
и Англия нам лжет на смертном ложе...
Предательство, измена, смрад. О Боже,
ужели я великой правды тать?
Насилие и тление! И всё же:

Лорд-канцлер, спите: я храню печать.

20 октября 1936 – 16 августа 1942

* * *

Как на картах – длинный путь-дорога,
как на картах – крупный разговор!
Месяц, убежавший из острога,
точит ножик, как заправский вор.

Из-за правды этой круглолицей,
из-за мякоти томящих губ
я простился с милою столицей,
стал разбойник, вор и душегуб.

Из-за правды – за платок в разводах
(серафим, одетый в сарафан!)
я устал на подневольных водах
принимать пилюли и туман.

Из-за правды! – Правнуку, потомку
чьих-то потных трудовых ночей
я в угоду захватил котомку
с томом Цицероновых речей.

Как на картах – дождик мелким крапом,
месяц слева, месяц молодой!
Мимо тихо ходят кони с храпом
и качают грустно головой.

Что же делать с этой русой девой,
коль не все еще сердца равны,
если месяц вечно светит с левой,
если сердце с правой стороны?

20 октября 1936

ТИФ

Стена, как мяса кус, темнея и стена,
отпала от плеча...

Костлявая луна –
настенная игрушка костяная,
и все-таки – подушка и стена.
И все-таки: стеклянный склянок бой,
и все-таки: лекарства час прозрачный.

Дежурит тень, обход свершая мрачный,
на кафелях от стрелки часовой.
На страже с полночи страстной отпетых рота.
Штыки блестят и в складках спит шинель.
Сознание с шумом вышло за ворота,
мигренью мучится от топота панель.
Всё тело – в ниточку, ресницей, узкой бровью...
У простыни бессонное лицо.
А с улиц хлещет взорами и кровью
и в вихре глаз шатается крыльцо.
Смешно сказать, что, веки отдирая,
как на чужой ладони видишь грудь,
и странно знать, что глаз с другого края
на самого себя пытается взглянуть.
О зренье в плоскости простынь и тела!
В стеклянной трубке скачет вверх тепло.
Сознание вдаль по улице ушло,
и скудное пространство опустело,
в своем безмолвии предметов лишено...
Я вижу, что меня осталось мало.
В термометре со звоном сердце пало,
и чуждая рука просунулась в окно.

11 ноября 1936 – 11 сентября 1940

ЗДРАВИЦА

Да здравствуют вещи не с той стороны
и мир не с этого боку!
Я еду до самой осенней страны,
к печально-грустному року.
Там зайцы на корточках кору жуют,
жучки позабились в расселины,
и черными птицами насмерть тут,
как пулями, рощи прострелены.

А кони как тени, качаясь, бредут,
опутаны строго дорогою.
Я праздную там, и здесь, и тут,
тревожусь, но вожжи не трогаю.

Пустое пространство – как проблеск лица,
гуляешь во всех дворах ты.
Да здравствуешь ты не с того конца
и время с бухты-барахты.
Пространство – как проблеск чужого лица
с куском размалеванной плахты.
Тяни за конец, и не будет конца.
Размазаны слезы, румяна, грязца,
и шлепнешься оземь, пустив «подлеца»,
и зябнется озими. Ключья сенца
торчат на кустах, а в устах молодца
насталла огромная грань без конца
во имя Духа, Сына, Отца
и чувство – с бухты-барахты!

Замызган, забрызган, заезжен путь,
и грязь – души непролазней.
А ну как колесам сразу рвануть?
Как жить при таком соблазне?
А ну как колесам всё лесом шагать
семь верст до небес да войной?
Сорвутся с осей и завертятся вспять
судьбой какой-то двойной.

Лесная дорога пойдет до темна,
лесная дорога дойдет до гумна,
она, как собака, верна и умна.
Да только далеко брести до гумна.
Еще удалей, чем сестрица-пурга,
играет-гудит непогода-Яга
и гонит дорогу, сама весела,
ее погоняет она до села.

Там встретят и лаем и тишиной,
там встретит огнями и бранью шинок,
где под ногами пищит больной,
ослепший до старости щенок.
Там встретит с поклоном в дверях корчма,
где горе с весельем торчат торчмя,
где скачут стаканы, звеня и шумя
во здравье чужого ума.

Окошки нахмурены, как старики,
насуплены до самосуда,
и бьются в припадке плошки, горшки
и прочая посуда.

Да здравствует радость не с той руки
и мысль, так сказать, не оттуда.

Блины как пощечины горячи,
калач – что твоя оплеуха,
но всё, что в печи, на стол мечи
на потребу брюха и духа.
Какое раздолье, приволье вещей,
изба их сожрать сулитися.
Я пью за судьбу, да не тех же щей,
за ту, что не посолится.
И пьяные речи пойдут плясать
от печки и до порога,
и снова с сумой потащится вспять
дорога, лесная дорога.

Жизнь бьет навстречу, как из ружья,
и хоть наугад, и хоть ничьей
цели не встретить, радуясь я
удали этой охотничьей.
Стрелять, так чтоб пуля засела во лбу.
Я тоже малый – не промах.

Стрелять, чтоб гудело в люльке, в гробу,
в дремучих сосновых хорамах.

И глушь, и глупость, и глум, и дичь,
и чушь таежную разную
хочу непременно я настичь
и каждый промах праздную.

Да здравствует мир ни в одном глазу
с расшатанных точек зренья!

Я пьяные слезы в бочонке везу,
а время собирает коренья.
Со временем будет крепок настой,
отведай сварливого зелья!

Да здравствует мир в год 36-й
со стороны, да только не с той,
но веселый, как новоселье.

11 ноября 1936 – 2 ноября 1940

Д. ОБЛОМИЕВСКОМУ

Друг далекий, друг напрасный!
Если хочешь, вспомяни.
Но мелькают мимо дни,
бестолковые как пни.

Друг далекий, друг прекрасный!
Нам не счесть моих дорог.
Милый друг, на краткий срок
от дождей и я продрогу,
от осенних разногласий.
Еду, пасмурно спокоен,

весь по горло в тарантасе,
в мире рытвин, колдобоин,
ям и рвов, канав, обочин,
по замызганному следу,
и ничем не озабочен,
дым пуская к небу, еду.

Колесом вертится слово,
выпал в ветер клочок волос.
Грязь праматерью живого
хлюпает из-под колес.
Листья в каплях древней слизи.
Светлый луг с туманом слит.
Осень – клейких слез Элизий
мне очнуться не велит.

Друг далекий, я не плачу,
не кляню ни путь, ни клячу.

Мост костями полег за мной,
деревянный и гнилой.

Друг далекий! Всё – как встарь:
встречи черствый хлеб не делим.
В скорбной брочке по неделям
смерть, безносый секретарь,
еле тащится с портфелем.

26 ноября 1936

* * *

О Вещь! ты – тихое и бречное бревно
в течении реки вечерней.
Куда плывет? – Не всё ль равно!
Как молчаливый гром, плывет оно

и дышит тяжело.

Становится темно,
кусты тенями мыслят и на дно
идут толпой, затихшей в гневе черни.
О Вещь! ты – темное, ты тяжкое бревно,
ты с виселицей, может, заодно
или с крестом в уборе слез и терний.
Охвачен домом, вижу сквозь окно:
два голоса сидят за столиком в таверне
и пьют последнее багровое вино.
Я навзничь падаю к подножью ночи, но...
Но ты, о Вещь, ты – бренное бревно.

6–7 декабря 1936

ЕЛКА

Я как праздник стою, и висят погремушки
листьев, яблоков, игол, цепочек и звезд,
и чернее, чем кровь, от корней до макушки
поднимается, маясь, разгневанный рост.

Скачут дети, и гномы, и ватные деды,
херувимы под свечками тают в слезах.
Только их ли я праздник? О праотец, где ты,
утонувший во внуках, сынах и отцах?

Скачут дети, и стаи мучительных нянек,
поучительных теток молчат и ревут.
Как медовое счастье, за пряником пряник
я роняю, а что не обронится – рвут.

И обобран я начисто, вскинутый в воздух
этой вшивой вершиной в парше смоляной,
этим телом в проказе, гною и коростах,
этим телом в сажень с половиной длиной.

Всё же праздник я в горе, и в море, и в лепре.
И приходят ко мне и снега зареветь,
и лисицы, и зори, и ветры, как вепри,
и всей тучей навалится бурый медведь.

И олень ручьёрогий, и облак ленивый,
и глухарь, точно гром бородатый, падет,
и далекое поле с уснувшею нивой
в черном чреве времен, там, где роется крот,

и буран, всем разгулом навзрыд обдавая...
И дрожу и трясусь, но не падаю я
и гляжу, как идет череда годовая
и от лыж остается в снегу колея.

7 декабря 1936 – 4 ноября 1940

1939

АВСТРАЛИЯ

Жара, гроза и эвкалипты,
водица вскользь, а в ней – рачок.
Как к этой суете прилип ты,
о человек-дурачок!

Кольцо в носу – Сатурна кольцам
под стать, и встанут в тот же ранг
гривастый папуас с Гельмгольцем,
и мчится в вечность бумеранг.

Какие грянут завтра лица
и глянут грозно чьи глаза?
Косая рожа австралийца
иль фас мадам де Ремюза?

Здесь древности последний воздух
и, попираючи жару,
сверкнув прыжками тяжкохвостых,
надменно скачут кенгуру.

Пожрут ли колонистов овцы,
или спасет их Демиург?
На кораблях сидят торговцы,
и с ними нет тебя, Панург!

Потом взойдет, быть может, скука
палеолитами зари...
А где-то там, над трупом Кука
отважно пляшут дикари.

24–25 апреля 1939 – 24 ноября 1945

РОЖДЕНИЕ ЗВУКА

Помню себя вдалеке:
черствы́е камни да дуб-урод,
птицы, порхающие налегке,
пустой и тревожный рот...

Воздух мелькал по сердитым кустам,
задыхался, как лошадь, бег,
и неделимый на Здесь и Там
был Бог и Человек.

Низко навис навес небес,
носились гром и пух.

Орел терял державный вес.
Как зуб, прорезАлся слух.

Камни стонали от жара и лени,
ворочаясь с трудом.

Ручей, быстроногий как олени,
неприрученный, испуганный прыгал
среди мирных мхов и зеленых игол,
спеша в многоводный дом.

А по песку, в тростниках да иле,
отяжелев от большой воды,
косолапые реки неплавно ходили,
волоча и качая животы.

Обрыв, захлебываясь в хохоте,
оскалив каменные клыки,
брызгал свирепой слюной и в похоти
прозрачное тело кромсал на куски.

Страх грохотал по горам, и облако,
перебираясь горной грядой,
скатывалось, как гремучее яблоко,
и раздражалось трескучей водой.

.....
Где ты, брат мой, олень ручьеорогий?
Ты ли пробился на водопой

смерти хорошей широкой дорогой,
жизни тесной лесной тропой?

.....
.....
Я видел пляску полных лун
в зарослях ночей.
Я был испуганный колдун,
робкий чародей.
Клен, набок накренив рога,
свергался на меня,
но брат Олень сражал врага,
и камень летел, звеня.
Летел, остер, с ястребиным клетотом
к рябинам кровавым и мчался, не рад,
к безумной руке, а в бору далёко там
кричал замирающий серый собрат.
И крик был не мой, и лес – не мой,
и хворост трещал и хрустел в ушах.
И многолапчатою тьмой
шумела ночь в камышах.
Я был в зиянии пещер,
у хищных гор в зубах.
Я жил, упрямый старовер,
в медвежьих погребях.
И тайга, как толпа одичалых веков,
со мной говорила тогда
на тысяче яростных языков,
на темном наречьи речных богов
мне песни выла вода,
и травы, от радости заиграв,
ходили ходуном,
и камни стучали, как телеграф,
о бунте в чреве земном,
и даже кривоколенный дуб
подходил черней дикаря.
А я был слеп, и глух, и глуп,
как утренняя заря.

Я был лохмат, как вот этот куст,
и глубже, чем этот брод,
и был тревожен, горяч и пуст
с трудом приотворенный рот.
То был он прищурен, как острый глаз,
то разинут ущелья шире;
там багровая глыба спать улеглась
сном стопудовой гири.

.....

.....

Волей-неволей живи да живи,
как дерево в хмуром росте.
Корчатся чувства, и губы – в крови
да в первородной коросте.
То шкуру сдирай, то корней наррой,
чтоб грело тебя и питало.
И рот был свирепой ноздрястой норой,
где ярость моя обитала.

.....

.....

Вижу: столкнулись плечами горы,
слышу: камнями тучи стучат,
и валунов табуны и своры
в гранитные дебри бегом летят.
В кузнице бьют копыта коня,
и к стуку я привык.
Но вот вылетает в гриве огня
красноязыкий крик.
И это Я лечу вперед,
и ломается бытие,
и это Моя рука берет
восторженное копьё.
Прозрачный хребет у ручья перебит,
и зверь не ревет, когда,
от злости мечась, на огне шипит
плененная вода.

Куда ни ляг, куда ни глянь –
жара кует с плеча.
Как глиняный кувшин, гортань
пуста и горяча.
В окрепшей окрестной тишине,
где только камня стук,
в пустынном, стынущем кувшине
поселяется первый звук.
Веселый первенец наук,
свирепее копыа,
он, многоног и многорук,
кричит, как Ястреб: Я.
И воздух дерет он, свистя и визжа,
и, настигая зверье,
волшебными жестами ножа
он жадничает: Мое.

.....
.....

Как лес, гудит моя нора,
словам еще страшно в ней.
Но открывается пора
имен, ступеней, дней.
А ветер по уступам лет
гоняет вниз молву.
Вдали слепой звериный след,
а сверху Да, а снизу Нет,
а справа Тьма, а слева Свет,
и я еще живу.

22 мая 1939 – 25 августа 1942

* * *

Слушай, маленький дружок,
мелко стриженный в кружок:
неба яростный прыжок
был внезапней, чем ожог.

В ожидании дождя
грома грозные цепи
опускались, молотя
молний светлые снопы.

Помутился ум у речки,
дождь по каплям начал речь.
Каждой капельке в колечке
золоченом надо лечь.

Слушай, резвая подружка,
у весны теперь пирушка,
и тебе пора понять:
грозы – это не игрушка.

Сад дрожит, как мокрый пес,
отряхая сон и влагу.
В стукте стекол и колес
бурей нагруженный воз
ветер за реку увез,
он дерет мою бумагу.

Слушай, чудная подружка,
подари мне перстенок
с каплей счастьяца. Денек
светел, ясен, как опушка,
свежевымытый стоит...

23 мая 1939 – 24 ноября 1945

ТАЙГА

Я шел вчера в тайге и навзничь лег,
от муравьиной суеты далек.
Дымок, как бес, карабкался из трубки.

Валялись трупы трав – осенних битв урон,
деревьев грубые и черствые обрубки,
монахи здешние, монархи без корон.
Я был свидетелем прискорбных похорон.
Вдали река толкла водицу в ступке,
толкались комары последние, а я
разглядывал различные поступки
и был всему ленивый судия.

Кустарник, цепок, тощ и жаден,
лез напролом, на смерть – не на живот.
Я был один среди лесных громадин,
тянувших на себя полдневный синий свод.
Но ввысь рвалась небесная палатка,
шатер разодранный хотелось удержать
и всё вокруг, как будто для порядка,
неукротимую веревкою связать,
свидетельства веревкою незримой,
бесстрашную порукой круговой,
готовой силой стать необоримой
и приговор отвергнуть роковой.

Всё лезло вдруг из грязи прямо в князи,
и муравьиный Вавилон шумел.
И я мудреной первородной связи
найти в суде по делу не сумел.
Но думалось: придут, дудя и воя, воды,
по коже побежит комарий зуд,
пеньки на четвереньках приползут,
медведь притащится с осанкой воеводы,
и рыбы, кроткие подводные народы,

надевши панцири, как рыцари придут,
улитки в раковинах слезы привезут,
как в колесницах допотопной моды.
И вот под кровлей горькой непогоды
иной и страшный будет суд.

И встанут леса хмурые князя
перед лицом Того, чье имя позабыто,
и многолетняя мохнатая обида
дубово-неотесанного вида
лохматой лапою утрет слезу ручья,
и леший, как печать, приткнет копыто.
И будет суд.

Так долго думал я.

Дымок скакал и вился, как бесенок,
и на ухо нашептывал: «Не верь!
То не тайга, не лес, а попросту лесенок,
скопленье сосенок, мушиных побасенок,
и ты один – и дерево, и зверь».

25 мая 1939 – 1942

ПОЛЮС

Посыпан солью злой да едкою известкой,
разинут полыньей студень рот.
Он самый черствый, самый жесткий
скупой кусок земных щедрот.
Сквозь рощу тощих мачт он был предел мечтам.
Дощатые суда трещали в огорченьи,
и думалось: воздушное теченье
позамерло в том неподвижном Там.
И все-таки волшебные огни там
в сияющий собрались хоровод

и с давних пор манили, как магнитом,
умы и корабли из прирученных вод.
Не раз вела отважная беда
сердца суровые туда,
в то царство сонное, где, ледяные шапки
напяливши, осанисты, горды,
набрав снегов огромные охапки,
усевшись в ряд на ворохах воды,
ворочаются бури, как бояре.
Но яростней и всех бояр старей,
там потрясает в ледовитом паре
сердитой бородищею Борей.
И льдины, как уснувшие стаканы,
на замершем пиру повергнуты легли,
и сторожат слепые великаны
покои древней матушки-земли,
и высоко морозная секира
занесена там над вершиной мира.

Там Ночь сидит среди ледяных холмов
на посрамление умов.
Зажав в кулак всю стужу воедино,
царица Севера гнетет далекий край.
И в сердце самое тебе попала льдина,
горячий, дерзкий мальчик Кай.
Там Ночь сидит. И до простого смерда
всё служат ей послушные ветра,
но мчится на проворных лыжах Герда,
а птица в вышине могуча и хитра.
Там Ночь сидит в короне бледно-белой,
при ленте и звезде. Среди зеленых зал
перед монархиною стелется дебелый
холоп и бьет челом ей – Вал.

И все-таки полярные огни там,
собравшись в стылый хоровод,

с далеких пор манили, как магнитом,
умы и корабли из прирученных вод.
И сколько капитанов и матросов
погибло в смертной ямине морской,
и сколько раз Михайло Ломоносов
взирал туда с надеждой и тоской
меж туч академических молчаний,
сквозь ливень и грозу дворцовых бед,
как если бы от Северных Сияний
во мрак российский мог пробиться свет.

Шли люди, корабли, собаки,
и нарты двигались, и лыжи шли,
чтобы проститься в погребальном мраке
с последней теплотой земли.
В собачий холод, чтоб на мертвом пире
из кубка славы ухватить глоток,
ломаю ветер, торопился Пири
и посетил на миг монархини чертог.
Невдалеке от Северной столицы,
ее бесплодных ледяных садов,
готов и жить, и умереть готов,
повергнутый, но не слуга Царице,
сжимая зубы, умирал Седов.
И помнилось, как легкие ослабли,
как задохнулся ты, Левиафан,
и труп окоченелый дирижабля
окутал смертным саваном туман.

Но, Ломоносов, на родимых пашнях,
как судьбы нам истории велят,
выкармливала Русь своих домашних,
российских резвых соколят.
Стальной иглой по старому салопу
прошелся Чкалов – мастерский портной,
и, сшив с Америкой Европу,
он изменил покрой земной.

Настойчиво в молчашие чертоги
ворвался красный шум знамен.
Бывают иногда и люди-боги.
А имя им? Их имя легион.
Пусть Океан в нагольном полушубке
не любит шуток, мерзло-ледовит, –
на вымершем пиру воспрянут кубки,
и Герды детский смех молчанье оживит.

29 мая 1939 – 26 августа 1942

ОДА МОСКВЕ

I

Ты была монашкой бледнолицей,
девкою дворовою простой,
нищенкой да сиркою вдовицей,
этакой казанской сиротой,
то ли богомолкою недужной
иль бесчестною женою мужней.
На румяной зорьке под хмельком
по морозцу шагом полупьяным
шла ты и махала сарафаном,
утирая сопли рукавом.

II

Ползали по грязи колымаги,
топоры гремели, тяжелы.
С клеткотом слетались на бумаги
жадные Ивановы орлы...
Хмурилась и становилась старше,
крест неся и посох патриарший
да кулак расправы и судов.

Темный град слепцов и полузрячих,
яростных ярыжек и подъячих,
пирогов горячих да блинов.

III

Не кули во каменном амбаре –
бороды висят наперевес,
сели кряду кряжами бояре,
и шумел мохнатых шапок лес.
Спорами усердны, не трудами,
долгими кивали бородами,
и, юродствуя, текла молва.
Отпуская вольным и невольным,
бестолковым зыком колокольным
исходила древле ты, Москва.

IV

Сколько было выплакано боли,
сколько обагрило плаху слез,
и гадали о далекой доле
под молитвы и под скрип колес.
Мельница молола, ворожили,
глядя в омут заговора жили.
Сколько раз свергался гром с небес,
сколько раз вручали Богу души,
но в траву и в шерсть зарылись уши,
и немел глухих соборов лес.

V

Но в стропилах прокатилось эхо,
ропот шел: «Быть горю да беде!»
В час, как шла за Яузой потеха,
шли пиры в Кукуйской слободе.

Под эгидой дерзости монаршей
в галлионы превратились баржи.
Был указ и крепок и высок:
то не пахарь хмурый с трудным плугом –
кони выволакивали цугом
расписной прадедовский возок.

VI

А потом ты, видно, овдовела
и, отведав горестной кутьи,
в горнице купчихою засела
распивать горячие чаи,
и, старея кротко понемногу,
мылась в бане и молилась Богу,
спицами в дремоте шевеля.
Слушая со скуки богомолку,
начинала класть ты втихомолку
карты на чужого короля.

VII

Выпала замасленная карта:
поздняя дороженька. И вот
Клия, спотыкаясь, Бонапарта
в горницу кремлевскую ведет.
Пировать в кремлевские палаты
всей Европой повалили сваты.
Что ж! В веселье, право, несть греха.
Жениху бы надо честь да место,
но, обидой запылав, невеста
убежала прочь от жениха.

VIII

А потом, собрав слепые силы,
как во дни Ивана Калиты,

до порога с честью чрез могилы
чужеземца проводила ты.
И опять, торговка иль купчиха,
ты сидела набожно и тихо
и слезам не верила опять.
Клад народный хоронила в яме,
с блудными бранилась сыновьями,
дабы в час гремучий их обнять.

Ты прошла по рытвинам столетий
в скрипе дыб, через пожар и дым,
словно Вечность в золотой карете,
ты, наш третий и последний Рим.

3 июня 1939 – 25 августа 1942

* * *

Нагнулась церковь над селом,
над самым хмурым из селений,
где только псы поют псалом
своей владычице Селене.

Бредет дорога на гумно,
вползает под навес солома,
а в ивах над прудом темно,
как в волосах Авессалома.

Устав потеть от тесноты,
от трудной сельской благодати,
плывут, качая животы,
широколонные кровати.

Их осеняет вечный мир
крылом замасленного мрака,

они зачитаны до дыр,
как библии семьи и брака.

Их гонит в сон попутный храп,
и самовар в осиротелом
пустом углу стоит, как раб,
посвечивая медным телом.

И этот сумрачный ковчег
плывет ни шатко и ни валко,
а на дворе, отжив свой век,
темнеет сломанная прялка.

У набок сбившейся избы,
как бы еще ловя кого-то,
расставя широко столбы,
стоят бессмысленно ворота.

И неумные тела –
их имена Ты, Боже, веси –
укачивает в зыбках мгла
сей бедной, беспросветной веси.

Звенят комарики-часы,
толпится полночь под осиной;
смердят невыносимо псы,
и воздух тоже пахнет псиной.

Да будет мир тебе и мрак,
жизнь безраздельно-дорогая!
И лишь бродячий ум собак
не спит, луне псалмы слагая.

4–5 июня 1939 – 23 августа 1942

* * *

В пустом глазу, похожем на стакан,
бессмысленно мелькает мошка.
Легонько скачет речка-босоножка,
учившаяся, видно, у Дункан.

Ты нижешь, будто бусинки, деньки,
они к лицу карменистой смуглянке.
И врассыпную карлики-пеньки
бегут по маленькой полянке.

А небо – как стакан с клоками жаркой пены,
где мошка милая сквозит уже давно.
Слезится взор. Прелестной летней сцены
распахнуто зеленое сукно.

Лесок далекий в кучу свален,
и одинокий клен вздремнул, как инвалид.
А летний жар, печально-театрален,
стогами на весь луг валит.

О мошка милая в воздушной склянке! –
И дышат травы горькой чередой.
Раутенделейн, но в образе смуглянки, –
и летний колокол собрался над водой.

15 июня 1939 – 23 августа 1942

ИДИЛЛИЯ

Благослови, румяный бог еды,
то, что на стол поставила природа, –
сморенные творенья огорода,
продолговатые плоды.

Еще блестят следы ночной воды
на их прохладной лягушачьей коже.
Скажи же, бог, на что они похожи,
когда под осень на сырой рогоже
они ложатся в мирные ряды?
Воспитанники воздуха и грядок,
зеленые баллончики, на вас
тряпичный ангел рукавами тряс,
держа рукой державною порядок.

Сажусь за стол, обжорства не скрывая,
не думая о том, где правда и где ложь,
и в тело теплое ржаного каравая
наотмашь погружаю нож.
Благослови же добродушный хлеб,
простой пузатый каравашек.
Он увалень в толпе цветастых чашек
на мирной бранной скатерти судеб.
Но как же вожделень побороть?
Где выискать такую мне науку,
чтобы широкий, как ладонь, ломоть
не взять с восторгом в дружескую руку?

Сколь весел завтрак в сельской тишине!
Как сердце, ягода алеет,
и молоко в прозрачном кувшине,
как медленная статуя, белеет.
Невинный первенец сей утренней поры –
пирог – лежит спеленатым младенцем,
а масла мягкие, упругие шары
стыдливо прячутся под полотенцем.
Уже бушует в чайнике вода.
Заря раскрыла розовые створки,
как раковина нежная... О да!
Вся жизнь моя бежит по поговорке
«нет худа без добра». Вкушает глаз мой зоркий

на блюде расписном – пчелиного труда
янтарные возвышенные горки.
Благослови же трезвый завтрак сей,
божок, сложивший пальчики на брюхе,
и мед, и молоко, и медных карасей,
что шлепаются будто оплеухи.

Пузатый бог Рабле и де-Костера,
теперь к тебе моя поверглась вера.
Чревоугодник и чревовещатель,
бесстыжий, ведь еще с пелен
ты в пылкие блины влюблен.
Ты – мой учитель и приятель.

Позавтракав, в пучине лебеды
лежу, как добрый зверь, а на колени
мне падают роса, жучки и тени,
как мелкие значки. И нынче жертва лени.
Благослови ж, румяный бог еды,
питомца Муз, безделья и Монтеня.

17 июня 1939 – 23 августа 1942

ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Нам небо – переметная сума,
котомка та, что нам на спину вздета,
а за вселенной этой – снова тьма
с шарами жара, ярости и света.
Ужель и там витийствуют шары
и ночь бывает тоже голубая?
Ужель и дальше грянут топоры,
тяжелое пространство разрубая?

О чем хлопчешь, дюжий плотник – ум?
Какую строишь жизни домовину?

Привык ты делать всё наполовину,
и пьешь запоем ты, природин кум.
За тьмой не только тьма, за тьмой не только свет –
вертлявая земля подвижна.
И в бесконечности есть то, чего и нет,
есть всё, что может быть, – и это непостижно.

17 июня 1939 – 1946

* * *

Какой высокий день! Трава мертвеет,
шуршит песок и берутся жуки,
и, как внезапный поворот реки,
раскрылся луг; он тихо розовеет
и, переваливая за холмы,
уходит вдаль.

Какой высокий день!

А облака плывут, как старые умы,
ведущие загробную беседу.
Широким мановением реки
меня приветствует окрестность.
Лежу, лежу, не в силах приподняться.
Растут в глаза кусты, и ствол березы,
как белый дым, уходит в вышину.
Я начинаю нынче жить в пространстве,
дышать чужой кипучей высотой.
И думы поверху как облака,
как накипь плавают.

Какой высокий день!

21 июля 1939 – 1942

ЖАТВА

Зной давно стоит в снопах,
и на миг конец заботам.
Луг вздыхает и пропах
добрых снох семейным потом.

И рука давно зудит
от ладони до предплечья.
Речка, в круг свернувшись, спит,
птичье молкнет красноречье.

По дороге под откос,
груз мелькающий навьючив,
тащит вяз зеленый воз
листьев, веточек и сучьев.

Тут недолго до греха.
Жар валит волом комолым,
и стыдливая сноха
закрывается подолом.

16–27 августа 1939 – 23 августа 1942

* * *

Что делать мне? Я голоден, оглох.
На всех углах лицо вещей свирепо.
В глазах нескорой помощи карета
и вывеска, огромная как Бог.
Предметы жестки и черствы,
как будто вырезанные из жести,
и столько равнодушья в каждом жесте,
что с ними надо бы на «вы».
Они – как волны сплетни иль молвы,

как бы во плоть одетые слушки,
их нарасхват под вечер, как газеты.
Пук новостей они перевирают
и спорят меж собой всё злей и горячей,
а люди по складам рыдают
над заголовками вещей.

2 сентября 1939 – 7 октября 1945

В ОСЕННЕМ ОСИННИКЕ

Я шел среди сплошного размышленья,
с природой ни о чем не говоря,
и слушал пенье до остервененья –
осиновые трубы сентября.

А роща – осени орган пустынный –
вокруг души была, как Реквием.
Дешевый тусклый день пятиалтынный
к ногам катился и пропал совсем.

Вы, души заячьи и волчьи тропы!
Махал крылами похоронный грач.
Я вспоминал Энесидема тропы
и Ярославнин вечный женский плач.

7 сентября 1939 – 8 февраля 1946

* * *

Или просто опять нездоровится?
Или вспомнила страсть про меня,
и начнется в любви бестолковица,
суетливая дум толкотня?

И метелица снова покатится
вдоль по улице, пряча дома.
Начинается в мыслях сумятица,
суматоха сплошная ума.

И, врываясь в даль бестолковую,
удержать вороных не смогу,
и останется счастье подковою
на холодном, убитом снегу.

Но былое, быть может, безделица,
и собой же я буду забыт,
и судьба, как дорога, разделится
под слепые удары копыт.

8 сентября 1939 – 6 сентября 1947

УТРАТА

Я растерял далекой клятвы звенья, –
слезой звеня, рассыпались они, –
забыл в припадочном благоговеньи
растущие на теплых холмах дни.

Забыл, как руки ввысь протягивает семя,
как старческой корой подернут лик осин, –
и в день седьмой покинул семью,
в которой был приемыш, а не сын.

Запомнил я, как в черном чистом поле
звенело полногласие луны,
как тосковали по эфирной доле
и каменным богам молились валуны.

Мне ночь повалена, как смертная колода.
Я думаю о семье, как пот мужицкий, стер.

Была, была как луг широкая природа
и головокружительный простор!

Но, память дикая, ведь с самого утра ты
поскачешь без меня, как лошадь без узды,
перебирать утехи и утраты
от червяка до нищенской звезды.

Я шел кругами, по слепой спирали,
как тело в жидкости, и догонял судьбу,
но травы из земли всё так же выпирали
и шелестели на моем гробу.

Я шел леском, утратившим одежды,
был жалобным куском сухого вещества.
Я был Иван, последний сын Невежды,
не помнящий великого родства.

27 сентября 1939 – 6 января 1940

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Позабыв перо и стул,
как бумага шелестела,
вышел дождь – он был сутул,
и пенсне его блестело.

А потом, пошедши тише,
вдруг остановился он
у раскрашенной афиши
с милым именем Манон.

Брызжа, чистил бытие –
день, растрепанный как веник.
Где ж достать для девки денег
кавалеру де Грие?

Пыль и дебри канцелярий
проклинал, рыдая, он
ради сладкогласных арий,
нежных арий из Манон.

Ах, Манон, Манон Леско –
словно в царстве тридесятом,
далеко ты, далеко!
Без билета быть нельзя там.

И тогда, предавшись страху,
от любовной пустоты
дождик бросился с размаху
на раскрытые зонты.

21 октября 1939 – 26 августа 1942

ПЛОТНИК

Я мастерил себя, ремесленник хромой,
творец игрушечных потешных лодок;
щепу и стружки пышной бахромой
я нацепил себе на подбородок.

Глаз был тяжел, как обух топора,
вбивающий в пространство взгляд, как сваю.
И воздух шел во льду.

Была пора
усваивать то, что ютилось с краю
реки, взлетающей внезапным поворотом,
как мысль, широким жестом обнажив
простор, где трудятся над косоротым
топор и ветер. Была пора нажив,
когда нельзя зажить той черной язве,
которой болен снег, той язве моровой,

когда так ломит лед – и с болью головной
трещит он и ломает пальцы.

Разве
не мастер я над страстью мировой?

Я паклею и мхом заткнул пространству щели,
законопатил дувшую дыру...

От холода в заброшенном бору
гроба качались, пели колыбели,
и медленные их стволы слабели.

Я паклею и мхом заткнул пространству щели,
и все-таки я зябну на ветру.

Сапожник знает, как использовать колодку.

Сносил я сапоги, глаза до боли стер.

Сапожник шьет и хлещет водку,
зевая в тишине во весь простор.

Я паклею и мхом заткнул пространству глотку.

Дырявую верчу меж пальцев лодку
и в изъязвленные поглядываю жерла,
в свищи позорные...

Свистят и воют сверла,
гвоздочки жалят, мельтешат, как мухи,
визжит пила, у ней дыханье сперло,
снует по деревянной коже долото.
Свинцом я залил бы пространству горло
иль водкой царскою.

Но это всё не то.

И, стружки теребя (они – морская пена,
где зародилось жизни вещество),

я мастерил себя, укутывал полено,
его баюкая, как сына своего.

И боль, как соль, беру щепотью,
на ледяной заре напряживая слух.

Ужель не плотник я над собственной плотью
и в Назарет не сходит с неба дух?

Кустарь, я жил в загадочном лесу,
в кустах, метавшихся по тропам и дорогам,
как встарь молился колесу
всем телом в одеревененье строгом.
Я не был Богом. Я – та спица,
та пятая, что стала поперек,
и вот мне с головы до пят не спится,
и собираю всё, что я сберег,
и мастерю себя из камушков и хвои,
из рыбьих косточек, березовой коры.
Ужель не мастер я, когда нас стало двое
на берегу чернеющей дыры?

Снега гниют. Забитое колами,
торчит пространство в горле у реки.
Уже ломают лед колоколами,
и воды, как ладони, широки.
В их линиях, в стечениях руки,
подхваченный немymi зеркалами,
открывшимися вдруг, как серебро в виски,
быть может, я пойму, что знают старики.

1 ноября 1939 – 1942

ГАЛИЛЕЙ

Стеклом привлекая, как магнитом,
холодные тела, окоченелые трупы
из глубокой небесной могилы,
благородный гном в балахоне мудром
стоит на балконе в самой середине
высокой неконченной готической ночи.
А внизу монашеские кипарисы,
цветов тяжелых роса да ладан,
и в беловатых парах болота
в поисках белены да белладонны

шарит воздушными руками
Беда – колдунья – малярия.
А далеко за этой ночью,
на самом краю золоченого утра
толпятся вечнозеленые лавры.

О ты, звездами посоленное небо,
черствый и черный хлеб человека!
И он вкушает от небесной краюхи,
чья горечь ему милей, чем горечь
плоти Христовой в Пизанском соборе.

В гулком пространстве дышат, как в сводах,
как в католических сводах,
холод и мрак. И немые гроба
кружатся. Это ль не адские муки?
Но вечное солнце!

И старец стоит,
седовласый Юпитер науки, –
спутников держит он зоркой рукой
и по орбите взором державным
плавно нисходит в века.
Плача, не хочет земля, да вертится,
ямины черной не может бежать.

15 ноября 1939 – 1942

* * *

Прыгнул, вытягиваясь в рост,
с берега на берег хищный мост.
На каменных лапах стоит, бесхвост,
над сонными стайками рыб и звезд.
Молчит горбатый железный зверек,
реку осиливший поперек.

Что ж караулит он в тишине?
Кости да горькую тину на дне.
Дремлется, и проезжают во сне
грохот и дрожь по чугунной спине.
Спит, нахлебавшись горя, Нева
и пузыри пускает едва.

27 ноября 1939 – 1945

* * *

Вышел, как в сказке, волшебный туман из клубочка,
прясло и двор перепутал он пряжей седой.
Слышал я ночью, как полная звездами бочка
спит, захлебнувшись предсмертной студеной водой.

Булькающая, хлюпающая, будто бы в ухе далеком,
больно нарвут, чтобы лопнуть тотчас, пузыри.
Глупая кадка впросонках толкается боком,
виснет росинка на розовой мочке зари,

той, что за лесом еще. А покуда на прясле
сучат старушечьи пальцы младенческий лен,
мучат напраслиной ночи и в черные ясли
тихо кладут по-ребячьи спеленатый сон.

Горя исполнена, грустно качается кадка,
стынут, как губы, крутые ее берега.
Тяжкая виснет на ухе – не капля – загадка:
в мочке, набухшей от слез, дорогая серьга.

В волосы пальцы тайком запускают старухи,
в лен неповинный, и больно терпят его.
Бочка! Ты, видно, пустая, и грохотом в ухе
вдруг разразится пустое твое существо.

Осени полные ведра – за каждое платят по гривне –
в ночи бездонные падают с цепи литой.
О Данаиды! Возможно ли быть вам наивней.
Плачут данайские девы, и валится дождь золотой.

Полно у Зевса молить богоданного мира!
Капелькой масла в ведре усемирится плеск.
Слышал я ночью, как плакал Лаплас и с мундира
сыпались звезды и академический блеск.

Слышал, как бочка под утро катилась с кургана
и ни одной не осталось у ночи версты...
Вышел, как в сказке, огнистый клубок из тумана,
теплые нитки мотая лесам на персты.

28 ноября 1939 – 13 января 1940

КОМУ-ТО

Кругом всё так замаслено,
бумага в грязи и та.
И справа от Вас напраслина,
и слева от Вас клевета.

Как яма, предательство спереди,
как ветер, смех за спиной.
Неужто Вы всё еще верите
поденщине свински-свиной?

Заря от Вас ли не прячется,
иль сны еще Вас бодрят,
когда уже Смерть-подрядчица
взяла на Вас подряд?

28 ноября 1939 – 1942

MEDITATIONES AGRICOLARES

I

Я тих, когда Яга дает клубок мелодий,
когда, как Смерть, кощунствует Кощей,
и, наклоняясь по пояс к природе,
стою, как пугало, в широком огороде
над кроткими телами овощей.
А за плетнями косогор расчищен,
и по дороге даль куда-то прочь везут.
Как облака, огромные вещищи
уже полсуток пухнут и ползут,
и пьяный этот оползень грозитя
проклятьями и бранью разразиться.

А я стою, отъявленный как Бог,
и осеню рукавами
морковь, и брюкву, и горох,
и помидоры с огурцами.
И стайки крохотных вещат
вокруг и свищут и пищат.

Тысячерук, тысяченог,
дуб выпер брюхо, как бочонок,
и спит. Чего ж ты? Ты щенок,
ты шерсть топорщащий вешонок,
ты из породы собачонок
на всякий домысл и домек.

И так живу я чересчур
и через край, и на весу
весь этот день как бы несущу.
Стучит судьба моя в лесу,
невидимая точно щур.

И все предметы на току,
и все мгновенья начеку
и каждый час кричат «ку-ку».
Ты, Господи, играешь в прятки.
Куда же ныне потеку,
сбегая с места без оглядки?
Ведь с этой жизни взятки гладки.
На что я променяю грядки?
А время скачет в беспорядке,
кнутом стегая по лошадке,
и мысль и шапка на боку.
И я, стоявший целый день,
надену мысли набекрень.
И по какой твоей дороге,
о раздобревшая земля,
поташатся мои кривые ноги
писать сплошные кренделя?

Переползти дорогу тщится
(ну что с нее с такой возьмешь?)
такая серая вещица,
такая лапчатая ложь.

По виду родич насекомых,
и вам, о Дарвин и Линней,
она знакомей всех знакомых,
и у малютки жизнь длинней
больших умов. Судьба ей куковала,
чтобы она и с Богом вековала,
и с воробьишкиной душой,
и представляла нам весьма большой,
барахтающимся серым скопом,
когда воспользуемся микроскопом.

10 декабря 1939 – 19 мая 1946

II

Просторен вечер, и через него,
как через синие очки,
парит на воздухе любое существо:
листочки, комареныши, жучки.
Мушиная умолкла дребедень,
тень отдыхает на воротах,
и отошел в заботах полоротых
о счастья и насущном хлебе день.

Из распахнувшихся ворот
выходит тихий полевод
и, распахнув рубашки тесный ворот,
стоит и думает про город,
про жизнь и милый белый свет,
он полевод и полевед.

Спеша прорезать радостный простор,
навозный жук заводит свой мотор,
и поднимаются из пыли
воздушные автомобили –
гудя, катаются, описывая круг,
как на площадке цирковой. Но вдруг
из-за угла валит сплошное стадо
и перекатным зыблется руном.
И трет очки угрюмый агроном,
в его глазах приятная прохлада.

Медлительно и важно, как покойник,
идет доярка. Взор ее суров,
и однозвучно брякает подойник
в руке владычицы коров.
Платок на ней, нежнейшей из доярок,
недорог, но как звезды ярок,
и звезды разноцветные на нем
багровым радуют огнем.

И говорит в сторонку агроном:
«Когда б я мог, я всё б очеловечил».
И вот стоит, высоколоб, носат,
и думает, поди, что этот вечер
таким же был сто тысяч лет назад.

31 января 1940 – 7 сентября 1947

* * *

Но Ты! Тебе я говорю
с прямолинейностью луча.
И ночь растет, что каланча,
где ждут позорную зарю.
И, ноги еле волоча,
приходят города
туда, где дремлет борода
крутого палача.
И в вековечной бороде,
текущей вверх и вниз,
по пояс стоя, как в воде,
они вприлип пришлись
к лицу, как ко двору,
от стужи веками стуча.
Но Ты! Тебе я говорю
с прямолинейностью луча.

Разинет утро шумный рот,
от света ломит зуб,
и, словно тысячи бород,
дым каменный из труб.
И вещи, вещи всех пород –
квадрат, и круг, и куб...
Иль в образе гранитных груд,
иль в виде грузных шуб

ползут вперед, и прут, и прут,
растут и там, и здесь, и тут,
и этот грозный роста труд –
как молчаливый огород,
где всё живет наоборот,
не зная мудрости бород,
где вывеска висит, как щит,
и защищает и – молчит.

Вы, глыбы чертова труда
и отблески лица!..
Но Ты – сплошная борода,
которой нет конца.
Но Ты – старательный молчун,
великий чертомол.
Но Ты – мечтательный колдун,
в пространство вбивший кол!

Замешаны какой водой
ковриги пресных гор?
И над усталую землей
летает Черномор.

16 декабря 1939 – 1947

* * *

Подвергнут разному лишению,
переменяюсь, но в лице ль?
И я опять вещам – мишенью,
и мне опять предметы – цель.

Я в мире будто на квартире,
и, ничего не изменя,
я – круг замороженный в тире,
и всё нацелено в меня.

Сдается, что, легки и шатки,
придется нынче по душе
и картонажные лошадки,
и куклы из папье-маше.

Судьба по корешку билета
входного желтым ногтем черть!
И пристальнее пистолета
мне прямо в сердце смотрит смерть.

21 декабря 1939 – 7 марта 1940

* * *

Плотно обложены крыши ватой.
Вяжет слепая зима кружева.
К ней поскорее! К ней! К рыжеватой
солнечной дочке, что вечно жива.

К жизни – на лыжах! Сказаньем облыжным
тебя поместили в чертог ледяной,
но доберусь я почерком лыжным,
резким курсивом, чертою двойной.

В книжке времен я мараю картинки,
год перелистывая день за днем.
Сольвейг! Волос дорогих золотинки
на каждой странице мерещатся в нем.

Старой зиме ты доводишься внучкой,
крестницей – деду Морозу. Так что ж
ты мне навстречу, играя, нейдешь?
Или напугана снежною взбучкой?

С бабушкой в старом поспоривши парке,
ты ее быстро потащишь домой.

Парке брюзжащей положишь припарки
и назовешься апрелю кумой.

Полям полотняным края подрубая,
ты – мастерица. Работе в итог
небо, как бабочка голубая,
меткою сядет на белый платок.

Шелком да солнцем по сну вышивая,
ты наклонилась над тонкой канвой
еле заметной канавы. Живая
кровь по прожилкам бежит вперебой.

Лужи сиянье, улыбка лужаек –
всё это держит тебя, сторожа,
в блаженную дрему и лень погружая...
Как хороша ты! о, как хороша!

В солнечных пальцах удесятерится
скоро веселая сила твоя,
плутен, цветов и страстей мастерица,
кумушка, девушка, Сольвейг, швея!

21 декабря 1939 – 1946

* * *

Всё было тихо в должной мере.
Что корки книги, распахнулись двери,
и ум в жилую комнату вошел.
«В сей комнате незначущая встреча» –
он пробирался с горем пополам,
альбомы и подсвечники калеча,
ломая ноги стульям и столам.
И, словно вспомнить что-то силясь,
картины на стене кривились и косились,

и, вывернув глаза, смотрели на него.
Окно слепой торчало опечаткой.
Газета побледнела. И с перчаткой
вдруг стало дурно. Будто голотурия,
она вся выворачивалась в корчах
и кожаные щупальца вбирала.
Всё было тихо, как бывает в жизни.
Никто не подъезжал к заветному крыльцу,
и лишь часы ползли томительно, как слизи,
по циферблата бледному лицу.

22 декабря 1939 – 6 сентября 1947

СОН

Und drei sind eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum.

*H. von Hofmannsthal**

Я спал. Сон вышел от меня,
белея, словно простыня,
и побежал по стоптанной и рыжей
траве, где палочки, сучочки и хвоинки
запутались, как мысли, в волосах.
А одинокие росинки,
как ягодки, мелькали по кустам.

Вокруг чернеющего пня
тумана длинная болталась простыня.
И я не знал, как он на травы спал,
как стлался он, – я на поляне спал.

Осенний сон...

* И триедины: вещи, люди, сны. *Г. фон Гофмансталь. (Перевод С. Петрова.)*

Холмы, как бы замшелые валы
неведомого моря, спали тоже.
И небо вылезть силилось из кожи,
как бы зародыш из яйца.
И вышина висела надо мной
слепой и твердой скорлупой.

Но я как раз проснулся в этот час,
и муравьиный дом кишел, разрыт.
В лесу, о мертвые стволы стучась,
бродили голоса навзрыд.
Они как будто шарили руками
в промозгом воздухе, не находя того,
кто близок был, чье существо
как в воду кануло и разошлось кругами.

Я, пень обугленный, забился в угол
под черным куколом
страшнее птичьих пугал,
и, щупальцами зябко шевеля,
я осязал тебя, постылая земля.

Я – неморгающий косматый инок,
и в волосах моих сцепление хвоинок,
букашек, веточек, как бы молекул,
собравшихся неведомо зачем.

О, если б хоть немного я кумекал
и не был бы и немощен и нем,
когда бы не жил я в хороминах лесов
среди опустошенных голосов,
встречающихся меж собой как токи
молньеобразные, как силовой удар.

И холод вкрадчивее, чем угар,
опутывал мне ноги тонкой пряжей.

И пробежали утомленья соки
между замороженных жил.
Однако я еще дрожал и жил,
барахтался в земной глубине корнями.
И голосов мелькающие встречи,
которых я почти не понимал,
слились в один сырой
осенний гул.

И кажется, я заново уснул...

И мне привиделось, что я лежал в жилище
сквозном. Трава от холода седела.
А старая судьба на корточках сидела,
помешивая палочкой в ручье.

26 декабря 1939 – 6 января 1946

ПРОГУЛКА

Сегодня я – простое сочетание
веселых рук и бодрых ног.
А подо мной – природы причитанья,
прелестный плач младенческих цветов.
Цветы качаются и тянутся из люлек,
но я их башмаком давить готов.
Не к ним склоняется мое вниманье.

Даль мельтешит, как самый мелкий жулик:
топчасть, она торопится уйти,
покуда всё затянуто туманом.
Чу, тронулась она и по пути
рассовывает рожи по карманам.

Сегодня жизнь моя – сплошной огромный шаг
(умильная душа глядит речонки проще).

Так семимильный шествует сапог
через леса и дол, через поля и рощи.
Сегодня образуют человека
кусочек песни, зрения вершок,
случайно поднятый корявый посошок –
товарищ ног, уродец и калека.

И в этот мелкий день, разлада не приметив,
вернусь домой, где, вечно юн и нов,
подаст мне руку некий Шереметев
или иной двуногий Иванов.

28 декабря 1939 – 1945

1940

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Если б не знать простоя!
Я же не лежебок.
Время мое простое –
спичечный коробок.

Медлите этак что вы?
Кем же меня сочтут,
коль не ушел почтовый,
если товарный – тут?

Не сочиняю стансы,
песни я не пою.
Старый начальник станции,
я на посту стою.

И по слепой привычке,
хотя давно не курю,
я, чиркая впусе спички,
ветер ночной корю.

8 января 1940 – 1947

РАЗЪЕЗД

Насиженных не покидаем мест.
Пурга закрыла мост, дорогу изувечила.
Но мне привычней тихий мой разъезд.
Пусть ветер веки и глаза разъест,
а выйду с фонарем к приходу встречного.

Буран хорош. И крепок сон внучат.
Несутся пятна жаркие от поезда
в сугроб дремучий. Провода звучат.
Живешь-живешь – и всё еще не боязно.

14–18 января 1940

* * *

Кармин, белила и сурьма
(Кармен велела так сама).
Во тьме волос, в лесу гребенок
я заблудился, как ребенок...
Любви смешная кутерьма,
барахтанье кошачье страсти
и ласковой забавной власти
такая нежная тюрьма,
где ночь лишается ума,
откинута как мантилья,
где, несмотря на все усилия
противиться, сведут с ума
кармин, белила и сурьма.

24 января 1940 – 1947

ПАХОТА

Лохматая, большая, как дикарь,
тайга грозит густыми кулаками
и, отступив широкими шагами
на целый век, образовала гарь.

Здесь никогда не маялся плугарь,
а нынче, загремев над сорняками,
ворочая чугунными боками,
шагал по ней разгневанный тягарь.

Лицом тяжелым был он схож с богами,
он, новый бог, над робкими врагами
торжествовал с утра до темноты,

и окарачь в овраг ползли кусты,
и вся земля послушными рядами,
взволнованная, улеглась в пласты.

29 января 1940

ЭЛЕГИЯ ВТОРАЯ

Как те глаза, в которых нету слез,
которым все их выплакать пришлось,
так эта даль пустынная суха,
и кажется, что смерть есть некий род греха.

Вы умерли, Вы никогда не знали,
что нынче - осень ли, весна ли.
Вы умерли, а то бы Вы сказали:
«Зачем мудрить? Ведь это чепуха.
Быть надо проще, проще, проще!»

А город стал и сер и стар,
и узкой улицей одни сплошные тещи
с корзинкой тащатся, как зимы, на базар.
Спина повернута, как тяжкая картина.
Не разберешь, где зад, а где корзина,
и можно ль свеклу отличить от лиц?

Копейку стоят слезы на базаре,
и то в воскресный день,
когда из деревень
сойдутся три-четыре конских хари
и худоногая, в овчине, зябнет тень.
Тогда в копейку слезы на базаре.

И, хлопнув по рукам, пора бы порешить...

Вы умерли, а то бы Вы сказали,
что Вы успели грех свой пережить,
что иногда грешить отнюдь не трудно.

Вы умерли. А то бы Вы сказали,
что можно спать, гадая непробудно
и разводя руками про любовь,
где собеседницею – в ленточках гитара,
и желтую жевать морковь,
что теща иль свекровь
Вам принесла с базара.

5 февраля 1940

* * *

Eppur se muove.

*G. Galilei**

Я совсем случаен, одинок
и, пожалуй, многого не жду,
словно скромный маленький денек,
притаившийся в большом году.

Мимо смерть пройдет с пустым мешком,
как солдат, контуженный в бою.
Посолят мне медленным снежком
трапезу нестрашную мою.

И в санях протащится судьба,
лошадь ступит в яму невпопад.
Но оденет добрая изба
тело мне от головы до пят.

* А все-таки она вертится. *Г. Галилей (итал.)*.

Будто жеребьи из колеса,
мы свои вытягиваем дни.
Кружатся мохнатые леса,
и, как зубы, выпадают пни.

Будто жеребьи из колеса,
мы свои тихонько тянем дни.
Как следы, прозрачны голоса,
как следы девической ступни.

Понемножку вертится земля,
и авось уйду я от невзгод,
словно день последний февраля
в високосный, закоснелый год.

17 февраля 1940 – 14 сентября 1947

ОТАРА

Торжественно вращающийся год
как человечество огромное бредет.

И бестолковые овечьи дни,
толкаясь, и пыля, и стучаясь в плетни,
скача нещадно через пни,
быков пугаясь, как хозяев хмурых
или богов, – бегут себе они,
и безобидно мил слепой сумбур их.
А может быть, они волкам сродни –
овечьи дни, да в волчьих шкурах.

Как жеребьи, бегут они волной –
то белые, то черные. Но старый
мой взор, слезясь, считает их одной,
невероятно серою отарой.

Пусть, к ним став задом, мог бы я забыться,
но всё равно я буду видеть вслух:
ведь по сухой грязце так цокают копытца,
а за околицей так влажно дышит луг.

Вскипая, словно мыслей пузыри,
над черною землей висят аэростаты,
и вдоль сознания, по краешку зари,
проходит год домой, усталый словно стадо.

20 февраля 1940 – 14 сентября 1947

НАДГРОБИЕ

Когда умру, оплачь меня
слезами ржи да ячменя,

прикрой меня словами лжи
и спать под землю уложи.

Я не хочу, чтоб пепел мой
метался в урне гробовой,

стучал, закрытый на замок,
в кулак слежавшийся комок.

Когда умру, так спрячь меня
под песни ржи и ячменя,

чтоб вяз свой воз зеленый вез,
чтоб, наливаясь, рос овес,

отборным плачучи зерном
по ветре буйном, озорном.

Земли на грудь шепотку брось
мне как-нибудь и на авось.

Авось тогда остаток мой,
согретый черноземной тьмой,

взбежит свободно и легко
по жилам, словно молоко.

И ты придешь, опять хорош,
смотреть, как в дрожь бросает рожь,

когда желтеющим лицом
тебе навстречу, агроном,

сквозь даль лесную я блесну,
напомнив молча про весну,

когда, волнуясь и шумя,
взмолюсь: «Помилуй, Боже, мя».

9 марта 1940 – 14 сентября 1947

* * *

Он хочет в беседе забыться
(пиджак его очень потерт)
и рядом со мной садится,
любезный товарищ Черт.

И машет когтистыми лапками.

Герой и стихов и трагедий,
романов и повестей,
он хочет забыться в беседе,
зовет себя ласково Федей
и ворохом новостей.

(Как будто я ему общее собрание.)

22 марта 1940

* * *

Поди попробуй напорочь,
добыча крохотки-микроба,
и в отпуск отпросись у гроба, –
а злая Хронова утроба
всех пожирает день и ночь.

В небесной прорве ненасытной
земля – что колобочек ситный.

И человечество простое,
бесправное, твердит устав,
солдатской жизни на базаре стоя,
за душной смертью в очереди встав.

22 апреля 1940 – 14 сентября 1947

* * *

Под причитанья заунывных бабок,
под болтовню румяных повитух
ты, переваливаясь с боку на бок,
пройдешь всю жизнь. И запоем петух.

Заноем зуб. И, сколько ни хитришь ты,
узнаешь: боль была в тебе с утра.
И ты от жизни отречешься трижды,
о подлое подобие Петра!

11 июля 1940 – 15 сентября 1947

КАБИНЕТ

Когда приходит вечер темный,
в котором умной глуби нет,
вздыхает дверью тяжкотомный
и бессердечный кабинет.

Он вечность меряет вершками
и вырастает, как овраг,
коричневыми корешками
вонзается в тиши во мрак.

Он, мыслей оползень, обвалом,
могильной глиной задавить
грозится да и всем бывалым
на жизнь и на смерть удивить.

И душит он скелета резче
до самых горловых хрящей,
и хлещет кровь из каждой вещи,
а мысль касается вещей.

Гроза ль в овраге залегла,
чужой мешок опустошила –
ты в нем не удержала шила,
смирennemудрая могила,
и воск измученный пронзила
молниеносная игла.

Пусть тела рухнувший мешок
исчерпанною бурей станет,
меж тем как всякий корешок
мыслительную влагу тянет.

16 июля 1940 – 15 сентября 1947

* * *

Нет, мнится мне, что жизнь отнюдь не бытие,
а прожил да и отошел к сторонке.
Она – как ласковое детское белье,
ребяческие легкие пеленки.

Батистовые с кружевцами дни.
А если и на них бывают пятна,
то всё равно не пачкают они
и все-таки на свой манер приятны.

Итак, не станем прошлого стирать
и с памяти смывать унылыми слезами,
а с материнской нежностью стирать
еще влюбленными в судьбу глазами.

А ежели когда нас изнурит
существовать работа ломовая,
заломит спину от крутых обид, –
и ревматическую скуку зная,
мы всё же будем жить. Так позабудем стыд,
не кости, а белье перемывая.

16–17 июля 1940 – 1948

РЫНОК **(в античном роде)**

Утро подымется шумом и гамом базарным.
Клев воробьиный. Златую пыльцу отряхая,
дремлют акации. Тополь-ленивец, разбужен,
жметя от холода, листьями что-то лопочет.
Вот и лавчонки, как будто бы будки собачьи,
полные грузного, липкого красного мяса.

Прикосновение к нему тяжело и обидно,
словно к огромной, открытой гноящейся ране.
Мир на торговых весах и запродан и взвешен.
Медною чашкой болтается звонкое солнце.
Будто мешки пудовые, сидят неподвижно торговцы.
И в пиджаке, что в заплатках семейной работы,
и в легкомысленной кепке, поехавшей набок,
весь как самец на цыплячьих проворненьких лапках,
дергая плечиком, резво снует покупатель.
Вывески грозно грохочут, щиты поднимая,
древней, почти легендарной, музейною жестью.
Смотрят у девочек смуглых из легких плетенок
их же глаза. Это спелые темные вишни.
И, раздуваясь от мяса, что в близком родстве с тем, багровым,
как паруса расписные по пыльному морю,
вечный базар бороздят сарафаны цветные.
Утро поднимется выше и за город выйдет,
и остается от жизни лишь нежно-противная пестрядь.

28 июля 1940

ЛУГ

Охапками запахов луг был забросан,
собрал их в объятья, прижал их к груди.
Давно ли побрился – и снова оброс он,
а ливень зеленый поди запрудил!

О радость простора! О плеч повороты,
когда распрямляется жизненный круг,
когда у раззявы-реки полоротой
на версты растекся извилистый крюк.

И, как у лужайки, лицо моложаво
у луга, в кипучей блестит бороде.

Он ширится влево, он ширится вправо
и лезет пить к ленивой воде.

Уж за сорок било ему иль за тридцать,
но не затоптались дорожки-пути,
но всё впереди еще! Он ухитрится
как юноша летнюю ношу нести.

Все тяжести лета ему будто гири,
атлету курчавому. Эту жару
он скинет с плечей и, колышась всё шире,
стоит на просторном и вольном ветру.

Он чувствует мир как свое достоянье
и краски с закатов крадет для цветов.
Он хочет сиянья, влюблен в расстоянье,
и ринуться в реку с откоса готов.

Но если я мыслю, у диких судеб ли
бродить по лесам? Через луг я иду,
и с гневом мне вслед выпрямляются стебли,
чтоб след не остался у всех на виду.

Нет, был же здесь лес! Запинаясь меж пнями,
дойду я до самого крепкого сна.
За нами расставлены дни западнями
и жизни душистой вздыхает копна.

22 августа 1940 – 1947

* * *

Ужель ошибкою двойной
наказан я в своем сомненьи
и в беспорядочном волненьи
простор души кишит войной?

Но ты, начало сентября,
ломашь мирный мед сотовый.
И липы, медленно горя,
погаснуть сразу не готовы.

И только мертвая пчела
останется на сотах полых
в час тот, как ночь на частоколах
еще писать не начала.

В часы душевных перемирий
позабываю я о том,
что в этом непроглядном мире
мы умираем и живем.

И вся природа трудовая
кишит в бессмертной мастерской,
за полцены нам продавая
судьбу, нажитую тоской.

Ее приемлю за бесценок
и в памяти рисую дни
и облачных на небе сценок,
и муравьиной суетни.

В часы душевных перемирий
и я немножко тем горжусь,
что в этом непроглядном мире
я на него не нагляжусь.

27 сентября 1940 – 1947

* * *

Мы обуяны временами
в их озверелом естестве,
но предстают они пред нами
в кровосмесительном родстве.
Сперва мелькают говорливо,
чуть-чуть зарницами дразня,
потом, явясь грозой сварливой,
идет семейная грызня.
Где мать и дочь, отец и сын,
и кто же мачеха и вотчим?
Исчезновение причин
я обличаю между Прочим.
И стихнет буря слишком скоро,
возникнет ночь в пучине дня –
почти подземная возня.
Так пусть касается меня
семьи бессолнечная ссора.
Не вынесу из дому сора
и проживу под ливнем спора
на кучах чепухи и вздора,
существованья не вина.

29 октября 1940 – апрель 1948

* * *

О век! Ты в час своих доброт
меня обделишь непременно,
а мне и горе по колено,
и по годам иду я вброд.

29 октября 1940

АКРОБАТУ

В восторге, чуть не оземь хлопаясь,
и я ему рукоплещу,
кому и счастье будет по поясу,
и беды будут по плечу.

От счастья сеткой замороженный,
рукоплесканьями – от бед,
какой теперь облагороженный
он снова выкинет курбет?

Пространство сжато, будто мускулы.
Его наполнишь телом ты.
Ведь, как декартовы корпускулы,
оно не терпит пустоты.

29 октября 1940 – 15 апреля 1948

NUPTIAE MARIS

Море в бесстыжей бравате
приподнимает чуть-чуть,
будто на брачной кровати,
пенную спину и грудь.

Вот оно всё запыхтело,
ради упругой игры
пенно-лазурного тела
приподнимая бугры.

Кто ж тебя в час полуночный
к страсти холодной призвал,
зверь ты мой беспозвоночный,
бедер студеного развал?

Месяц бледнеет медовый,
ветер улегся хмельной...
И повернулось пудовой,
потной от счастья спиной.

2 ноября 1940

* * *

Сухая осень стелет нам ковры,
а в воздухе прозрачные дорожки,
и до зимы я подбираю крошки
хрустальные торжественной поры.

Уехали. И чист покой хором.
Лишь осень бродит ключницей по дому.
И наши души к берегу иному
в последний раз перевезет паром.

И тишина... Но как прощусь я с ней
в огромном, барском, мертвенном жилище?
Предметы в одиночку стали чище
и выглядят теперь еще ясней.

И эта тишь не после похорон,
а просто все повыехали с дачи
и летний скарб повывезли на кляче,
а перевозчик – вовсе не Харон.

На склоне года в опустелый дом
не заглянуть приветливым соседям.
В последний раз мы на пароме едем,
а светлый берег тронут нежным льдом.

5 ноября 1940

ПАСТУШОНОК

Как облака, корова за коровой
ползут по улице, увешаны росой.
А бестолковый мир большеголовый
расставил ноги и стоит босой.

До пупа чуть доходит рубашонка.
Он всё забыл. Его давно влекут
божественная дудка пастушонка
и всем селом врученный кнут.

И стадо, хмарной нависая массой,
вступает в тихую страну раки.
А белобрысый мир, сопливый и чумазый,
не чувствует ног, что искривил рахит.

Земля на двух ногах! Ребяческий колоссец!
Nominusculus! Уродец дорогой!
... Колосья тощие чересполосиц,
колодець черствый с тухлою водою.

Огромный глобус в страшной золотухе,
в коростах гор, в парше материков.
... Видать, ошиблись бабки-повитухи
и не сбылись надежды стариков!

Ребячий мир! Ты сядешь на карачки.
Одни глаза чисты, как легкие ручьи.
Но всё равно люблю твои болячки,
чесотку нежную, и сыпь, и лишай.

На корточках и без порток, старея,
ты с завистью следишь за пастухом
в последней деревушке Эмпирея,
в углу медвежьей, на лугу сухом.

Земля накрыта скатертью столовой,
и много соли – только хлеба нет.
И вот, озябнув, мир большеголовый
испуганно глядит на белый свет.

7 ноября 1940 – 20 апреля 1948

МОНТЕНЬ

Je ne cherche qu'a passer.

Montaigne

Я усумняюсь. Данные создания полусна –
как бы слепые тени мертвых;
как дымы странные, откуда-то со дна
души, всплывают думы – не одна,
а вечно во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых.
А жизнь лежит куском большого полотна –
тугой, холодный, непорочный сверток.

Белили холст, сучили нить,
учили прясть и светлый лен мочили,
и мучили, и били, и топили,
дабы ценой смертельною ценить.
И вот свернули, как тяжелый том,
то, что простым звалось холстом,
где живописец грунт возводит меловой,
в раздумии качая головой.

Держу в руках пергаментный волюм,
гляжу я, ничего не отвергая,
не ведая, которая из дум
милей – дешевая иль дорогая.
И взглядом я скольжу по вечной жизни,
не препираясь о ее дороговизне.

И если мыслю я о жизни присной,
немножко пресной и чуть-чуть скупой,
то сам себя корю за ум капризный,
его равняя с пьяною толпой,
и сам себе бросаю с укоризной:
«Что видит старый и полуслепой,
когда трапезу смешивает с тризной?»

В уединенном замке родовом,
что обнесен полужаросшим рвом,
где мостик тоненький, как детский перешеек,
связует замка гордую главу
с простором плотским, в ком весна смеется,
в уединеньи медленном живу,
в собраньи книг и лип, полотен и скамеек,
и даже не живу, а мне живется.

Не день – диковина! Он просится на холст
сияющим портретом нежной Лени.
Но слой листвы на липах слишком толст,
и тени валяются мне на колени –
они теперь пятнисты, как олени,
готовы поскакать, коль их спугнуть,
а так в моей тиши им ног не разогнуть.
И сад всё молодится, как и встарь,
сей сад, давно страдающий годами.
– Доставлено вам полотно, сударь,
что вы заказывали в Амстердаме,
и книги также привезли для вас.
– Отменно! Я приду сей час.

Давно уже усвоил ремесло
я оборачивать в приятство зло.
И мне одно из милых зол –
расстегивать по вечерам камзол.
В рубашке, видно, жить мне суждено
и думать, наслажденье обнаружив:

голландское прохладно полотно
с обшивкою из гентских кружев.
По совести сказать, мне люб порядок
разглаженных как бы в улыбке складок,
когда, охвачен чистым полотном,
молитву легкую читаю перед сном.

Сеньор мне – Бог. Но коли Он незрим,
о Нем не спорю зря и сплю без проволочки.
Говаривали мне, что я рожден в сорочке.
Ну да чего мы не наговорим!
Католик добрый есмь, стой хоть на кочке,
а не на хулмах вековечный Рим.

Искать, чтоб уставать? Ей-ей, я не скиталец.
Желать, чтоб узнавать? На это нет причин.
Любить, дабы терять? Ну нет, я не страдалец.
И пальцем не ударю я о палец.
Я, право же, природный провансалец,
католик и французский дворянин.

Прощай, Париж! Придворные интриги
ко мне не глянут вглубь, я их изгнать спешу.
Сижу в саду, обдумываю книги,
pro domo mea что-нибудь пишу.
Не по душе мне пышущая знать.
Всё умирает, но растут деревья.
Что лучше, буря и кочевье
или оседлость и покой? Как знать?
И надо мной обряд свершится похорон,
но кажется, что даже и в могиле
всё будут милы мне Овидий и Вергилий,
Гораций, Марк Аврелий, Цицерон.
И, ничегошеньки уже совсем не зная
о том, что существует жизнь иная,
я стану вспоминать тебя, Пиррон.

Растет дубок, младое поколение.
Шуршит у ног нестрашная трава.
Растет дубок отцам на удивленье,
и вкупе с ним растут дрова,
дрова камину, печке-телогрейке,
дрова для благоверного костра...
А мне отнюдь не страшно на скамейке
скакать верхом: я Кавалер Пера.

Я путь земной изъездил, как аллею,
всем взглядом мысленным и говорю: как знать?
Что ведаю? О прошлом не жалею,
ищу лишь для того, чтоб время миновать.
А о пустом минувшем не грустя,
промолвлю, по боку пустив дорогу,
как скажет Тютчев века три спустя:
день пережит, и слава Богу.

7 ноября 1940 – 17 ноября 1947

* * *

Я ненавижу смерть. Ну а за что?
Еще не знаю, как я встречусь с нею.
Ее не испытав, бранить ее не смею.
И дышит всеми дырами пальто.
Глотая ветер, холода пилюли,
Кашеем медленно в лесу брожу,
как дерево осеннее дрожу
и сам не ведаю, перепилю ли
зубами ствол иль не перепилю.
Я ненавижу смерть и жизни не люблю.

31 ноября 1940 – 18 сентября 1947

ПРОВОДЫ

Уезжает он к родным,
постаревший дядя Год.
На санях везут за ним
кованный сундук невзгод,
и досады чемоданы,
и никчемностей узлы.

Год мой! Дядя богоданный,
отчего вы нынче злы?

Право, было б хорошо,
если б утро нароняло
снегу, словно веронала,
всеглушащий порошок,
и пуховая перина
неземного аспирина
враз меня повергла в пот
и укрыла от забот.

До свиданья, дядя Год!
Вы, седой, сорокалетний,
преданный любовник сплетни,
осыпаемый снежком,
поплететесь вы пешком
с полным ярости мешком,
с заунывною сумой.
Ну а я вернусь домой,
и с ладоней не сойдет,
не растает и у печки
расставанья грустный лед...

Память – нечто вроде речки:
то звенит сплошной дугой,
то, подобная уздечке,
станет тонкой и тугой,

или конскою ногой,
тяжко кованым копытом
вдруг ударит по забытым,
льдом затянутым местам –
и тогда темнеет там
откровенья полынья.

Из окошка вижу я:
через речку переход
совершает дядя Год
с омерзительным обозом,
где ни отдыха, ни льгот.

До свиданья, дядя Год!
Мы живем одним навозом.
Вам же, куцый и кургузый,
может быть, я стал обузой,
но вдвоем с безумной Музой,
принимая жизнь по дозам,
мы помянем вас добром,
попивая йод да бром.

9 декабря 1940 – 7 мая 1948

НАУЧНАЯ ПРОГУЛКА

Прелестная Наука
в штанах велосипедных
выходит на крылечко
в необозримый мир
и, потрепав по шее
железное животное,
его хватает сразу
за светлые рога.
А дикая скотина
вперед с размаху рвется,

пока она садится
на треугольный круп.

Олень ли на колесах,
подкованный резиной,
несет малютку Герду
по сказочной стране?
Корова ли в калошах,
священная корова,
индийская богиня,
помчалась прогуляться
со скотного двора?

А девушка Наука
катит себе умело,
и ерзает ногами
в пространстве безвоздушном,
и давит на педали,
да так остервенело,
как будто на экзамене
неопытный пьянист.

Вокруг безумный воздух,
сбежавший из больницы.
Он прыгает, и носится,
и рвет свои лохмотья...
Кружатся листья желтые,
слетают слезы легкие,
и серой мелкой галькою
рассыпанные домики
валяются тихохонько
в садах и по холмам.

Стоят стога лохматые,
в затылке чешут истово
и от души дивуются
на девушку в штанах.

Суслоны машут шапками,
как бы желтоволосые,
как бы голубоглазые
детишки у Некрасова.
А дуг вплетает речку,
как ленту голубую,
в зеленые и поздние
с желтинкой волоса.

Не девушка Наука,
а кинооператор
вертит ногами ручку
по истине за кадр.

Соломенной вдовою
с пучком колосьев сытных
румяная Природа
в просторном сарафане,
в добротном сарафане
шагает вперевалочку,
идет, не торопясь.

А муж ее давнехонько
пропал в солдатах без вести,
но люди говорили,
что где-то на окраине
открыл он заведение –
трактир с богатой вывеской,
где яростным по белому:
«Василий Силыч Бог».

Вдова широколонная,
вдовица хлебногрудая
глядит, поджавши губы,
на девушку-мальчишку
с чернеющей челкой,

на девушку, которая
небрежно сучит ножками,
как будто собирается
и в самом деле прясть.

Вязать ей непривычно,
а вот мелькают спицы,
и прялка новомодная,
наматывая версты,
насучит нитку времени,
суровую, льняную –
соткать простецкий холст.

А холст до боли выбелят,
и швеи деревенские,
схватив иглу да ножницы,
скроят, сошьют, подрубят
рубашу ту последнюю,
что звать смертельным саваном,
и ту сорочку верную –
жестокое приданое –
запрут в глухой сундук.

А девушка Наука
в штанах велосипедных
совсем не понимает,
что думает вдова.
Ну что ей думы вдовьи,
ей в переходном возрасте,
когда еще недавно
под стол пешком ходила
и что-то лепетала
на детском языке?

Теперь она проносится
на вечных на колесах

и, как голодный сытого,
вдову, которой за сорок,
не может разумать.

А по прямой дороженьке,
в лаптях, бедой истоптанных,
подвязанных веревочкой,
с удавленника снятой,
с кошелкой за плечами,
про что-то под нос шамкая,
плетется босоногая
калика переходящая
с поломанною палочкой,
ко всем местам паломница,
разбойница и грешница –
смирительница Смерть.

10 декабря 1940 – 1948

* * *

Всё те же темы музыки и слова,
квадривий всех высоких дум.
Мы в нем, как в комнате, меж четырьмя углами
стопами измеряем нашу жизнь.
Всё те же темы в узкой комнатушке
чердачного поэта-музыканта:
я сам, природа, страсть и смерть.

12 декабря 1940

VITA ANIMALIUM DOMESTICORUM*

От крохотных учителей,
от кротких и азбучных истин,
что выть и вилять нам велят,
становится стыд ненавистен.

И чистые очи телят
взирают с тоскою животной,
когда же весь двор заселят,
роскошный, навозный и скотный.

А ученики шевелят
кобылей иль бычьёю выей,
как будто в обычай и в лад
вошло не носить головы ей.

На празднике серых осят –
судьбы позабытой добыча,
и мудрые тешат да злят,
уча и копытцами тыча.

Так лад превращается в ляд,
и лапою лапай да ляпай.
И ляжет теляческий взгляд
в поля у деляческой шляпы.

А вертел как жар накалят
и колют в шашлычные шеи,
и жить еще стайкам козлят,
от детских рожков хорошея.

12 декабря 1940 – 30 мая 1948

* Жизнь домашних животных (лат.).

ЖУК

Катит жук навозный ком.
Я с трудом его знаком.
И следит на ветке птица
за упрямым чудаком,
маленьким грузовиком.
Птицу крепко держит сук.
Не буксует бодрый жук.

Вдалеке село коптится,
и природе недосуг
оборвать рабочий круг.

В прутьях кустика паук,
подмастерьице наук,
над сплетением трудится
хитрой сетки и от мук
словно хочет сам развиться.

Небо взором ясновидца
озирается вокруг.
Дальше – мельница вертится,
дальше – в поле бродит плуг,
дальше – потом дышит луг
от стараний распуститься
всей оравой трав, и крюк
речка пишет, чтобы литься,
литься, литься, длиться, длиться.

И, одетый пиджаком
и подкован башмаком,
на усердии таком
я – ничто перед жуком.

12 декабря 1940 – 30 мая 1948

* * *

Меж двух осин повешено пространство.
Мир на оси – давно посажен на кол.
И ветерок осип, и я досыта плакал.
Тепла мне всё равно, как за сто сажень,
не ощутить щекой, похожей на ладонь.

Вся эта осень, мелкая, рябая –
старушечья, корзинная пора,
когда по воздуху ни пуха ни пера;
и, всем сознанием, как рукой, сгребая
листочки желтые, которые, черствея,
коробятся да и ложатся в кучки,
подумываю вскользь о веществе я,
которое – всего живого суть.

Ты, дождевая слизь, и ты, туманов муть.

17 декабря 1940 – 1959

* * *

Нет, не могут быть часы новей –
не старея, время обнажают.
Слезы вытирая, сыновей
матери в дорогу снаряжают.

И навешивают груз судьбы –
на плечо отцовскую котомку,
чтобы легче кончить срок ходьбы
покидающему дом потомку.

Добрый материнский хлеб в суме
тощих плеч, уж верно, не оттянет.

День пройдет, и в тесной полутьме
кус прощальный зацветет, завянет,

плесенью забвенья порастет,
станет двадцатифунтовой гирей.
Сын далекий испытает гнет
в непроглядном и несметном мире.

А когда порвет тугую нить
неудач, бессонниц и нелепиц,
радостно бывает преломить
встречи с матерью пшеничный хлебец.

17 декабря 1940

* * *

Вокруг собираются рыла да рожи,
и вдруг как нагрянут всё хари да морды!
Своя же той тьмы многоликой дорожке,
и прячь в саквояже умов натюрморты.

Уносится мир на шумливых колесах,
Вселенная ищет местечка в вагоне.
Но так же нетленны страдания в колоссах,
которым бежать от поганой погони.

Погоня – как то, чего, может, и нету,
как черный огонь в беспросветной темнице.
Ваятели мнут, словно глину, планету,
и длинная жизнь нам всё снится да мнится.

И если не стану, не буду, и если...?
Ужели живем мы всю жизнь по условью?
И весь ли исчезну? Иль частью? Но здесь ли,
от честного страха прильнув к изголовью

постели, где рядом надежда слепая
и схимница-вера с дрожащею свечкой?
И, стиснувши зренья и губы слипая,
мне хочется жить, хоть у Бога за печкой.

19 декабря 1940 – 18 сентября 1947

* * *

Едва проснусь, как мне заря ворожит
и письма прошлого – не карты – ворошит.
Еще не начат день, а уж как будто прожит,
и снег неслышно крыши порошит,
как сахарною пудрой посыпая
куски корявых изб – ржаные куличи.
Дорога медленная, засыпая,
теряется во сне, как некогда в ночи.
А ночь – лишь черновик, слепая повесть пыток.
На дыбу думы! Мысли не в чести.
Развертываю я дороги свиток,
как беловую рукопись пути.
А белый встанет день – стакан холодных сливок,
садись за стол, не бойся и попей!
Вся жизнь моя – фрагмент, и бедный мир – отрывок
одной из самых несчастливых,
и незаконченных, и чуждых эпопей.

20 декабря 1940

* * *

Богач благодушно на роскоши лег
безмерною тушей. На мир же,
всем золотом злобствуя, рос кошелек,
жирея от битвы на бирже.

А труд окаянный не хочет вериг
и только глядит обалдело,
как всё продается: грехов четверик,
фунт мыла и доброго дела,

намерений метр и отчаянья литр,
и оптом – что выглядит тучно –
беду, ликование лир и палитр,
а шутки и счастье поштучно;

пуд смерти и храбрости, одури кус
и цибики здравого смысла.
От вас и без денег совсем отрекусь,
вы, даты, и меры, и числа!

Но если коммерция эта страшна,
то кликну я Музу-вертушку –
и сунет, чтоб выпереть против рожна,
бумаги одну четвертушку.

22 декабря 1940 – 15 апреля 1948

* * *

День убегает ото дня,
как боязливая родня.

Они глядят как бы чужие,
через плечо, ладонь ко лбу.
И возле жизненной межи я,
подобен черствому столбу,
стою, Бог весть что сторожа.
И рожь, по малости рыжа,
чуть-чуть лохмата и волниста,
переливается, звеня,
на полудетской шее дня,
как простодушное монисто.

Ты, времени святое действо
и вечный семени исход!
Недель сварливое семейство
живет, шумя, из года в год.

Пылят пути, галдят деревья,
на всё запрет – и «за», и «пред».
В кругу семейном семидневья
с пейзажем спутаешь портрет.

Зыбь рясофорная болотец!
Возникли некогда из них
и светлый времени родник,
и гнилостный времен колодец.

Он в скорбной рясе из досок,
и дна бесчинство не волнует.
Вода по каплям существует
и по песчинкам спит песок.

25 декабря 1940 – 18 сентября 1947

* * *

И лежу я, сном окован...

И. Анненский

Чу, мгновения глухие
сонно сыплет тишина,
точно капельки сухие
сорочинского пшена.

А на ходиках букашки
чуть ползут, забывши прыть.
Нет, ей-богу, с ними кашки
даже манной не сварить!

Неужели даже манной,
по-младенчески простой?
У судьбы, всегда жеманной,
то прогон, а то простой.

Приношу ей тоже дань я
и лежу – но взаперти!
А желанья – в ожиданьи
в вихрь движенья перейти.

31 декабря 1940 – 2 мая 1948

1941

* * *

Хотел бы стать Сковородой
иль подорожную каликой
со страстью странствовать великой,
с тревожно вздетой бородой.
Постукивая посошком
по камешкам, как бы по жребьям,
чужим тащился бы шажком,
одетый трепетным отрепьем,
нагружен благостным мешком.
И в чреве том, простом, холщовом,
подобрались бы к тексту текст –
Монтень, Паскаль и старый Секст.
Угодники! Кого б еще вам
в собратья дать? И отчего
в суме иного нету, кроме
моей тетради кочевой,
что ночевала в желтом доме?

4 марта 1941 – 1959

NOMINA

Я усумняюсь. Пристальные львиные слова
глядят, и каждое – зубастый заголовок.
У тел их тысячи изгибов и уловков,
в дремучей гриве затерялась голова.
Как несмысленныши-котята затаясь, сперва
они хотят играть с душою, как с бумажкой,
потом, вытягивая когти лапы тяжкой,
взрослеют. Мысли густы, как трава,
где вещь ползет смешной и вшивую букашкой.

И каждый звук – как зуб, и каждый смысл – что коготь.
Все пробуют предмет колоть и болью трогать,
чтоб он об имени своем от муки завопил
и с воем сорвался с орбиты крестной. В клещи,
и в клювы, и в тиски словами взяты вещи,
идет звериная игра гвоздей, крючков и пил.

Я, плотник, вижу крохотных вещей страданья
в зверинце, где рычат их наименованья.

17–18 марта 1941 – 1959

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,
в тот праздник, когда и птица
гнезда не свивает.

Мне по мерке пришлась поговорка,
вековая эта примета.
Потащило меня по трущобам,
через трубы, полные сажу
и до слез обидного
горького дыма.

Погнало меня по дорогам,
по беспутным и немощным,
и нигде гнезда не свиваю,
одиноким кукую кукушем,
бобылем в избушке тоскую,
что на самом краю света.

Право, редкостная я птица,
но не цаца я и не Феникс,
не горю, не горжусь, не воркую,
а горюю себе понемножку.

Полечу и снесу яичко,
как лицо уродца, рябое,
положу его потихоньку,
чтобы никто не заметил.
Пусть лежит до поры до времени!
Авось кто-нибудь и станет
им христосоваться с другими,
и тогда мне опять припомнится,
что я родился в Благовещенье.

7 апреля 1941

* * *

Кукушка куковала,
петух орал кукарыку.
Скука тоску ковала,
сковала скука реку.
Гоготал, как бешеный птичник,
крылами лупил закат,
и был у берез девичник,
как тысячу лет назад.
Тимошка играл на гармошке,
и мышки бежали из нор,
и нежно кружились мошки,
и пел весь скотный двор.
Бараны бодались бодро,
а козы лишались снов,
подрыгивали бедра
у волооких коров.
И птички и овечки
порхали бесперечь,
но скучно было речке
среди весенней течи
всё течь, и течь, и течь.

30 апреля 1941 – 1959

ЯБЛОКО

Я увидел в саду, плывущем словно плат,
на старой яблоне прекрасный лысый плод.
Он зреет, медленно вращаясь, тяготая
к земле, в тот мир, где тайный сок кипит,
и с важностью румяной богатея
державное величие хранит.
Желтуха зависти его уже берет,
он круглым кажется, как этот год,
но завершиться не успеет
и, оборвавшись, упадет.
Ну а пока он копит сок и спеет.
Он воздухом и зеленью окутан.
На веточке подвешен нежный груз,
и на него я всё не нагляжусь,
хотя, ей-богу, я отнюдь не Ньютон.
О яблоко! Ты голова
пророка, старца или младенца,
и если бы твой лик сумел я в полотенце
поймать! Сегодня первый Спас.
И вот уже ты держишься едва.
Ты падаешь. И руку я припас,
нелепую как доброе поленце.

7 мая 1941 – 1959

* * *

Я, как земля, притворник и затворник.
Не келья, дом в двенадцать окон – год.
И я в своем году жилец и дворник,
и что ни день – всё будет только вторник,
родимый брат страстных суббот.

Векует дом кукушкой часовой,
а вековать – что куковать.
И улица, как белая кровать,
уснула, ткнулась в сумрак головой.

Мой дом – что год. А за стеной – Бог весть!
И с каждым днем всё больше я теряю.
Читаю. Боязно недели перечесть,
но мне порукой смерти честь,
и смело ей себя вверяю.

7 мая 1941 – 1959

ОСЕНЬ

В каком бы нынче ни явилась духе,
варьируясь на сто ладов,
ты – осень желчи, осень золотухи
и осень добрых крепышей-плодов,
пора, когда со скуки дохнут мухи
в пустеющих хороминах садов.

Ты, словно сети, расставляешь рощи,
где солнечной приманкой день блеснет.
И осторожность зверя в нас уснет,
и мы к тебе – как куры во щи.

Причуде каждого охотно потакая,
не лес ты, а пиллюлю золотишь,
в добрячку превратилась. Ишь!
Обманщица! Да кто же ты такая?
Ты – каждому своя
и врешь, не иссякая,
и погружаешься в безветренную тишь,
на выдумки хитра, наряды извлекая

из всех неведомых амбаров и клетей,
прозрачная царевна Навзикая,
приветящая путников-гостей!
И что за дело мне до твоего вранья!
Ты всякому своя, такая иль сякая,
ты явишься, минешь, и Бог тебе судья!

12 мая 1941 – 1959

ПАШНЯ

Сухой Кашей и неустанный пахарь,
сварливой матушки-земли супруг,
врезает в целину остервенело плуг,
сдирает кожу он, неумолимый бог
морщин, царапин, выбоин и бурозд,
и борода его шуршит, как хворост,
а голову ему покрыл клочкастый мох.
Он сеятель, в преданье уходящий,
как в русскую немую даль
и в замирающие чащи.
Он сеятель, а с краю, стороной
мальчишка-год плетется с бороной.

17 мая 1941 – 1959

ГОРЕЛКИ

Вот детство, словно на тарелке,
прозрачный босоногий Рим.
Играем с жизнью мы в горелки
и без огня еще – горим.

Эрот в нас запускает стрелки,
тропу любовную торим.

Играем с жизнью мы в горелки
и не сгорая – мы горим.

В огне семейной перестрелки
обид глотаем едкий дым...
Играем с жизнью мы в горелки
и вот – горим и не горим.

Когда же солнце ставит грелки,
сиделкой наклонясь к седым,
играем с жизнью мы в горелки
и вот, сгорая, – не горим.

18 мая 1941 – 1959

* * *

Отчего иногда вдруг помнится, что нету загадок,
что весь мир несусветный – не дальше порога жилья,
что вступил я в обитель кувшинов, и кринок, и кадок,
что меня обступила скамей и кроватей семья,
что тарелкам и вилкам отъявленный родственник я,
что хозяином в доме – умытый зарею порядок?
Отчего же он, умный и добрый, становится гадок
и всё ждешь, что начнется оживших вещей толчея?

Жить не дальше крылечка, к которому ходят дороги,
попрошайки-тропинки и нищие дяди-пути,
и одетому ждать на высоком – с подковой – пороге,
и не сметь ни рыдать и ни хлопая дверью уйти.
Шапку как ни прикидывай, пуговку как ни верти,
а поедешь по рекам в Хароновой черной пироге.
Выйдут встретить тебя только тени судеб – недотроги
и спросить, отчего ты так долго сидел взаперти.

19 мая 1941 – 1959

КРАТИЛ

Когда бы был Творец всемирный воротила,
а мир – Его дворец иль просто гинекей,
то лучше было бы повеситься, ей-ей,
пока тебя Судьба в скота не обратила.

Но всё меняется, влечет слепая сила
неведомо куда водоворот вещей:
несется град Милет, бегут стада людей,
мелькают и текут пред взорами Кратила.

Без берегов и вод спешащая река,
и в ней, как в бороде слепого старика,
всё позапуталось, плененное без плена,

и некогда упасть пред Мойрой на колена.
Иная каждый миг нам видится Елена,
и Троя каждый раз близка и далека.

23 мая 1941 – 1959

* * *

Платок мне не накинешь на роток.
Я по-ребячески тружусь и строю
и вывожу по-русски городок,
слепую крепостцу величиною с Трою.

Еще хранят гроба тяжелые дубы,
в цепях томится посвист соловьиный.
Еще сбиваю стены я, дабы
вкусить бревенчатой судьбы
и убежать от кистеня с дубиной,
от всех больших дорог разбойничьей судьбины.

Путивль иль Суздаль – и, над ним склонясь
бездонным плачем, старческим и детским,
мне горестно, что горем молодецким
меня влечет к телегам половецким,
что Троя рухнула и пал свет Игорь-князь.

23 мая 1941 – 1959

* * *

Мой позвоночник, как и мой ночник,
не спит всю ночь, спины не разгибая.
Начни писать – и ты всем телом вник,
в чернилах бурных погибая.
Мои чернила – это кровь вещей
и льется оттого, наверно,
что вещи дышат чаще и трудней,
что в самой глубине у них каверна.
Прости мне, современник, эту ересь,
но вижу из-под воспаленных век:
в пещере, как медведь ощерясь,
зубами каменный скрежещет век.

24 мая 1941 – 1959

ЗВЕЗДОЧЕТ

Небесного жилья полночный соглядатай,
разинувши глаза во много тысяч раз,
ты весь – один сплошной неутолимый глаз,
ты всё играешься, ребенок бородатый.

Нам зренье – лестница и потаенный лаз.
Огромный Божий дом отмечен не был датой.
Стократ ты пустогляд, но, право, не балда ты,
а сам Сократ, когда твоя звезда зажглась.

И, набалдашником поигрывая трости,
козлом скача в трамвай на всем его ходу,
ты, в памяти зарыв, забыл про ту звезду.

И я твоих речей, звездопоклонник, жду,
а ты, досадуя, мне вдруг ответишь: «Бросьте!
Я так же, как и вы, прирос к земной коросте».

9 июня 1941 – 1959

* * *

Тело, словно тихую светелку,
я Психее робкой сдал в наем.
Но в жилище этой мало толку:
мы друг дружку всё не узнаем.

Для чего тебе моя светличка,
иногда догадываюсь я,
милая жиличка-невеличка,
крохотная душенька-швеса.

Сколько домыслами ум ни пичкай,
ты под серый вечер предстаешь
тонкой свечкой, вспыхнувшю спичкой
и зачем-то шьешь, и шьешь, и шьешь.

Всё выводешь ровной гладью строчку,
и уже похоже полотно
на мою смертельную сорочку,
ту, в которой спать мне всё равно.

Не возьму покамест ни копейки
за мое убогое жильё
с тоненькой и нежной белошвейки
и пуцу я даром жить ее.

А когда пора платить жиличке,
ты рубашку мне снесешь в залог,
перекусишь нитку по привычке
и завяжешь вечный узелок.

24 июня 1941 – 1959

ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

Дурная серая примета
в саду прикинулась совой.
А сердце совершает где-то
свой ход машинки часовой.

И кровь кругами нарастает,
и мнится – срока жди сто лет.
И снег вовеки не растает,
пока не грянет пистолет.

Покуда смерть не сдвинет брови,
прищуришь вороненый глаз,
всё тот же круг огромной крови
не умолкает ни на час.

Лицо глядится хладнокровно:
невелика цена свинца.
И сердце бьется ровно-ровно,
как будто сердцу нет конца.

22 июля 1941 – 1959

* * *

В огромной шубе сплю я, как в Сибири.
Во сне раскинулись с размаху рукава,
и меховые душные сугробы
нагромоздились – не дают дохнуть.
Куриный смрад, базары тараканьи,
соломы хруст, собачьей цепи лязг...
И духота.

А дверь оледенела –
не отворить. Но, навалясь плечом,
ломаю спайки ледяные. Пар
хлобыщет утром в раннюю дыру,
как застоявшаяся кровь из раны.

У розвальней и клячи равнодушной
священнодействует доха,
как поп лесной в мохнатой ризе.
Громадный дядя, спину повернув,
возносит рукава, поводит по-медвежьи
плечами шириной во всю дорогу,
хомут затягивает, гладит холку
и на санях разравнивает сено...
Счастливого пути!

А улица пуста.

Еще дышу. Еще хочу поехать
за тридевять земель на жеребце шальном,
как ездят в гости к родичу иль другу,
где самовар шипит и чашки стали в круг.

Вчерашние следы темнеют на снегу.
Неужто я ступал так неуклюже?
Из труб валит дымище сиволапый
и увалень-мороз по улице идет.

29 июля 1941

* * *

На шее затянув кушак,
смерть с черным грохотом в ушах,
не отступая ни на шаг,
вертелась у штурвала.
Уже тошнило до кишок,
грозой на части рвало,
и море в ледяной мешок
покойников зашивало.
За взрывом взметывался взрыв,
глубины и судьбины взрыв,
и рушился воды колосс,
надгробьем пенистым накрыв
то, что боролось, и рвалось,
и злобой бушевало.
И вновь по команде лихой судьбы
вода вставала на дыбы
свирепой тушей вала.
И разъяренные валы
мычали и мчались, как волю,
и брали грудью и в рога
любого друга и врага,
наваливались тут и там
оравою недоброй,
носы ломали и бортам
крушили последние ребра.
Метался ветер удалой,
и чайки-озорницы
кричали «Да здравствует!» и «Долой!».
И вспыхивали зарницы.
Вот так и жили на убой
вблизи от дали голубой.

13 августа 1941 – 1959

СТАРИКИ

По вечерам выходят из ворот,
салятся рядом, медленны и чинны,
уйдя перстами в кроткие пучины,
в дремучие моря седых бород.

И волосатый сей водоворот
хранит в глубинах быль и боль мужчины.
Как тетива, стянули рот морщины.
Река времен течет наоборот.

Уставились они в уста реки,
и стынет память в каждом старожиле.
Ужели век свой вечность сторожили
лысеющие эти старики?
А ум ушел, макушки завсегдагай,
и утопился в бездне бородатой.

13 августа 1941 – 1962

ЭЛЕГИЯ

В желтеющей листве прозрачность кожи.
Сучки – собрание костей сухих.
В траве, как в сваляной рогоже,
кузнечиков покоятся останки.
Улитки, будто маленькие танки,
переползают через них.

Окончен летний бой, и после перепалки
не отыскать жука-броневика.
Вдали галдят на птичьем вече галки.
Зима – рукой подать – недалеко.

Я осень узнаю по сгорбленной походке,
по вою в дымовой трубе,
по свисту в бронхах, по дурной погодке
и по туманной жалости к себе.
А листьев желтизна печальна, как в чахотке,
румянец их пятнистый нездоров.

Обочь дорог полно еще даров,
даров болезненных, багряных ягод.
Как сгустки крови, на кустах застыв,
они висят.
Но вдруг еще порыв,
припадок кашля, и они полягут
в сырую землю. Старый сук скрипит,
а веточка от ветерка дрожит.
Болезнь во мне созрела, видно, за год.

А осень, скорбная и пьяная вдовица,
подкованным тяжелым сапогом
мне по-мужицки хочет в грудь вдавиться,
и затоптать, и след прихлопнуть батогом.

20 августа 1941 – 1959

* * *

Я стал близорук и дал зарок
смотреть на всё в упор.
И глаз нарвал, как пузырек,
беспокоя ум с коих пор.

Я мяч земной на ладонь кладу
и подношу к очам.
Они у зренья на поводу
и сами подобны мячам.

Играй же в солнечном мирке,
ребяческий мировед.
В глазу, как в лекарственном пузырьке,
преломляется белый свет.

И я с ладони мяч швырну.
От грязи ее свербит.
И веки кверху заверну,
и очи сойдут с орбит.

4 сентября 1941 – 1959

BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES

В бою неведомом разбит,
угрюмый броненосец серый
на берегу пустынном спит,
как некий зверь не нашей эры.

Кто скажет, жив он иль не жив?
Мертвей валов, но гор живее,
глухое брюхо обнажив,
лежит он на боку, ржавея.

И в остове его стальном
ослабла сила мышц. Едва ли
ей вновь взыграть, а в остальном
всем теле пусто, как в подвале.

Давно час боя пережит
и ни к чему считать потери.
Корабль беспомощно лежит,
как допотопный динотерий.

Зверь предвкушает свой конец,
а где-то, словно антитеза,

гремят разгневанный свинец
и разъяренное железо.

4 сентября 1941 – 1959

МИМО

Je ne cherche qu'à passer.

Montaigne

Прохожу, ничем не замечаем,
вечеров встречаю череду,
запиваю не слезами – чаем
каждую обиду и беду.

Нынче осень – доля золотая,
но украдкой на себя дивлюсь,
что, пилюли крупные глотая,
до сих пор никак не подавлюсь.

С палочкой бреду, ничем не тронут,
и клянусь – не я тому виной,
что в глубоких днях печально тонут
города и веси за спиной.

Попусту летят дождя дробинки,
попадая изредка в меня.
Тайно заплетаются тропинки,
ветренная тише беготня.

Худо ли тебе, когда с утра ты
сбросишь память, как суму с рамен,
обретая чудные утраты
веса, чувств, событий и времен?

И не в том ли мудрости начало,
кроткой заповеди первый стих, –
чтоб вещам тяжелым полегчало,
проходить, не задевая их?

23 сентября 1941 – 1959

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Тот сад, что зеленел, как бы в пруду, в очах,
вдруг медью зазвенел, заплакал и зачах.

И то, что было только что в перстах,
вдруг стало нынче будто в ста верстах.

И от лица, что утром целовал,
до вечера какой-то цел овал.

А сам портрет бесследно опустел:
в исчезновеньи – главный фокус тел.

В пересеченьи муки и примет
вдруг возникает явственный предмет.

Как фонари на перекрестках тьмы,
внезапно зажигаются умы.

А улицы запутались в грязи –
хоть окарачь, хоть ощупью ползи!

И не пойму всей этой мути я,
ты, пьяный обыватель бытия!

А он промолвит: «Да уж городок-с!
Присмотришься – так, право, парадокс».

21 октября 1941

СТАРИКИ

Голгофою, страдальческим бугром
мне предстает лысеющее темя.
Глухие тучи заслоняют время,
и за холмом уснул последний гром.

А на реке кто с сетью, кто с багром
нашаривают труп во влажной теми,
и семя злобы проросло меж теми
и сими, кто уселся, сед и хром.

Давно шумел кудрявый бор волос,
давно гремела ярая охота,
а сердце гордо залпами рвалось.

Но эхо всё же повторяет что-то.
И с кручи лес валился от кручины,
и превратился он в бород пучины.

21 октября 1941 – 1959

* * *

...И я без разбора добрею,
пью пиво и даже вино,
в неделю раз бороду брею
и в баню хожу и в кино.

Горячего чая владелец,
царек одомашненных рек,
я, бог пустяков и безделиц,
их скромной вселенной нарек.

И что же мне гаркнуть – «ура» ли,
иль «Многая лета» пропеть

за то, что меня зачурали
и можно мне жить и терпеть?

23 октября 1941 – 1959

* * *

Глубокий день, неизмеримый днище!
Родная синь без дна и без примет.
Кочует клен, как разноцветный нищий,
цыганскими лохмотьями одет.

И кажется, что так навеки надо,
что этот день во всем году один.
Раскинулась берез арлекинада
и паутинок вьется серпантин.

Увы! Природа любит маскарады.
Покорно мы вступаем в карнавал
и, догорая в сих нарядах, рады,
что этот день нам души взволновал.

Придет другой в прибое белом бала
и голову нам вальсом закружит.
А у громад сугроба или вала
душа в шубейке тощей задрожит.

7 ноября 1941 – 1959

* * *

У лампы ли сидишь, у камелька ли –
внезапно вспыхнет потасанный свет,
и вспомнишь, что не дни – века мелькали,
так далеко они – огни, которых нет.

Так далеко, что кажутся чужими
веками, очертанья дней моих,
и память меж ладонями, в зажиме
не вымолвит немое имя их.

Что имя? – Плод, который кисло-горек.
Не вороши событий дребедень,
старьевщик! Впрочем, если ты историк,
то каждый век тебе – как бы в Эребе день.

Твои века спят в люльках в одиночку,
усопшие младенчики-деньки.
И напряглось окно и видит ночьку
с безглазым омутом, крученым из пеньки.

Сугроб огромный предстает постелью.
Судьба-Яга всё мечется метелью,
морозным дымом машет помело,
а время на беду руками развело.

5 декабря 1941 – 1959

1942

* * *

Невелика беда, что я чуть-чуть горбат,
на беды человечьи глядя хмуро.
Я лекарь душ, к тому же и аббат,
и проблеском иронии – тонзура.

Не чернокнижник, но и не волшебник,
и на святую воду и мочу
усердно что-то бормочу,
приличья ради раскрывая требник.

А жизнь закапана, как свечкою псалтырь
с прекрасными созвучьями латыни.
Старинное вдали еще прекрасней ныне,
и радостно стареет монастырь.

И рясу темную, как ночь, и крест несу я
с достоинством – какая pieta! –
и носа, в сущности, совсем не суя
туда, где Божий суд и сути суета.

И ох, как не люблю дороги тряской!
И хитрой лысинкой луна
сияет над потертой дряхлой ряской,
которой плоть моя облечена.

На окнах келий кроткие решетки,
но из обители шататься не уйду,
и вот в году, как в вековом саду,
бреду и тихих дней перебираю четки.

23 января 1942 – 1959

НА ПАСЕКЕ

Как хорошо! Ни встреч и ни разлук.
Земля трудится, от натуги прея.
Мохнатым морем сразу вырос луг,
катая алые валы кипрея.

Прибой медовый медуниц и кашки...
Кипят цветы на разливном лугу,
и милые чудовища – букашки
по стебельку, согнутому в дугу,
как пу мосту воздушному, катаются...

Как хорошо – ни встреч и ни разлук.

Кузнечики, как заводные часики,
без такта всё твердят свое «тик-так».
Как хорошо, что снова я на пасеке!
Почудилось: и жить бы только так –
избенка и прохладный сруб колодца...
Вдали не ворохнется грузный стог.
Ручей, берущий силы из болотца,
прозрачен, как души исток.
Мелькают мимо бабочки и лютики,
пищат какие-то малютки,
и на пригорке сердце – стук, стук, стук!

Как хорошо! Ни встреч и ни разлук.

23 января 1942 – 1960

* * *

Кинешь карты так ли, сяк ли,
только, сколько ни гадай,
силы вольные иссякли.
Лишь и скажешь: «Книга, дай

погрузиться в темь былого,
погрозиться дому – цыц! –
и предаться внове лову
прежде виданных Жар-птиц».
Юмор, всех умор дороже,
в стари гордой я открыл:
те же хари, морды, рожки,
хоровод великих рыл, –
зевы, глотки, клювы, пасти...
Но спешит во мгле беда,
и спасут от сей напасти
трын-трава да лебеда.

23 января 1942 – 1960

ПУТЕШЕСТВИЕ

Я сон, как блев, из недр своих исторг.
Не обморок – о нет! – со мной случился.
Как некогда провидец Сведенборг,
я заживо в дремучий ад спустился.
(Ученый уверял, что, будучи в аду,
сидел у Сатаны в большом заду.
Со мною было, может быть, похуже.)
Багровым Цербером язык-неповорот
валялся в сонной слюнной луже.
Пеньки зубов, печальные гнилуши,
скрипели. Ад разинул рот.
Как лакомый кусок, шматину сала,
меня жевало, и в слюне купало,
и с челюсти на челюсть как попало
и перекидывало, и бросало.
Я думал было – ноги протяну,
ан протянул, да в глубину
и проскользнул по пищеводу
в вонючий, грузно дышащий мешок,

где тьма крошечная комков и крошек,
где капли слизи – мерзостный горошек –
росли на стенках. И в кишок
витиеватые вошел я ходы –
в премудрое строение природы.
Канализационная труба
пред этим чудищем наивна и груба.
Кишки сжимались, словно кулаки,
кривились и самих себя давили,
и чавкали, и норовили
червями уползти из грешной гнили,
и совершали с помощью гаустрации
пищеварительные операции.
Там не измерить муку на вершки,
там пытка адская не менее аршина.
Как тучная свинья, давилась мной брюшина,
и шевелились адские кишки.
И захотелось вдруг попасть домой
хотя бы по кишке прямой.
И я уверовал, что адская машина
работает всегда на всем ходу.

Как Сведенборг, я побывал в аду.

25 января 1942 – 1961

ГРИБОЕДОВ

Лень. Виноградная усталость.
Зачем же ночь воспалена?
Где ты, снегов московских талость,
заяпанная пелена?

Кто стерпит дольше? И с нагаром
свечи соперничает ночь,

и смята рукопись недаром –
грязна, как русский снег, точь-в-точь.

У Ночи много разных версий –
грузинских, питерских ночей.
Воспеть ли персиянок перси,
сиянье черное очей?

Они давно уже воспеты,
они – как нудная молва.
Какие липкие конфеты –
рахат-лукум, нуга, халва!

Лень. Виноградная истома.
И что ты, царский казначей,
мне можешь вычитать из тома
восточных паточных ночей?

Презренье к язычкам и жальцам!
Любезней враг, чем сват и кум.
Но как всё липнет к бледным пальцам –
чернила, кровь, рахат-лукум.

Ворчат у виселиц собаки,
и круглый катится предмет
в предутреннем последнем мраке.
О Рок! О Мойра! О Кисмет!

Зевает в скуке тихой яма,
куда ты злую душу пнешь.
Какой же стих Омер Хайяма
пред тем, как я паду, шепнешь?

12 февраля 1942 – 1961

* * *

Нет, существо, как разберешься, – сволочь,
лишь вещества бесцельные куски,
кислоты слов, в осадке чувства – щелочь.
Какая химия тоски!

17 февраля 1942

* * *

Чего греха таить, прости нас Боже?
Знать, все в душе мы (знать, не зная ни хера) –
воинствующие вельможи,
юнхонькие юнкера.

Мы, словно конь, ступаем в портупее,
и упряжь правит удалым конем.
Становимся, вступая в спор, тупее
и все-таки тупее – не кивнем.

17 февраля 1942 – 1961

САПОЖНИК

Ты просто своенравная причуда,
и не страшит любовь твоя ничуть.
Четыре года, как четыре пуда,
меня согнули, – так не обессудь,

что и восторги стали деловиты,
что я в любви бесстыжий чеботарь.
Меня на слабом слове не лови ты:
я не таков уже, как встарь.

Когда дырявы дни и год поношен,
когда упреки тяжело глотать,
сапожник чинит: шило вынет, нож он –
пустоты грустные и дырочки латать.

Любовь – как обувь: без нее ни шагу.
Куда ж на улицу с босой душой?
Мозолей нет – и то велико благо,
а если по ноге – и вовсе хорошо.

Любовь – как обувь, птички-черевички.
Иной радехонек бы в них всю жизнь обушь.
Оставь же запоздалые привычки,
былой капризницей не будь!

К чему, дружок, любить напропалую?
Забудь скорей былую кабалу.
Прости, что туфелькой тебя я не балую,
потерянной когда-то на балу.

Я не клянусь тысячегубой клятвой,
и на посулы ты меня не нудь.
Я попросту затягиваю дратвой
то, что еще возможно затянуть.

Ты скажешь: «Вот, калоши я сносила,
и башмакам пришел теперь черед».
Увы! Подметка – ложь, и, ясно, сила
камней и дней до дыр ее сотрет.

Нет, не любовник и не добрый брат твой –
сапожник я, и с горем пополам,
но добросовестно я прошиваю дратвой,
чтоб не разъехалось по швам.

Обетов я тебе не расточаю,
и не играю я с тобой в молчки.

Тебе, как Золушке, я без прикрас тачаю
истоптанные башмачки.

И занят нынче я работой сладкой.
Сапожники – старательный народ.
И поцелуй я сравниваю с латкой
воздушной, наложенной на рот.

28 февраля 1942 – 1961

БИЛЬЯРД

В углу Вселенной, в полной скуки яме
два бога длинные, устав от карт,
чтоб разогнать тоску киями,
установили яростный бильярд.

Шары с луну, как лбы кости слоновой,
толкаются и бьются о борта,
чела клейменные. И новой
досадою кривятся оба рта.

Шары стучат и молча бьются в лузах.
С тоски и скуки упершись в бока,
два бога в пиджаках кургузых
орудуют в просторах кабака.

А игроки отнюдь не кровопийцы,
хотя и насмерть бьют без Божьего суда.
И знай себе смеются олимпийцы,
шары туда гоняя и сюда.

И судьбище – что игрище вам, боги!
Хохочете и пиво пьете вы,

и бьете прямо в лоб, и ноги
заносите превыше головы.

1 марта 1942 – 1961

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Иссохший стебелек в слизь мыльную макнув,
над сонной красотой трудится миродув.
Дрожащим серебром лилово-золотой,
лишенный смысла шар и ширится и блещет.
Из мыла скользкою воздушною мечтой
прекрасное Ничто возникло и трепещет.

О сфера умная! О кротость пузыря,
где на поверхности вращается заря!
Забава бойкая! Ребяческий восторг!
Воздушные миры, как думы мертвых, ломки.
О мысль загробная! Не я ль тебя исторг,
и ты теперь дрожишь на кончике соломки?

26 марта 1942 – 1961

* * *

Поезд дачный, поезд брачный,
поезд свадебный трещит.
А в дали почти прозрачной
мандолина верещит.

Из счастливого вагона
ты выходишь налегке,
современная Мадонна
с чемоданчиком в руке.

Иль у Водкина-Петрова
ты учиться начала,
и горит платок багровый
вместо нимба вокруг чела?

Будто спугнутое лето,
ты слетаешь на перрон.
И упорней пистолета
на тебя нацелен Он.

12 апреля 1942 – 1961

* * *

Жаль, что не умею ввысь молиться,
но душою заплакан – верьте.
И налетают, как письма, лица,
письма – и каждое в конверте,

в черных печатях и в пестрых марках.
Радуйтесь, боги-филателисты!
Адрес неясен – весь в помарках,
не прочитаешь, хоть отелись ты!

Кому же мой бледный конверт адресован?
Зачем его рот замазан клеем?
Зачем на нем штемпель от руки нарисован?
Зачем же мы вскрыть письмо жалеем?

Уж не затем ли в нас нет отваги,
что, надорвав конверты иные,
крадем письмо, но лист бумаги
пуст. Только знаки плывут водяные,

словно следы чьих-то слез.

12 апреля 1942 – 1961

ФОМИНА НЕДЕЛЯ

Не вспоминай! На Фоминой неделе,
сминая память, будто белый плат,
ты плачешь.

 Это кроткий день расплат
с былым. Деревья поредели
и воздух сеют через решето...
И сколько солнечной весенней канители
налипло, как шерстинок, на пальто,
и не сочтет златых дождей никто.

Весна, как сука рыжая, щенится.
В соломе мокрой слышен писк слепой.
Разодран снег – вся в клочьях плащаница,
и бродят голоса прозрачною толпой.
Перекликаются ручьями мертвецы,
и нищие, укутаны в лохмотья,
про Лазаря поют – безглазые хромцы.
Убогим – как отрезанный ломоть, я
себя бы дал. Но я, я – горсточка грязцы.
Поют про Лазаря. Мохнатые могилки
молчат. Они – загробные дома.
Помилуй Бог! Какая боль в затылке!
И чуду зрения не веровал Фома.

Не вспоминай! Иное да приснится
на Фоминой неделе, чем утрат
заоблачный, пустой, громадный вертоград.
Гляди! У солнца выпала ресница.
Жар-птица сызнова роняет перья.
И отчего же – не пойму –
обычаи люблю и суеверья
и, хоть убей, не верю ничему?

Помиримся. Забудем смертный грех.
Раздумье – Страшный суд и сотрясенье

гробов. Давай смиримся прежде всех,
во вторник повторяя воскресенье.
Пусть нас казнят и язвою и скверной, –
успение на всё кладет кресты.
Прости, что нынче я Фома Неверный
и в язвы Божии кладу персты.

Покуда строгий саван не надели,
не обручили с памятью земной,
не вспоминай! На Фоминой неделе
христосуйся не с мертвым, а со мной.

14–19 апреля 1942 – 1961

ПСАЛОМЫЙ

Аз, усумнившийся, гляжу в прозрачные леса,
на дым зеленый рощ березовых, и всё же
десницей Божьей провожу по коже
земли шершавой. А она колышет телеса
бугристые. И мир повис, как легкая слеза,
и жизнь моя трепещет, как ресница,
и я в глаза не знаю ни аза –
мне осень может и весной присниться.

Березы теплятся, как свечки восковые.
Обедня бедная, соломинок звонки.
Они как лучики тонки
и в черные мгновенья роковые
сломаются. Пичуги вьют венки –
на небе хороводы вековые.
Земных морщинок счесть я не могу,
и на распаханном, как мысль моя, лугу
я в борозды вникаю мозговые.

Помилуй, Господи, лукавого слугу!
Я перед истиной Твоей в долгу,
и аще аз божусь, да радуюсь, да лгу,
вещам сгибаемая каменные выи,
ломаемая горные хребты,
и аще, Господи, в вещах вещаешь Ты,
то Ты еси живот мой, смерть, козел
и помыслов моих и прегрешений,
а я – одно из неизбежных зол,
единственное из решений,
есмь повесть о Тебе и сбивчивый рассказ,
есмь житие Твое и Твой незримый глаз.
И что ни час, Ты, Боже, оглашенная,
и бесноватая, и слепая. И усумнился аз.

17 мая 1942 – 1961

* * *

Шуршит сухой поток задумчивых лесин,
и ветерок летит, как шарф капризный,
и милая глядит с прелестной укоризной
в коричневых зрачках, оправленных в колечко... –
Рамо пленительный, торжественный Расин! –
Играет светлая пастушеская речка,
журчит под пальцами веселый клавиесин,
и чувство чудное разыграно по ноткам.
Персты бегут в изнеможеньи кротком,
и ноготки стучат, что башмачки
пастушечьи. Течет девическая речка
и совершенные лепечет пустячки. –
Торжественный Расин, любезнейший Ватто! –
Миниатюрный день, оправленный в колечко,
философы поют, как зяблики в пальто.
По парку фрейлиной береза, вся седая,
в душистом парике бредет, и ей вослед,

лукаво кланяясь и приседая, –
 пленительный Рамо, насмешливый Дидро! –
 курчавые кусты выводят менуэт.
 И милая глядит с прелестной укоризной,
 родимая глядит любезно и хитро.
 А музыка в душе еще не улеглась.
 Щеголеватый день – маркиз капризный
 щебечет веером и шурит карий глаз.
 Тебя, как старину, не отданную теткам,
 люблю – Дидро, Ватто, Расин или Рамо! –
 И клавишин бежит, разыгранный по ноткам,
 и чувство чудное играется само.

20 мая 1942 – 1961

PERVERSITÏ

Ты, царица моя, не капризничай!
 Будь по-прежнему тихой и маленькой!
 Я тебя, как епископа ризничий,
 облачаю в божественной спаленке.

Иль постель вспоминаешь бездонную?
 Или я тебе с ядом флакон даю?
 Чем ты станешь? Дитятей? Мадонною?
 Иль бессовестно сонной Джокондою?

Нет! Тебя сотворил Тициан из того
 тела, что олимпийцы алкали.
 Спи, дитя, посинев от цианистого
 кали!

20 мая 1942 – 1961

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕВИЦА ГОВОРИТ:

Злая полночь, и мороза
жуть туманом разогрета.
Шел сегодня Чимароза –
Matrimonio segreto*.
Ах, летит за розой роза,
вся в цветах моя карета!

Эта публика как дети –
ахающие разини
от брильянтов на Джульетте,
от рубинов на Розине.
Ах, в России Доницетти,
Керубини и Россини!

Но какая это скука –
кавалеры в старом стиле!
Что была это за мука –
слушать, как они острили!
Впрочем, старый русский duca
и un uom' assai gentile**.

24 мая 1942 – 1961

* * *

Раскрытым, как томик, лицом и почти некрасивым,
где перечень мелочей можно по строчкам начать,
ко мне обернулась, а взгляд твой – он набран курсивом.
Щекой ощущаю тепла и печали печать.

* Тайный брак (*итал.*).

** Князь – человек весьма любезный (*итал.*).

Петитом невзгоды, крючкастые знаки вопросов.
Листы сброшюрованы, книжечка стоит гроши.
Щекой разумею идею души, как философ.
Хорошее тихо. И тишь эту не вороши!

Какой словолитней по черному свету гонима?
А буковки-пуговки не расстегнуть до примет!
И кто сочинитель? На лбу пустота анонима.
И как же окликнуть, коль дымного имени нет?

И все-таки, в сетке волос перепутавши ловко
в силоч, чтобы грусть не рвалась, ты мотаешь клубоч
глубоко, как в горле. О, если и нет заголовка,
загадка решилась – ты сказочный добрый лубоч.

31 мая 1942 – 1961

* * *

Далеко и рядом – как за стенкой –
ты живешь, не виданная мной,
нежности блаженной уроженкой,
дочерью юдоли неземной.

Чувствую – к бокам притиснув локти,
как Изида, повернулась ты
и в упор разглядываешь ногти
и зарей омытые персты.

Зеркальца мерцающие пальцев
розовых исполнены миров.
Я ж тебе – один из постояльцев
и живу в одном из номеров.

3 июня 1942 – 1961

* * *

Легко гостится у весны в хороммах.
Ну так и не уехал бы домой!
Стреляет гром. Какой огромный промах!
И смехом сыплет белый дождь с черемух,
а вишенкам, наряженным зимой,
ей-ей же, нынче маскарад прямой.

Чтоб гостем быть, и в этом нужен навык.
Хозяйкин нрав вам должен быть знаком.
Лепечет новая вода канавок.
И, голову чуть-чуть склоняя набок,
как будто занят этим пустяком,
остановлю внимание на ком?

Весна – хозяйка хоть куда! Веселья
и молодежи держит полон дом
и, что ни день, справляет новоселье,
и каждому в чужом пиру похмелье,
кто в гости чуть ли не силком ведем.
А мы в гостях как у себя живем.

6 июня 1942 – 1961

ГРОЗА СЕМЕЙНАЯ

Гроза грозится да грозится,
потом как стукнет кулаком
по облакам! И разразится
истошным ливнем на весь дом.

То слезы льет во все глаза,
а то взхлеб заматерится.
Моя супруга и гроза –
устроить сцену мастерица.

Ох, будет баня, знай заране!
Головойки свежей жди!
Средь брачной ругани и брани
до полдня завела дожди.

Их сыплет, словно из лукошка,
бунчит, и всё неймется ей
раскокать звонкое окошко,
взметнуться ввысь, как сто плетей,

последней доблестной зарницей
и, через громовой ухаб
скакнув, умчатся озорницей
и самой бешеной из баб.

7 июня 1942 – 1961

СПОРТСМЕН

Держу пари, что я еще не умер.

О. Мандельштам

Я не устал еще. Не старьте
меня заранее. У вас
я покажусь еще на старте
и пригожусь еще не раз.

Провалы памятью скрывало,
но этих ран не береди!
Не раз грудь ленту разрывала...
Еще дорожка впереди.

Дорожка мчится беговая,
и я меняюсь, но в лице ль?
И машет флагом вековая,
всегда бессмысленная цель.

Пусть год за годом – только минус,
но, крылья прицепив к ногам,
Персею я со старта ринусь
под выстрел, крики, гул и гам.

Я не устал еще. Не спорьте!
Еще не стал себе лгуном.
У жизни я отъявлен в спорте
то беглецом, то бегуном.

Ты, жизнь, меня как пешку двинешь
ловить удачу на бегу.
Еще далек смертельный финиш.
Я задыхаюсь, но бегу.

Кружит дорожка мировая.
Ужель у жизни на виду,
не ленту – сердце разрывая,
я на арене упаду?

Я не устал еще. Не старьте!
Еще не весь отмерен век.
Я снова появлюсь на старте –
и, не робея, вновь в пробег.

9 июня 1942 – 1961

КИНОВИЯ

Мысль за мыслью, что княгинь, развенчивая,
в монастырь их! Но, как ни верти,
глаз твоих погода переменчивая
все желанья держит взаперти.

И живут, живут, грустя монашенками,
и не наши, даже не мои.

Темными они одеты башенками,
каждая крюки поет свои.

Каждая – владычица постриженная,
схимница, но княжеских кровей,
то пристыженная, то обиженная,
то с упорством сжавшихся бровей.

Нет! Скуфьи да рясы и не нашивая
и на душу не нашив креста,
не нажив греха, молчу и нашего я
счастья не пушу за ворота.

Но не раз, как тать, замки выверчивая,
каждой я шептал из инокинь:
«Выгляни, черница недоверчивая,
и царицей келию покинь!»

Ты – в ладонях ладанка эмалевая,
образок, где лика цел овал.
И, тебя у Господа вымаливая,
никогда б тебя не целовал».

10 июня 1942

ФАЭТОН

Возникший дерзостно возничий,
среди муравьиной звезд возни,
о Фазтон! Не озорничай,
коней отцовых не дразни!

У Мойр написано в законе,
что утром над материком
летят некованные кони,
запряжены четвериком.

Светлей надежды – колесница,
и Эос машет рукавом.
Прочь! За рубеж, доколе снитесь
нам юность в круге роковом!

В том круге, где часы рождаются,
а с ними годы заодно.
Но как до дня тебя подняться
и не упасть к ночам на дно?

10 июня 1942 – 1961

* * *

Сказкой сердце веселя,
я творю душе в угоду
берега из киселя,
реки молока и меду.

Но, в просак навек селя,
предъявляет год от году
жизнь, не изменяя моду,
бешеные векселя.

Обсосав сусальный пряник,
чадо хмуро вырастает
у семи безглазых нянек.

Сказка дремлет прежде всех.
И тогда на небесех
замок сахарный растает.

17 июня 1942 – 1961

* * *

Одинок я, как зуб во рту у Яги,
и дремучие ночи, мрачнее тайги,
и дремучие ночи, в которых ни зги,
толпятся.

И сдается, что было так искони:
на полянах в уме обгорелые дни,
как корявые, в землю ушедшие пни,
чернеют,

будто зубы гнилые – корчуй не корчуй!
И сердце разрыв-травую врачуй,
и в избушке на курьих ножках ночуй
одиоко.

И деревья грызет злая баба Яга,
злая баба Яга, костяная нога,
и грызет и бормочет старуха: «Ага!
Доберусь я!»

А в ложнице болит и ноет клык,
а Яга в древесину им тык да тык!
И шататься и тыкаться он привык,
зуб колдуньи.

30 июня 1942

БОБЫЛЬ

Дорога ползает, пыля
под сапогами бобыля.

Он кривоглаз, насмешлив, сед,
он одиночеству сосед.

И – ни в аду и ни в раю –
живет у жизни на краю.

Жизнь с краешку, чуть-чуть, бочком,
придымленная табачком.

Жизнь втихомолку, наугад,
жизнь мимо садилов и хат.

Жизнь на отшибе! Боже мой!
И он, задумавшись, домой

приходит, словно незнаком
ему от лет ослепший дом.

Сев на завалинке, один,
он властелин своих седин,

он кривоглаз, насмешлив, сед,
вытаскивает свой кисет

и, погрузясь в надменный дым,
себя не помнит молодым.

7 июля 1942

D. HUME

Я – скорбное вместилище теней,
во мне едва течет медлительная Лета,
и бледное, как смерть, березовое лето
мне примелькалось. Дни дрожат всё студеней.

Я – сцена тишины, где всянья балета,
и только три стены безмолвные у ней.

От вечной памяти проснись, закостеней,
душа, на многая полуслепая лета.

В моей пустой глубине свершается Аид,
и воет псом больным мой голос погребальный,
а чувства завились, как будто вихорь бальный,

и сотни черных глаз, зияя, зал таит.
В том-то и горе, что они мне только тетки
и жадно ждут, когда ж обрушатся подмости.

7 августа 1942 – 1961

W. SCHUPPE

Всё во мне, и я во всем.

Ф. Тютчев

Моя душа – задумчивый ландшафт,
где, мыслями о речке подышав,
о золотых полях, засеянных пшеницей,
о липах, шествующих вереницей,
и о тропинке пыльной и прямой,
по ней и возвращаюсь я домой.

Всё внове мне. Я рад, что всё мое.
Богатому пристала щедрость эта.
Нет, не профессор университета,
я есмь и Бог, и Божье бытие.
Прогулка мне полезна и целебна,
великолепный род самолебна.
И знаю я: когда меня не станет,
я буду жив огнем в кремне.
И вся Вселенная не раз меня вспомянет,
природа будет думать обо мне.

15 августа 1942 – 1961

* * *

Не знаю, кто из нас тут при чем
и что за странное увлечение,
что наше чувство обречем
на одиночное заключение.

И как же вытерпеть я мог,
как отнял у языка свободу,
что грешное слово – под замок,
а ключ со всеми концами – в воду?

И все-таки немой допрос,
и при прямом посредстве
огромных глаз и косых угроз
испытаны все тревоги следствий.

И нам с тобою самосуд
и запирательство! Ну не дети ль?
И что за процесс, когда я тут
и обвиняемый, и свидетель,

и обвинитель, и судья,
и стражник? И пока ты
еще не явилась, нанялся я
к себе же в адвокаты.

Негласно! Сколько же голосов
присяжных теперь уже наготове!
Но язык тяжелеет, как засов,
на первом и на последнем слове.

И наши встречи – головой
кивок, такой подъяремный,
как будто при нас обоих конвой
на краткой прогулке тюремной.

Не знаю, кто из нас тут при чем
и что это за преувеличенье,
что нашу любовь мы обречем
на одиночное заключенье.

3 сентября 1942 – 1962

* * *

Испуганно глаза расширь!
До поцелуев лаком,
он присосется, как упырь,
нежнейшим вурдалаком.

И сколько раз, моя сестра,
к тебе ломились в губы
нечистой страсти мастера,
сугубые инкубы?!

По капле кровь твою сося,
последний не ослаб ли?
Любил ли он? И вот ты вся
и выпита до капли.

7 сентября 1942

* * *

Я нынче сам себе чудесная погода,
и на душе такая благодать!
Передо мной умом раскинула природа
и мне на картах начала гадать.

Свой разум лагерем раскинув, как палатки,
природа перед битвой ворожит.

И сдуру кажется, что всё теперь в порядке,
всё, что лежит, и скачет, и дрожит.

Куда же ты, ума больничная палата?
Построен день, как желтый-желтый дом,
и вместо лат – воскрылия халата,
и вместо боя – ангельский содом.

О чем задумалась? О чем гадать приспело?
Над картой воеводин дух склонен.
На землю вражескую указывает смело
и в небо пальцем попадает он.

7 сентября 1942 – 1946

* * *

Не верь, что я тебя любил!
Мне самому не верится.
Я изо всех старался сил
душой с тобой померяться.

Ты думала, от схватки той,
от шума-гама-гомона
оглохну я и стану твой.
Ан нет! Любовь изломана.

Был этот миг, как назло, мал,
но мил, затем что барственно
я сам любовь, как трость, сломал
и швырк с размаху под ноги.

13 сентября 1942 – 1962

В ТРАВАХ

Как обычно и нынче: ромашки, камушки, мошки,
и в нагретой траве по-зверьковому вновь притулись ты.
Стрекулистов стрекочут в гетры обутые ножки:
то кузнечики скачут, как англичане-туристы.

Расперло, распарило травы. Кипят облака! Но какая
прекрасная жаркая каша! Хлебай же ее до отвалу,
душа, и, бездумью и лени опять потакая,
пойми, что тебя никогда и нигде не бывало.

Ну а как же хлебать, если нету ни ложки, ни плошки?
И зренья дорожка бежит, шевеля стебельками,
в тропических дебрях. Ромашки, камушки, мошки,
и жук опрокинутый сучит по-детски ногами.

20 сентября 1942 – 1962

* * *

Не раз я на руки плевал:
авось тоску осилю!
Цирюльник или коновал,
на скачках сердце взмылю.

Любить – ну что за ремесло!
А я и рад стараться –
сто раз на дно, как бы назло,
бороться, упираться.

Художник или брадобрей,
сапожник ли недужный,
но самого добра добрей
с тобой бы стать мне нужно.

Кузнец ли я или палач?
Но что же в том такого,
коль счастье у меня, хоть плачь,
заковано в оковы?

Нет! Имя на дверях квартир
я, живописец, вывел,
а мир, открытый как трактир,
постыл и опротивел.

Авось! Я на руки плевал.
Что может быть плачевней?
И я тебя размалевал,
как вывеску к харчевне.

21 сентября 1942 – 1962

ПСАЛОМ

Аз усумняюсь. Есмь сплошной сумятицы псалом,
горящий глас старообрядца,
косматей волосом, чем сам Авессалом,
и в голове моей Ты можешь затеряться,
как в детских дебрях. Но Тебя пою,
душой рыдаючи до умопомраченья.
Ты ревность зришь великую мою,
мое тысячесердое раченье.

Аз собран есмь у ног Твоих псалмом,
всей горечи и скорби красноречьем.
Кипучим городом валяюсь за холмом,
опутанный Твоим бурливым Седьмиречьем.
Лежу, вытягиваясь всем умом
к Тебе, как бы рукой – предместьем, как предплечьем.
Всем скопищем домов хочу Тебе молиться
аз, духа Твоего развратная столица.

Ты, Боже, зришь столпов или колен преклон.
Как стогно, я открыт Тебе широко
вместилищами грозного порока,
моей души раскинув Вавилон,
где нараспашку всё – на улицах, под кровлей
кипит смятеньем, блудом и торговлей.

И жизнь моя не торжище ли есть,
где суетой торгуют на таланты,
где горького безденежья не счесть,
где, Господи, еси убог и рван Ты?

Аз есмь ширококаменное море,
подобное Содому и Гоморре,
и, не успевши выйти из пелен,
аз, Боже мой, Тобой испепелен.

Но нет! Аз есмь Господень вечный град,
открытый тысячью и уст и врат,
и сколько сердце Божье ни гневи я –
распутная блудница Ниневия, –
есмь Божий город и безумьем горд,
в песках и роскоши блаженно распростерт.

Аз есмь священный Иерусалим,
Господним гневом крепок и палим.
Аз есмь Твой гордый Рим и мудрые Афины,
орлиный клик и зрак совы,
и не сечет Твой меч моей повинной,
в грехе склоненной головы.

Аз есмь, витийствуя и плача, Византия
с язычники и ангелы святые.
Аз есмь Твоя последняя глава
той книги, что раскрыта, как ворота
церковные, и кривороты,
как закоулками бредущая молва,

юродиво гугню про что-то,
лохмато-бородатая Москва.

Перед Тобой собрался я толпой,
великой давкой, руганью и бранью,
и я молюсь, убогий и слепой,
о подавании сему собранью.

И се бросаюсь городским прибоем,
потоком улиц, и домов валы
гремят Тебе раскатами хвалы...
Но, Боже, боязно с Тобой нам обоим,
что мы себя столь беспощадно строим
и что впадаем в смерть, как в бесноватый грех,
как бы в одну из тьмы прорех
на грубом рубище гноящегося мира.
И се есть, Господи, Твоя порфира.

Пою псалмы, ревет моя триодь,
как плоть стихирная: «Велик, велик Господь!»
Греми Ему хвалу, моя стихира!
А Ты, Ты в городах моих погряз.
А Ты, Ты нищий Царь еси. И усумнихся аз.

7 ноября 1942 – 1962

* * *

Бледнеет снег, как чистое лицо,
жесточкой стужей добела умыто.
И мы с тобой выходим на крыльцо,
плывущее, как утлое корыто,
в морозном море. Бедами изрыта,
вздыхает на ухабах, не избыта
еще дорога. Год сковал нас, что кольцо.
Печалимся. Но пусть всё будет шито-крыто.

К нам грусть посваталась. А мы-то, мы-то! –
Бледней, чем снег, твое лицо.

То был один из светлых февралей,
когда в дугу нас гнут последние морозы,
когда последний снег падет лица белей,
когда еще молчат задумчиво угрозы.
Но я, печальный дуралей,
не мог усвоить сей прозрачной прозы.

И вновь бледнеет снег, как тихое лицо,
жесточкой стужей до смерти умыто.
Нас обручило черное кольцо,
на гробовое вышли мы крыльцо
и дрогнем и стоим. И сколько пережито!

И как же я любил твое лицо!

1 декабря 1942 – 1962

* * *

Ужель я бессмертный голован,
великая бессмертная дубина?
Последней рощею шумит моя судьбина,
и мне могила – скорбный котлован,
откуда вырасту слепой кирпичной башней
еще беспечнее и бесшабашней.

А тьма окаменелых голосов
есть клинопись времен моих библейских.
Я стану вновь владыкой дел житейских
и повелителем усатых псов.
Смиранным стану горестей косцом,
отцом сосцов моей печали,

рабом, и мудрецом, и крохотным писцом,
смиренье ставящим в начале.
День – это дань богам. Но гневно мчится зданье,
винтом врезается в погоню за звездой,
и Божьим облаком над ним парит сознание,
и взрыт небесный круг, как раной, бороздой.
Плетется трудный плуг, и год лежит морщиной
на лбу вселенственному, открытом всем ветрам,
а древо глиняное шевелит вершиной.
Кочуют чувства. Воду пьют кувшины,
как бы обиду. Дрожь несется по шатрам.

7 декабря 1942 – 1962

* * *

Свои затеи походя коря,
себя браню одним из пустомель я.
Моя ль вина, что, будто в подземельи,
во мне гудит эпоха дикаря?

Что мой язык блудит, и суесловит,
и пляшет, словно дикий сын Огня,
и славит всё, что в слабом мире словит
душа, ушедши мигом из меня.

Когда ж вернется с призрачной добычей,
мне снова плоть дыханием согрев,
я, памятуя праотцев обычай,
слепым и черным стану чревом чрев,

утробой мироеда-всеглотая,
и, мяса на кусочки не деля,
благословлю тебя я, золотая,
от солнца ошалелая земля.

Деревья в шкурах, выросли предметы,
и я с корой сожру их поскорей.
Да здравствуют, дикарствуя, поэты –
наследные потомки дикарей.

7 декабря 1942 – 1962

1943

* * *

Словно воды, полные прохлады,
льются, льются ласковые взгляды.

И, кругами ширясь, как озера,
наплывают два глубоких взора.

И того гляди со мной столкнутся,
в них, студёных, жутко окунуться.

Камнем ко дну, будто в жаркий омут,
кану я, как и другие тонут.

По ущельям, пропастям и скатам
Ноевым потоком и каскадом

хлынув, плещут, будто водопады,
бьют и хлещут бешеные взгляды.

9 февраля 1943 – 1962

МАСЛЕНИЦА

Гремит собор во все колокола,
как кучер, купол сдвинув набок лихо.
Глаза – как праздничные зеркала.
Куда-то вскачь кривая понесла
среди конского и топота и пыха.
О масленичная неразбериха!

Горят снега, до слез накалены,
и утюгом по ним проходит полоз.

Пусть комьями летят румяные блины.
Глаза в сумятице нещадно влюблены,
в пургу срывается осатанелый голос –
на том, что жизнь сама с собой боролась.

Блины, как оплеухи, шлеп да шлеп.
И не понять, где счастье, а где лихо,
когда судьба оглоблей въедет в лоб.
Чужие очи пью до дна, захлеб.
Да здравствует весна, стряпуха-повариха!
О масленичная неразбериха!

15 февраля 1943

* * *

... Я же, рожу скорчив:
«Тише! Не спеши».
Почерк неразборчив
у твоей души.

Ночью нависала
черная строка,
а ее писала
робкая рука.

В тонком завиточке
скромной буквы «я»,
словно в горькой точке,
вся-то суть твоя.

Дай же оглядеться!
Станет ли видней
жизнь твоя от детства
и до наших дней?

Влюблена ли, нет ли,
но клянусь, ей-ей,
нечто вроде петли
в подписи твоей.

25 марта 1943

* * *

Забубенная тишина
по деревне идет с мешком...
Будто курице горсть пшена,
ветер кинул в лицо снежком.

Отшумела уже зима,
отгулял мороз-богатырь,
и подводит округу тьма
под великий свой монастырь.

Отыгрался червонный закат
и, на черную ночь посмотрев,
видит: высунулась из-за карт
смерть-лукавица, дама треф.

Кто же, инок я иль игрок?
На сермягу ль бубновый туз?
Неужели же между строк,
как бы между дорог, плетусь?

Забубенная тишина!
Чтоб отпраздновать смерть мою,
сорочинского ли пшена
приготовили на кутью?

Как свести мне концы вестей!
Где же выигрыш, где урон?

А судьба четырех мастей
бьет со всех четырех сторон.

29 марта 1943

MIR ZUR FEIER

I

Я родился в Благовещенье.
В этот день отчего-то птицы
гнезда себе не свивают.
И у птиц есть свои приметы.
Что же я за птица такая?
Каковы у меня приметы?
До сих пор себе не отвечу.
Но сдастся, ей-богу, право,
что не важная пава, не попка,
не индюк, краснозобый чиновник,
не щебечущая канарейка,
не орел-стервятник, не коршун
и не серенькая пичужка,
не воробышек никудышный,
не кукушка-вещунья, не чижик,
не очкастый ученый филин
и не сокол удалый я.

Дай-то Боже, чтоб был я, как в сказке,
заурядным гадким утенком,
пусть бы мне и вовек не сбросить
серой утицы оперенья,
не пускаться в путь лебединый!
Но молю Тебя, Господи, дай мне
пред самим собою – не боле –
спеть свою лебединую песню!

Добрый Боже мой, старый сказочник,
чуть насмешливый древний Андерсен,
расскажи мне другую сказку,
ту, в которой не бездыханным
богдыханом чопорным буду,
не дурацким китайским императором,
не заводной игрушкой,
а пичужкой многоголосой,
соловьем, побеждающим смерть.

II

Я родился в Благовещенье.
То во городе было во Казани,
на вонючей речонке Булаке,
в доме Плюшкина-Пастухова.
Ну а номера я не помню.
Ишь какая скверная память!
Забывает важную мелочь,
да хранит ненужное горе.

Ох ты гой еси, горе луковое,
кабы памяти ты очи выело,
словно дымом горьким, и сослепу
она по миру нежной нищенкой,
тихо жалуясь, побежала бы!

III

Я родился в Благовещенье.
Боже, Боже тысячекратный мой!
Дай увидеть мне день рождения!
Чтобы я без ума, без памяти,
словно слово, на ветер брошенное,
словно семя, таящее дерево,
многошумное, многолистое,
прошумел над жизнью своей.

Дай увидеть мне день рождения,
дай опять состариться заново.

7 апреля 1943

* * *

Я спал или думал – не всё ли равно?
Когда это было – теперь иль давно?

Всплеснулась ухою горячей заря,
моря из тарелок своих повскакали,
дожди побежали, водою соря,
и алые маки горели в бокале.
А черные скалы, как черти, кричали
и выли, как псы на цепи, на причале.
И тучи набрякшие об землю – трах!
А небо сжигали на красных кострах,
и звезды, как искры, метались и гасли,
и плавало солнце в расплавленном масле,
и прыгали камни, как серые жабы,
и плюхались с плеском в речные ухабы.
По рытвинам времени год колесил
на паре соловых фургоном бродячим.
Разгону не стало и не было сил
тащить его жалобным месяцам-клячам.
Весь лес ошалелый пускается в пляс,
река удержать не может колес,
деревья распахнуты – в недобрый час.

И это называется мирозданием.

17 апреля 1943 – 1962

* * *

Ах вы, кони мои вороные.

Блатная песня

Тучей темного шелку
налетела ты враз.
Ну а я увидал втихомолку
только черную страсть без прикрас.

Всё, что было игриво
и казалось нежней,
разлетелось вдруг вихрем, как гривы
поскакавших на волю коней.

Ни с какой стороны я
не увижу других.
Ах вы, кони мои вороные!
Пара диких очей дорогих!

Распахнулись ворота,
хлынул бешеный сад,
и несется, шалая, природа
в опустелую душу назад.

Но в безумье, как в шелку,
я увидел просвет:
в туче темного душного шелку
ничегошеньки грозного нет.

Наступило затишье,
и опять ты звучишь,
будто тихое четверостишье,
а глазами молчишь да молчишь.

2 июня 1943

НА ЛОДКЕ

Les vogues se cabraient comme des italiens.

H. Casalis

Хребты, как лук, напрягая, гребцы
свой путь к эпохе держали.
Валов бесились жеребцы,
от жадной похоти ржали.

Казалось, не ветер их судил
для этих дел и для бега:
вот-вот сорвутся они с удил –
и пропадай телега!

Вот-вот понесут, и такой тарарах,
что в топоте, реве, гаме
и не заметишь, как лодка – в прах,
повозкой кверху ногами.

Но будь что будет! Гони! Гони!
И в этом аду, в бедламе,
в содоме всплескивали они
вспененными задами.

Бей по бортам, ко всем чертям!
И вот летим с откоса.
Быть не одной, а пяти смертям –
пропадайте же, все колеса!

На камни, большие что конский зуб,
мы скачем в ярости пенной.
Но руль что кнут орудует, груб,
и кони стали степенны.

Они не забудут – испуг не в счет –
урока, данного строго.

И вновь перед нами широко течет
реки большая дорога.

25 июня 1943

ИМЕНИНЫ

Я праздную, пусть даже немо имя.
Ведь и меня когда-то нарекли,
и позван я губами не моими
к передвижению ногами на земли.

Я праздную, что я не бестолку толоч
слова торжественные в ступке,
что Бог мой от меня не спрятал каталог
живых и мертвых, что мои поступки

следит мой ангел. Рад, что отличен
тем, что и мне дано название,
что людям я сродни, что именем включен
в огромный черный том существованья.

18 июля 1943

МОЛИТВА

Друже и покровитель,
Сергию Радонежский,
буди ми заступник
перед миром Божьим.
Побожусь – ей-богу! –
нет на белом свете
ни души единой
моей душе на помощь.

Аз есмь червь ничтожный,
былие, тростинка,
трепещущая смиренно
от ветерочка Господня.

Жаль, что я не католик!
Было бы очень славно
иметь всегда за плечами
доброе дядю святого:
если где напрокажу
иль согрешу телесно,
маху ли дам в душе я,
буди ми покровитель,
благий вечнозаступник,
Сергию Радонежский.

18 июля 1943

* * *

Что бы ты ни говорила –
мне, будто для врага,
зелье по книге варила
чертова баба-Яга.

Чару полыни с перцем
молча пью и скорблю.
И сжатым в кулак сердцем,
стиснув зубы, – люблю.

27 июля 1943

* * *

Тоску упрятал я на дно,
но снова, как в Начале,

мою печаль давным-давно
качели вод качали.

Но, вынырнув из глубины,
вскочив на плечи вала,
тоска виденьем тишины
опять закочевала.

Когда бы стать как бури вой,
рвануться вместе с Этной
и мир объехать на кривой
с тоскою кругосветной!

июль-август 1943 – 1962

* * *

Науке-даме, мировой гадалке,
гадающей по звездам и годам,
на мыслях, размахавшихся как палки,
на картах крапленых вселенской свалки,
за тайны мира и гроша не дам.

Боюсь, что мне их ведать ни к чему,
что я по разуменью моему
в огромной голосистой перепалке
ну разве черта лысого пойму.

2 августа 1943 – 14 января 1966

* * *

Я легкая туманная обитель,
куда, ударами беды разбит,
сей мир спасается от горя и обид,

простоволосый мир, последних Ниобид
прибежище.

А вы скорбите ль
о нем, сестрицы строгие мои,
прозрачнорукие недели?
И вы, о дни, вы, чистые ручьи,
в которых помутилось враз сознание
и сделались они совсем ничьи?

Я возникаю им как трепетное здание,
и скорби и тоски великий скит,
раскинутый в трагической дубраве.
Сюда весь мир от жизни сгинуть вправо,
когда от сей немилосердной Яви
его с макушки и до пят томит.

Ко мне ползут на четвереньках реки,
понуро тащатся стада горбатых гор,
хромают рощи и кусты-калеки,
и ошупью слепой подходит кругозор,
брюхатые холмы в мучениях родильных,
паломницы-дороги в платьях пыльных
и нищенские оборванки-тучи,
утеса аскетический скелет,
юродивый плаксивый дождь летучий
(он недоумок в мертвой пляске лет),
осины, что листвою в пляске Витта
так некрасиво треплют и дрожат,
и пропасть черная, чей рот уже разжат,
хотя сама она молчанием повита.

Деревни босоногие вериги
покорно тащат в облаке труда.
Раскрыв навеки каменные книги
и забывая о предсмертном иге,
здесь молятся кривые города.

Для улочек косых и кривобоких,
как девочек приютских, для домов,
как для закрытых на замок томов,
таких неисчерпаемо глубоких,
для Пятикнижия из жадных этажей,
для тоненьких, как тросточки, людей,
для зыбких, как Паскалевский тростник, –
для них я здесь, для них одних возник.

Я не видал еще – ни-ни – такого сброда.
И как же мне с такой оравой быть,
когда я каждого калеку и уroda,
открыв ворота, должен приютить?

Я легкая туманная обитель
и целый мир укрою от невзгод.
И вот в глазу моем бежит (не по орбите ль
великой жалости?) полынно-горький год.

7 августа 1943 – 1962

* * *

Я шел, не выспавшись, растрепанный, босой.
В орешниках обрывки тьмы висели.
Осыпало меня студенною росой.
На солнечной веселой карусели
уже вертелся мир. И взблескивали воды,
как лезвие внезапного ножа.
Я посетил тебя, от жадности дрожа,
о ярмарка преярая природы.
Таскался по лугам я, как цыган,
и странствовал в яругах и увалах.
И каждый куст меня манил, как балаган.
Чудес и тайн исполнен небывалых,

амфитеатром ширился овраг,
и было мне светло до боли.
И залежавшийся в шумливой роще мрак
вставал играть трагические роли.
Я видел состязание стезей
в траве кипучей, а в слепой лазури
на черном облаке, казалось, плыл Тезей
и тополиный пух летел, что куриий.

Всё это хорошо, но только, Бога ради,
довольно по пояс в траве брести,
довольно наблюдать природу на параде.
Как руки на груди, желания скрести,
в Наполеоны крохотные глядя,
а после в голове попробуй наскрести
мыслишку вшивенькую Христа ради.

12 августа 1943 – 1962

* * *

Не знаю, право, как и быть,
любить или нет? – не знаю.
Хочу желанье погубить
и снова начинаю.

Луна в пруду, и этот пруд
лица и бумаги бледнее.
Так пусть вовеки не отопрут
того, что запер на дне я.

Так под замок и в воду ключ!
Я опись любви запрятал.
Всем сердцем, горячим как сургуч,
ее я опечатал.

В душе я всё конфисковал.
И кто пошел на взлом бы
того, что я с тоски сковал
слезой свинцовой пломбы?

14 августа 1943 – 1962

* * *

В житейской лавке я стою,
забыв тебя, шальную.
Стою и душу продаю
и оптом, и вручную.

Зачем же просишь столько раз
тебе весь мир отмерить?
Я сразу выполню заказ,
ты можешь фирме верить.

Ведь я и в пиджаке Адам
и чувств в карман не прячу.
Свою любовь тебе отдам,
как с целой жизни сдачу.

На мелочь эту накуплю
того, чего и нету.
Возьми скорей, пока люблю,
разменную монету.

15 августа 1943 – 1962

* * *

Беззвучно вскрикнула звезда
и в обморок ночной упала,

где тени длинные вода
в душе своей речной купала.

Иль сердце с нити сорвалось,
и снится ныне мне вдобавок
вся путаница струй, волос,
прозрачных пальцев и купавок?

А до рассвета три версты,
но мы не пропадем, не сгинем.
А лилий вязкие персты
вцепились в горло берегиням.

И нам не страшно, что темно,
что в зорком сумраке совином
как память лысая – гумно,
а в ней косматый дым с овином.

26 августа 1943 – 1962

* * *

О, вальса дорожка скользкая,
пропащая тропа!
Старательно пани польская
выплясывает па.

Вскипает, как шампанское,
пока живу, задор.
И скажешь барски-панское:
«Madame, je vous adore!»*

8 сентября 1943

* Мадам, я вас обожаю! (*франц.*)

* * *

Ein nervtzer Mensch auf einer Wiese
wäre besser ohne sie daran...

*Chr. Morgenstern**

Гляди-ка, человече,
чуденький человекина,
как лэга кипучее вече
на все лады расцветено,
как луга море сухое
июлем взбаламучено
и лето слепо-глухое
перечерчено и измучено.
Стеблями голосуют
травинки и малые цветики,
и ангелы мир рисуют
по правилам эстетики.
Жар валит издалеча,
о Божья матушка-печенька!
Нырни же в траву, человече,
крохотный человекенька!
Лежи, осыпан жуками,
цветочной пыльцой и мошками,
и дрыгай, как жук, руками
и понемножку ножками.

11 сентября 1943

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Ожигая свежей болью,
по осеннему раздолью
ветер – в десять верст длины.

* Philanthropisch. Ст. 1–2.

И поля небесной солью
накруто посолены.

И мороз великий в ригу
урожаем повалил.
Топят печи что есть сил.
Кто до слез земли ковригу
крупной солью посолил?

Заводили жизнь ржаную
на каких дождях? Скажи!
Нет, тебя я не ревную,
не клянусь судьбу цепную,
не сбегу за рубежи.

Сам ли трудный хлеб кромсаю,
а меня берет в щепоть
страхом веющий Господь?
И смиренно я кусаю
сей черствеющий ломоть.

24 октября 1943 – 1962

* * *

В безмыслии вещей я прозябаю
на каменный иль деревянный лад.
Зеленый клен шумит, подобен краснобаю,
у дачных незадачливых палат.

В сто тысяч рук витийствует природа,
ораторствует громом и водой.
Душа легла на землю, что колода,
и молодой поит она бедой.

В сто тысяч веток рощи голосуют,
в сто тысяч горлышек звенит земля,
в сто тысяч солнц лучами полосуют
леса, луга, поляны и поля.

Ужель и сам напьюсь я из колоды,
а не из речки, а не из ручья?
И эта демагогия природы
несносна мне: она для дурачья.

3 ноября 1943 – 1962

* * *

Этакое счастье привалило
целым возом вечера, и вот –
самовара огненная лира
и чай слагающий рапсод.

И от страсти – белой печи инок –
раскраснелся легкий уголек.
В хороводящей толпе чайнок
сладко тает сахару кусок.

Милый чайник! Носиком не фыркай,
вверх его не шибко задирай!
Пусть душа – румяный бублик с дыркой
и над ней шумит мушиный рай.

Все заботы в блюдце утопить я
разом мог бы. Резвый вьется пар.
Нежно длится вечность чаепитья
и, как Бог, вздыхает самовар.

24 ноября 1943

* * *

Сибирь мохнатая! Во сны твои дремучие,
как в шубу из огромных ласк медвежьих,
я погружен. Меня, ничуть не мучая,
качаешь на глубокоснежьях.

Недурно мне живется, естся, пьется, едется.
Скрипит смычком скрипичным полоз.
Как из берлоги, из тайги ползет Медведица.
Морозом перехватывает голос.

Как тесным кушаком, морозом перехваченный
до горла, намертво, я еду вдоль обочин,
и что там впереди, за ночью раскоряченной, –
нимало этим я не озабочен.

2 декабря 1943 – 1962

* * *

Валит всей шубой зима неуклюже-медвежья.
В мире сугробы – барахтайся, падай в ухабы!
Что чернокнижье, когда нас слепит многоснежье!
В этой пурге и буране дойти до греха бы!
В поле сознания – белым-бело,
память-бедняжку совсем замело.
Черные точки мелькают, как вещие вороны,
ветры кричат и толкают на все (на четыре) стороны.
И час остывает за часом –
всё морозней, белей, студеней.
И Господь напевает басом:
«Ямщик, не гони лошадей».

14 декабря 1943

* * *

Я брел, а дождь стрелял в мое пальто
зарядами немалого калибра.
Была погода на манер верлибра,
и шла навстречу вещь, как решето.
Дырява так, что мысли удержаться
в ней мочи не было, – чуть не до слез,
и начинал гуляка-ветер жаться
на перекрестке и дрожал, как пес.

Ты, вещь круглейшая! Бересты и мочала
пошло немало на тебя. Тягот
не знала ты, вселенское начало, –
катись же, бедная, по собственной орбите,
как вековечный год,
среди глухих событий.
Попробуйте меня о чем-нибудь спросите!
Я неуч и не знаю ни аза.
Я вижу Божий мир, как знахарь в мутном сите.
Просеется – мука да пыль в глаза.

16 декабря 1943 – 1964

1944

* * *

Мохнатых звериных матерей
прабабка-тайга хвалила,
а сама медведицы матерей
на всех стволах вадила.

Раскатывалась до воды,
ревела и вправо и влево,
и грозно урчало на все лады
косматое древнее чрево.

И шла к бесстрашной страсти рать
когтистых и окрыленных
визжать, и драться, и замирать
в тисках и зубах влюбленных.

Тайга любовные права
дала и жукам, и рыбам,
и даже девочка-трава
росла от страсти дыбом.

Лягаясь, вскидывала в бега
и руки, и ноги шало,
и тайну весеннюю тайга
совсем разнагишала.

4 января 1944 – 1965

* * *

Я в город обмакнут душою, как в каменный омут.
И, капельку мути на кончик пера подцепив,
я ринусь к бумаге слепой и просторной, как память,
и кляксою шлепнусь на умную белую гладь.
В уме рассветает. Петрополь, Петрополь, Петрополь!
Ты рухнешь не прежде, чем трижды прокличет петух.
Не зодчий, а демон слагал туманные камни
в холодные строгие строфы проспектов твоих.
В уме рассветает. И мглы растворились ворота,
и серой улыбкой открылись мне лица домов.

6 января 1944 – 1965

* * *

Я набожен и с совестью в ладу,
я Труса праздную не раз в году
и Преподобному Лентяю,
целителю, акафисты читаю.
Иначе, как руками ни маши
и языком как бойко ни орудуй,
всё будешь лишь трудов огромной грудой,
не обрета спасения души.

22 января 1944

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПСАЛОМ

Я родился в Благовещенье.
Слава Тебе, Господи!
Во Святом быв зачат Духе,
приобщен есмь к одиночеству,
ко скотам, древесам земным,

ко снегам, широким как шуба,
к путям, изборожденным морщинами,
к избам, черствым как плоть старухи,
к тишине душевной и к бородатым,
премудрым Твоим созданьям.
Слава Тебе, Господи!

По многотрудной лестнице
месяц за месяцем
восходя ко смерти,
достиг я возраста Иисусова.
Слава Тебе, Господи!

Не творил чудес я,
не шествовал со ученицы своя
и куролесил не вволю.
Но страдаше душа моя,
и всё же
смирненно взираю ввысь
и, не жалуясь, воплю:
«Слава Тебе, Господи!»

Как окину оком своим
половину жизни моей,
канувшей капелькой слезной
то ли весною, то ли по осени,
так возрадуюсь горести своея.
Слава Тебе, Господи!
Я родился в Благовещенье.

7 апреля 1944

ARS LONGA – VITA BREVIS*

Она пустяк, консервная жестянка.
В помойной яме роется нога.
Воняет потом рваная портянка,
косит каблук смазного сапога.

Бедняк-сапог! Он жалко просит каши,
плотает от обиды грязь.
И ползают навозные букашки
вокруг тебя, мой обнищавший князь.

Кусочек кости, клочок собачьей шерсти –
твое наследство. С утренней поры
глазами окон, дыр и всех отверстий
зевают внутрь себя поганые дворы.

О, что за чудный мир богопротивный
умами искалеченных вещей!
Храните, Музы, этот мусор дивный,
как некое подобие мощей!

А люди бледными бредут богами,
не жалуя самим себе даров,
шагая скошенными сапогами
в помойных ямах утренних дворов.

11 мая 1944

* Жизнь коротка – искусство вечно (*лат.*).

ВАГНЕРИАНЦЫ

Только вспомнишь, как занавес плещет
зелеными волнами плюша!
Театральные души, Боже,
пощади, спаси и помилуй!

Только вспомнится, как на палочке
поднимается громада музыки
и из раковины несется
океанский блаженный рев!

А навстречу стремится море,
рукоплещущее в восторге.
Деревянные полчища кресел,
как ладьи иль морские кони,
рвутся в Валгаллу сцены.

Вы, плешивейшие викинги,
стародевствующие валькирии,
замирающие девчонки,
рыцарята без дамы сердца
и скучающие меломаны!
Театральные души, Боже,
усмири, спаси и помилуй!

26–31 июля 1944

ДУШЕ

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)

*R. M. Rilke**

La chose la plus importante a toute vie
est le choix du mйtier.

B. Pascal

Меня наполнить, как кувшин
Водою и цветами.

Б. Пастернак

Давно несло меня на слом.
Как дом, себя я бросил,
занялся жизни ремеслом,
труднейшим из ремесел.

Катись с заоблачных вершин
в объятия профессий,
но с горя гиря и аршин
в промере и провесе.

В кого же уродился я,
торжественный сапожник?
Я, Боже, сам себе судья,
копеечный безбожник.

И вот ленивою мечтой
дойду до самосуда,
что я – чистейшее Ничто,
пустейшая посуда.

* А вдруг умру – куда же Ты-то? / Я Твой сосуд (а вдруг разбитый?). *Р. М. Рильке. (Перевод С. Петрова.)*

Сдается, сам себя леплю
до блеску и до поту.
Да только что же я люблю,
себя или работу?

Так пусть, охвачены горшком,
в земле моей паскудной
торчат весь век цветы торчком,
треплясь листвой лоскутной!

Пусть я строгаю, брею, шью,
стираю и рожаю,
пусть я баклуши даже бью,
но тихо песенку свою
до смерти провожаю.

Пусть я паяю и пашу,
ваяю наудачу.
Покуда делом я дышу,
я всё же что-то значу.

Душа! Скорей в уме зашей
греховную прореху
и не гони меня взащей
судьбище на потеху!

Душа моя! Не обессудь,
что я тебя капризней.
Пустуя быть – не в том ли суть
и самой жадной жизни?

4 августа 1944 – 27 апреля 1965

* * *

Я тело получил в наследство, как лачугу.
Налогу за нее немного я плачу.
Вверяюсь сам себе, как палачу,
а крохотному року – будто другу.

Домок хиреющий я запер на замок,
а сам умолк внутри, как будто нету дома.
И сто, сто десять пульс – и ломится истома,
а сердце сжалось в бешеный комок.

7 августа 1944 – 1965

* * *

Я – смутный спутник самого себя же,
но принят в дом широкой тишиной,
как вдовушкой или чужой женой,
а вместо окон ползают пейзажи.
Цветные эти мысли шевелю,
и жить как дочери душе велю,
и за собой, как тень, обхаживаю дом,
где темные шаги слоняются по стенам.
Неслышные враги заботятся о том,
чтобы я стал совсем, совсем бестенным.

7 августа 1944 – 1965

* * *

Неужели я жизнепропойца?
Разгуляться вышел простор.
Бойся грома-молотобойца,
слишком громко грохочет Тор.

Всё – авось! Только чет да нечет.
Делать нечего – ждешь-пождешь.
Чересчур этот Тор кузнечит
и кует мне цепь или нож.

21 августа 1944 – 1965

* * *

Откинь раздумья, как челку,
рукой проведи по ним.
Поедем с тобой хоть к черту,
но лишь бы остаться одним.

Пусть всё лежит в саквояже
до самых поздних седин.
Ты одна, одинока, я же
и менее, чем один.

И не съедем с жизни, как с хутора,
и, как ночь, ворота запрем.
Одиночество вполтора
лучше, чем вдвоем.

14 сентября 1944 – 1965

* * *

Мороз длиною с год. Совсем ослепла память,
а год – он сед, как век, он зябкий дед. И так,
начну я с вечностью под вечер самсусамить,
грошовой мудрости продавши на пятак.

От жизни наугад, от вечности базарной
и от зимы крутой, пушистой, озорной

не стану залпом пить стакан воды отварной,
не погонюсь в пургу за мастью козырной.

Торговка в шубе спит. Сусальные разводы
и слезных мне она сосулек посулит.
Но кто же мне во сне преснеющие воды
и черствый черный хлеб, как язвы, посолит?

Тысячеверстного сибирского радушья
умом не обогнуть, пером не описать.
Здесь на гербе и кнут, и дудочка пастушья,
но под нее вовек не стану я плясать.

Под жернова годов мороз, мохнатый мельник,
всю муку и тоску – всё валит с потолка.
Но знаю я, слепой и маленький отсельник:
всё перемелется, посыплется мука.

Иные, знать, меня Камены воспитали,
что не кляню тебя, грубосугробный плен,
что не умру с тоски на койке в госпитале,
как некогда Рембо, Камоиньш и Верлен.

7–8 ноября 1944

* * *

Очень нежной тишиной
окружен я, как женой.
И, просторными руками
комнатенку охватив,
тихо, как немой мотив
над глубокими веками
мыслей, чаяний и книг,
ничего не замутив,
образ женщины возник
той, которой нет в помине,

той, которой в мыслях нет.
И в лимонно-кислой мине
я погряз. Но мой портрет
стал от этого не хуже,
ибо тише, уже, туже
очень нежной тишиной
окружен я, как женой.

17 ноября 1944

* * *

Из дома, как из черепной коробки,
где много дум, и дыма, и забот,
мы вышли в сад. День пережит за год.
Ум перешит на новый лад, и вот
в саду ползут задумчивые тропки.
Из Божьей трубки облаков колечки
плывут по высям расписным.
Как деревянные овечки,
стоят скамейки. Сядем, посидим.
Что было днем, уже забыто,
как сто веков назад. Не вспоминай, не тронь!
И пруд стоит, как тихое корыто.
Навстречу вечеру лицо твое открыто,
как чистая прохладная ладонь.

19 декабря 1944 – 20 марта 1965

1945

* * *

Я любил осторожно, любил паутины нежней,
я к ней, словно ко сну, всё хотел и не мог прикоснуться.
Но мне виделся сон, наяву же меж мной и меж ней
было так далеко, что и сердцем нельзя дотянуться.

Сердце висло на ниточке. Пакостный сон наяву!
Я слезами и тушью замажу со злости картинку,
над которой так тихо трудился, и нежность порву
всею грудью, в бегу задыхаясь, как рвут паутинку.

За тобой я бежал. Только ты всей душой далека,
и меня ты рукой, как помеху себе, отодвинешь.
Сердце дрогнет на ниточке. Только не очень – слегка.
Паутинка разорвана. Я успокоился. Финиш.

11 февраля 1945

РАБЛЕЗИАНЦЫ

Они утонут в телесах,
как в воздухе нагретом,
и сад завязнет в их усах
веселым виногретом.

О нет! Они не точат ляс,
и жизнь у них в порядке:
они пируют, развалясь
арбузами на грядке.

У них всё спело и кругло
и щеки – как девчонки.

Само вино в них залегло,
как в погребях бочонки.

25 февраля 1945 – март 1965

МОНОЛОГ ЮНИЯ

Я – человек, которому легко
и жить, и мыслить, и любить, и плакать.
Я буду пить спокойно молоко
и попадать, как пальцем в небо, в слякоть.

Пусть не скажу я ни про что «забуди!»,
пусть губы в нежной немочи трясутся
и пусть течет по-детски Млечный путь
из опрокинутого блюда.

Я по весне спешу, не дую вовсе в ус, –
под мышку ум, – спешу, как бы колдую.
И пусть я лучше даже обожгусь,
но все-таки на молоко не дую.

Мне думы – херувимы нагишом,
и по-собачьи я душой виляю,
и у Вселенной на дворе большом
авоськой крохотным гуляю.

Бывает, вместе с облачком грущу,
рычу тихонько, словно дальний громик,
и гробик года на себе тащу,
как пустоты закрытый томик.

Бывает, мрачной тучкой в кулачок
всем сердцем соберусь. Оно забьется,
грозя цыплячьей бедой на пятачок,
и дождик ангельский прольется.

И плакать и смеяться я хочу
над жизнью и над тем, что мне дано в ней.
Земля! Прими мою мочу
и слезы радости сыновней.

17–30 апреля 1945

* * *

Ни имени мне и ни тела,
меня невозможно коснуться,
и я, как во сне, пролетело
над тем, что не может проснуться.

Итак, ни к чему нарицанья,
но если возможны сравненья,
я – облачной мысли мерцанье,
мгновенная тень дуновенья.

2 мая 1945

* * *

Я становлюсь богаче и старей,
но жаден жалостью первоначальной,
а годы, словно ряд монастырей,
в душе воздвиг я на помин печальный.

Не предан быв ни скуке, ни разбою,
внимал и древле я веков развал,
и тесной и простецкою избою
я тело тяжкое и грешное назвал.

Но жертвы жалобной, отчаянно великой
ужель не примет долгорукий Бог?

Я перехожей скорбною каликой,
и одинокий и столичный,
сбирал по грошику то стон, то вздох.

Я не громил камней в каменоломнях,
не барствовал в забавах у царей,
я не гранил гранит на пьедесталах
и не был из породы всех усталых –
всё тот же самый схимник и паломник
моих мучительных монастырей.

А дни мои – к обедне светлый звон,
и Китеж-град – в заупокойном виде.
Но ринусь Аввакумом на амвон
и завоплю в библейском гневe: «Вон!
Всемирное смирение, изыди!»

Неистовых, косматых, жарких истин
немало я видал, и плача и смеясь.
Но был я им сумненьем ненавистен.
А как же, Боже, Ты? Ты льстиво многолистен.
Так не боишься ли меня? Се – Аз.

17 июля 1945 – 15 апреля 1965

* * *

Как солнце, сердце правит бег
над океаном окаянства.
И словно облак – человек,
небесное непостоянство.

Ума холодная рука,
водой на землю мне всю высь лей!
И люди – это облака,
а облака – обличья мыслей.

1 августа 1945 – 15 апреля 1965

ПОТОК ПЕРСЕИД

Ночь плачет в августе, как Бог темным-темна.
Горячая звезда скатилась в скорбном мраке.
От дома моего до самого гумна –
земная тишина и мертвые собаки.

Крыльцо плывет, как плот, и тень шестом торчит,
и двор, как малый мир, стоит, не продолжаясь.
А Вечность в августе и плачет, и молчит,
звездами горькими печально обливаясь.

К тебе, о полночи глубокий оком,
всю суть туманную свою хочу возвесть я.
Но мысли медленно в глухом уме моем
перемещаются, как бы в веках созвездья.

12–13 августа 1945

* * *

Теплом уютным околдуй,
защелкни на всю ночь замок!
Беспутный ветер-обалдуй
за окнами насквозь промок.

Шатаясь, как из кабака,
осенней горечи хватив,
свистит он, взявшись за бока,
свой разухабистый мотив.

А мы вдвоем под этот вой
избой, как сном, окружены,
и этот вечер – вечер твой,
и мы в него погружены.

А тень повисла на гвозде –
пальто, уставшее за день,
и ночь растет у нас в гнезде.
Потише! Счастья не задень!

Птенца слепого не спугни.
Ему тепло. Пусть до утра
за дверью ветер, и огни,
и ржавой осени пора.

24 сентября 1945

* * *

Не мудрствую лукаво
над сущностью земной,
и в облаках какао
дымится предо мной.

Подслащенную горечь
я, обжигаясь, пью.
А друг любезный Зорич
подобен соловью:

закатывает трели
и глазки к потолку,
а я лишь еле-еле:
тю-тю, фью-фью, ку-ку.

И ногу, как поленце,
я на весу держу.
Как выкинуть коленце,
ума не приложу.

А Зорич вечно свежий,
попавшись к песне в плен,

выводит грустно те же
двунадесять колен.

24 октября 1945 – 25 апреля 1965

* * *

Я колесил по жизни, куролесил.
А свет поехал вбок, распух он, точно флюс.
По осени я всё еще креплюсь.
Клянусь собой, что все-таки я весел,
высокой грусти я поклон отвесил
и никуда теперь не тороплюсь.
Из старческих не вылезая кресел,
не препояшу страннических чресел,
исчислил всё, измерил я и взвесил:
в событиях минус, а в пространстве плюс.
Да, на былом не крест, а кроткий минус!
И милостям и карам счет веду,
собой клянусь, что я с ума не сдвинусь,
что ни на шаг от сердца не уйду.
Всех очертаний и осточертений
не перечесать. И, скорби не тая,
не отступлю я от своей же тени,
которая совсем не то, что я.

24 октября 1945 – 25 апреля 1965

* * *

Когда на улице дымит зима,
как смутные умы, вздымаются дома.

В корявом сумраке, проклятом и разлитом,
мой дом-слепец глядит гранитным Гераклитом

и мыслит каменно о том, что *παύτα ρεῖ**,
а я, как статуя, стал у его дверей.

Какой мне снится мир? Какой ко мне вернется?
И ввечеру какой меня опять коснется?

Я обошел душой все мирные дворы.
На них умы домов глядят, как из дыры.

Собралось всё во мне, как в ранней раме,
и бытие полно домами и дворами.

9 декабря 1945

* * *

Зима заходит злобной злоюкой,
трясет седою головой.
Стучи клюкой и улюлюкай
и подымай собачий вой!

Пусть снег трещит, черствеют избы,
зубами щелкают замки!
И до смерти мороз загрыз бы
всю деревушку от тоски.

Закован я, но не заколот.
Как беды, годы пронесло.
И даже в этот чертов холод
в избе, как на душе, тепло.

17 декабря 1945

* Всё течет (*греч.*).

АБСОЛЮТНАЯ БАЛЛАДА

...dir war das Nichts wie eine Wunde...

*R. M. Rilke**

Стою, неподвижен, как терем царев.
Ко мне не доносится улицы рев.
Закрыт для проезда Варолиев мост,
но кто-то стучится настойчиво в мозг,
как будто не гость, а хозяин.

И вот Он: без меры, а страшно велик,
лица на Нем нет и незрим Его лик.
Но я восклицаю пришельцу: «Салют!
Приветствую вас, господин Абсолют!»
(А что это, право, такое?)

Евангельский зверь иль буддический мрак?
Сюртук кафедральный, артиста ли фрак?
В уме все приметы как с паспорта стер
мой неосязаемый визитер
и взглядам моим недоступен.

И тянется Он, как сплошной разговор.
И кто Он по сути, факир или вор?
Чуть словом по вещи – исчезла вещь,
а Он пребывает вполне зловец...
(Ишь, фокусник тоже нашелся!)

Посмотрим, что дальше! Была не была!
Вот сгнула печка, не стало стола.
Он скоро утащит со стенки окно,
от комнаты мокрое будет пятно...
(Ей-богу, Он всё разворует!)

* ...Ничто Тебе предстало раной... *Р. М. Рильке. (Перевод С. Петрова.)*

На улицах люто проносится люд...
В гостях у меня господин Абсолют,
приличен, логичен, совсем невесом,
и сам потрясает Он всем небесам
словами, словами, словами.

Я с Богом пустился в Иаковлев спор,
и мысли, как пот, выпирают из пор,
и в капельке каждой мелькает мирок...
Ужели владеет и каплями рок?
(О дождичек размышленья!)

Когда и какой нас водой разольют,
друзей иль собак, господин Абсолют?
Вы – точка сознания, и видно весьма:
такая из точки пошла кутерьма,
что пунктик становится Явью.

И там, за окном, приближается к нам
на громкой телеге сам Трамтарарам,
и он улюлюкает, весел и лют.
Не любит его господин Абсолют –
и сразу же самозакрылся.

30 декабря 1945 – 5 января 1946

1946

САД И НЕБО

От души открыт вечерний сад.
В нем высокий соловьиный воздух,
где сердца на ниточках висят,
а птенцы, теплея, дремлют в гнездах.

Всем умом молчит небесный свод,
в откровеньях тишины темнея.
Ждет студеной тьмы круговорот,
и повисли звезды, цепenea.

Что же купы ночи ворошить,
что кусты ерошить и ершиться?
Можно жить, про счастье ворожить,
а в вершинах вечное вершится.

Кто я? Птенчик, павший из гнезда?
Хилый писк без стопа и рыданья?
Или запоздалая звезда
на морозной тризне мирозданья?

3 января 1946

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Гордо голову откинув,
будто граф на эшафоте,
в бледной белой маске мыльной,
равнодушно руки свесив,
я на кресле восседал.

С манекенною улыбкой
Парка наших дней стояла
надо мной и заносила
свежевыточенный нож.

В этой маске полусмертной
душно стало мне и грустно,
и я вспомнил, как смеялись
ветрено-прозрачный Моцарт,
искромечущий Россини
и забавник Бомарше.

30 января 1946

REQUIEM

*In memoriam Dei**

Ты умер и лежишь, оцепенев,
как тьма египетская в умной раме.
Из-под усталых век предсмертный гнев
рассыпался горячими звездами.

Ты тело тихое. Ужели это Ты?
Тебя ли на столе мертвецком потрошили,
чтобы узнать, дурны ли, хороши ли
Твои великие черты?

Душа в косыночке не плачет, не скорбит,
и бледный царь Давид не тронет струны.
Твои глаза холодные, как луны,
мерцают медленно из царственных орбит.

* Памяти Бога (*лат.*).

Ты умер. Ты – в пространстве темный труп,
и черви черные клубятся в этой темноте.
И лишь леса органным строем труб
растут к Тебе в огромном реквиеме.

8 февраля 1946

АПРЕЛЬСКИЙ ДОЖДЬ

Я попадаю под обстрел:
в меня летят дождя дробинки,
но я покуда всё же цел,
и не справлять по мне поминки.

Ядра души моей не тронув,
рассыпал неумный Бог
весенний ливень электронов,
прозрачный взбалмошный горох.

Пусть скачут по плечам покатым.
Иду, живу, не дуя в ус,
пока от капельки, как атом,
всем сердцем сразу не взорвусь.

21 апреля 1946

* * *

Как только мне помыслится о тлени,
как мысли распахну – так пустотой пахнет.
До глупости видно на небе просветленье,
до черствости видны в деревьях разветвленья,
а славная весна девически вздохнет.
Отчетлив каждый час, скупой и невозвратный,
глаза на всё и вся разинуты, что рты,

и к радости и к грусти многократной
гляжу на бедной комнаты квадратной
простые, тычущиеся черты.
Окно в прямых углах. И изо всех квартир
по сходным ценам милый вид на мир,
а сей последний доведен до точки.
Вон тополя шагают по цепочке,
выбрасывая по команде почки.
У каждой Божьей вещи свой ранжир,
своя огромная нивелировка.
И надобна великая сноровка,
чтоб чохом всё кишашее в весне
свести к лучевой линейной прямизне.
И как подумаю! И, походя коря
былое тем, что нам казалось лживо,
я говорю: эпоха дикаря
была, быть может, менее правдива,
зато в ней жило всё и было в диво.

11 июня 1946

АРХИТЕКТУРА ПАМЯТИ

Wie schwerer Honig aus dem hohlen Waben.

*H. v. Hofmannsthal**

Архитектура памяти – как соты.
Пчелиная хлопочет толчая,
вливая в немудреные пустоты
по капелькам всю сладость бытия.

Когда же ульев темные могилы
туманом скорбным вечер обоймет,

* Как из ячей тяжелый мед сотовый. Г. фон Гофмансталь. (Перевод С. Петрова.)

из сотов мирный, медленный и милый
вспоминанья вытекает мед.

Пей чай покрепче и погорячее.
Как знать? – Быть может, человечье «я» –
в архитектуре вечной сих ячеек
первичная пустая ячея.

Ночь с 7 на 8 августа 1946

* * *

В раздумьях я – сутяга и сквалыжник,
да на беду и с чувством не в ладу.
И думаю, будто яростный бульжник,
в запас к душе за пазуху кладу.

Не плачь, не удивляйся и не ахай,
душа моя, – по чести я прошу, –
что камень под распахнутой рубахой,
как сердце зачерствелое, ношу.

Отцу и Сыну и Святому Духу
я в том винюсь, как судьям-господам,
но им окаменелую краюху
мою последнюю я не отдам.

Авось, когда ударит вечер в спину
и мысль в тиши замельтешит, как гнус,
я разогнусь, безбожный камень выну
и во всю ширь разбойно замахнусь.

17 августа 1946 – 2 мая 1965

ПРОЗРАЧНАЯ ОСЕНЬ

Прозрачная осень! Предметы все наперечет
в тебе под стеклом, как в одной из Господних кунсткамер.
И речка померкла, и воздух почти не течет,
и грач на полете с прибитыми крыльями замер.

Ты дивная, ясная и с холодинкой пора!
А красное лето все светлые песенки спело.
У вод и тяжелый и медленный вид топора.
И вот закругленная мудрость зачем-то поспела.

И как не сорвется он, сладостный шарик земной,
с заоблачной выси? И яблоня мерзнет в рогоже.
Прозрачная осень! Да минут дожди стороной.
Смотреть бы до слез! Только плакать, ей-богу, негоже.

Не лучше ль бодриться и, яблоко взяв, бытия
плодом окрестить и антоновкой крепкого духа?
Мудрить, не хандря, и спокойничать пробую я,
пройдя по дорожкам, пока так светло и так сухо.

29 сентября 1946

РАВНОВЕСЬЕ

Сухое дерево и серый камень черствый
на жестком берегу мелеющей реки.
Войди душой в пейзаж, спокойствуй и покорствуй,
и корку хлеба яством нареки.

Что дани с языка? Что дани с ока, с уха?
Как воздух, буду скуп, зевнув во весь простор
широкий и простой. И пусть высоко, сухо
мой судит ум, а ветер снимет сор,

высокий вздорный сор, взметнув до поднебесья
и суть древесную от листьев шелуша.
И наблюдаю я, как входят в равновесье
и дерево, и камень, и душа.

19 октября – 3 ноября 1946

* * *

По думам голове казаковать,
как по степям, от балки и до балки.
Ужели на три века заковать
возможно ум и кинуть в виде балки,
отесанного кое-как бревна?
Нет, мысль вовеки с веком не равна.

В казацкой сече, в яркой перепалке
схватились сабли, топоры, и палки,
и палицы, и пики, и мечи
в степной измученной ночи.

А думы, думы! Вечно, видно, вскачь им
носиться бурей по степям казачьим.

27 ноября 1946

1947

КУРИЛЬЩИК

Я – вроде гордого огарка.
Я догореть еще не смог...
В зубах беззлобная сигарка,
огонь сквозь пепел и дымок.

Огонь потухнет, дым затихнет.
Я затанусь, и вот тогда
сигарка напоследок вспыхнет,
как в черной вечности звезда.

Я, дым пуская, всё профукал
(ведь сказано, что счастье – дым)
и стал одной из кротких кукол,
тех, что так близки заводным.

Так! Утешеньями не пичкай
и чаяньями не пои.
Звезда и та короткой спичкой
не осветит углы мои.

Углы вселенной задушевной,
куда взглянуть боялся б я,
где груды памяти плачевной,
как ворох драного тряпья,

где нежной мерзостью и скверной
обманчивая дышит тишь.
Звезда короче спички серной.
Так что ж ты ею осветишь?

А жизнь, как палочку сухую,
в корявых пальцах не верчу.

Цигарку ухарски-лихую
зачем-то сызнава кручу.

Тянусь сквозь ночь к кусочку свечки,
сестре печально-сальных свеч,
чтоб не от спички, не от печки
цигарку новую зажечь.

20 апреля 1947

* * *

Ты любила. Но вот досада –
он теперь танцует с другой.
Волны вальса несутся из сада,
и до горя подать рукой,

до соленого моря, – но в слезный
омут броситься силы нет.
Сад кружится, как многоколесный
ад, где вспышки и взрывы ракет.

Не ревнуй, позабудь, не печалься,
оборвется любовный всхлип
за веселыми водами вальса,
за вечерними волнами лип.

21 мая 1947

1948

ОДА НА НОВЫЙ 1948 ГОД

Annus – Annulus.

Замкнулся Год, как перстень золотой,
сей вечный перстень гордого чекана.
Сними его с перста и кинь в стакан с водой,
пусть золотеет он со дна стакана.

По-старому о новом погадать
мне хочется. Смотрю в кольцо до боли
в глазах. Но ничего в кружочке не видать,
вода чиста, в ней ни крупинки соли.

Кольцо мерцает явственно со дна.
Сердца, гадая, будут колотиться.
Одна вода видна, чиста и холодна,
но кажется, что вскоре помутится.

Природа зрения бесстыдно зла.
На что вам знанье, очи-горемыки?!
И грянут из кольца, как из узла,
сверхапокалиптические лики.

И мнится мне на этот страшный раз,
что будут думы тишины разбиты
и солнце, съежась в жалостливый глаз,
захочет выпасть из земной орбиты.

1 января 1948

ЖГУЧАЯ БЕСЕДА

В тулупе шумном, будто в шубе барской,
шагает ленисто мороз январский.
Подумаешь, какое божество
явилось нынче нам под Рождество!
К чему тебе, упрямый мужичина,
твоя высокомерная овчина?
Ведь ты и без того оледенело-глуп,
а тут еще спесивейший тулуп!
Пусть ты и дед, но из ума ты выжил.
Зачем ты щеки и живот напыжил?
Иль думаешь, что коли ты надут,
так сдуру в ноги все тебе падут
и душу с челобитной сразу вынут
да и, как зайцы зябкие, застынут?
Ну, как не так! У нас свои права,
у нас есть печки, спички и дрова,
и друг о друга можем мы тереться
или у ласкового сердца греться.
Иные же из жалости дают
таким дедам в тепле избы приют,
и дед Мороз смиреннее овечки
лежит себе, храпя во сне, на печке.

Молчи, болван! Во мне гремит природа,
а я – ее возвышенная ода.
В начале года я, в веках ночей
боярствую, и ярости моей,
окованной законами немоты,
не писаны суть жалобные ноты.
И я, природы ледяной венец,
вершу ее начало и конец.

7 января 1948

1950

ПРОСТО ПРАЗДНИК

На лужок в разгаре пляса,
на простор и стар и млад
повалили, точат лясы,
а ладони плещут в лад.

Вдоль по улице пригожей
разливаются весной.
Погляди на нас, прохожий!
Полюбуйся, мир честной!

Пир чужой – мое похмелье.
Ухмыляется земля.
Краснорожее веселье
пишет сдуру кренделя.

И пугаюсь песни звонкой,
но не петь которой жаль;
пробирается сторонкой
вислогубая печаль.

И в глазах мелькают мошки,
и потеют платья дев,
надрываются гармошки,
стонут глотки, озверев.

Брань на вороту не виснет,
и уж так заведено,
что веселье даром киснет,
а печаль глушит вино.

Неужели так и жили,
чтоб печали не любить,
и точили не ножи ли,
а не лясы во всю прыть?

Свадьба или праздник просто?
Грозной радости не тронь!
Олух каменного роста
тащит за бока гармонь.

И, обнявшись у столба с ней,
он божественно блюет,
так что песня страшной басней,
злойной басней отдаёт.

30 января 1950 – 17 декабря 1965

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
О каких же благах вещали мне?
Нет, все вещи скорее блажили,
блеяли и верещали.
Да, пожалуй, они – стада,
то покорно бредущие,
покачивающие курдюками,
то испуганно бросающиеся во все стороны,
и прекрасны в них – если умеешь заметить –
тонконогие прыжки
да печальные семитические взгляды.

Овечья жизнь вещей,
боязливое вече!
Они обстали диким туманом,
обросшие мглой курчавой,
и, захлебнувшись в собственной шерсти,

исчезнут, как туман,
пройдут, как тяжелый дым...
Так где же оно,
мне возвещенное благо?
В сердце, наверное?
А сердце?
То судорожный комочек счастья,
то стиснутый кулачок гнева,
то кровоточащий кусочек печали,
то жилистая масса равнодушия,
то горячая лепешка обиды.

Оставим сердце
врачам, мясникам и влюбленным!

Буду жить по святым поговоркам,
по великомученикам-пословицам,
обещанного ждать три года,
три года и после смерти.

Ибо если вне меня благо,
то смерть ему – не помеха.
А если благо во мне самом,
то нужно его заметить...

И пройдут и стада и годы,
как дым тяжелый, мохнатый,
и, может быть, сын мой скажет,
что я родился в Благовещение.

7 апреля 1950

РЫБАЧЬЯ ПЕСНЯ

Вечер мой полыхает,
в берег стучит волна,
лодку мою колыхает.
Время – не затихает,
где-то не спит война.

Сколько озер я вылил,
сколько вытекло рек!
Вот и я обессилел,
словно судьбе опостылел
тихий рыбак-человек.

Сердце ли иссыхает?
Рыба ли плыть вольна?
Старость не хвалит, не хает,
а время не затихает,
и где-то не спит война.

Если бы сердце ринуть
острым челном на волну,
душу, как парус, раскинуть,
яростью юной хлынуть
и утопить войну.

1 июля 1950

СТАРИК

Как бурый лист, ладонь его суха,
а руки черствые – как два сука.

В родную землю он глубоко врос,
старик, и пахарь, и великоросс.

С лица он весь – как темная спина,
белей берез мерцает седина.

Как много годы с памяти сотрут!
Любовь, веселье, драки, брань и труд.

Всё, что толкало, двигало, трясло,
всё миновало, быльем поросло

от черной старости, и только взор
сквозь ветви – чище неба и озер.

Не знаю, сколько старый будет жить,
но чистоты очей – не замутить.

26 сентября 1950

* * *

Ласков день. До дел он добрых лаком.
Всем одарит – только знай проси.
И сияет на бегу такси
влажным, чуть коричневатым лаком
по своей дорожке беговой,
словно смуглая спортсменка
после легкого заплыва.
Солнечная здесь всему оценка.
Небо движется неторопливо,
одобрительно кивая головой.

9 декабря 1950 – 19 декабря 1965

1951

ЗИЯНИЕ УМА

Садится сумрак в снег, и ум, как полынья,
чернеет горестно и шевелит краями.
Вода полынная, и тучи воронья
слетаются испить к смертельной яме.
Мой страшный ум открыт, как непомерный рот,
как ненасытный гроб. И все-таки не страшно.
Река еще течет, и от ее щедрот
осталось ледяное брашно.
Пусть в прорубь олухи всыпают толокно,
хлебают истину не ложкой, а ладошкой.
Я емь пустынный стол, окно
на белом вечере. И темной точкой-крошкой
на грунте меловом приткнусь, как на постели,
на извести едучей бытия,
и тоненькую санную дорожкой
проедусь вдоль по прибранной постели
моей реки, утекшей вдаль. И сомневаюсь я.

1–7 апреля 1951

MIR ZUR FEIER (XL лет)

Я родился в Благовещенье.
До сороковой
добрался годовщины.
До седой бороды
уже давно добрался.
До жены и детей
недавно дожил.

Нагаскался по дорогам-передрягам,
нахлебался дрязг,
и горя, и грязи.
Дряни такую кучу откинул,
что одрябли и мышцы мыслей.
А по мыслям меня носило
словно вольный ветер по волнам,
и не мог я остановиться,
ни потечь в одном направлении.
Заливало меня стихами,
как необитаемый остров,
островок без широт и долгот,
незаметный и безымянный.
И сижу до сих пор Робинзоном
на утесе своем одиноком,
и поглядываю на море
исподлобья,
и замечаю,
что вода, которую вижу,
удивительно бледной стала,
одного
заунывного цвета,
не морской,
а речной,
прирученной,
пресной,
отварной.
Сорок лет я на свете прожил,
половину из них в Европе.
Азии, Азу и Азику
вторую половину я отдал.
Сорок лет – половина жизни,
и у тех, кто дожил до старости,
в сорок лет
наступает Акмэ
(так водилось у древних греков).

В сорок лет бес в ребро толкает
(так ведется у нас, у русских).
У меня же ни Акмэ, ни беса
и поболее половины жизни
миновало. Не оттого ли,
что я родился в Благовещенье?

7 апреля 1951

ОСЕНЬЮ

Сплошного сумрака премудрая скуфья
свалилась мне на ум, прикрыла темя.
А вечер словно ворохом тряпья
развешан на дворе. Но как же к этой теме
я проберусь сквозь темень бытия?
Ох, далеко от сутеми до теми,
до тьмы повальной, где увязнет время
всем колесом. И, медленно двоя
сумнение свое меж этими и теми –
вещами, мыслями, – отдельными и всеми,
и в рост пошедшими, и втиснутыми в семя,
как поплетусь до жесткого жнивья,
до жизни, стриженной под ежик, до ручья,
озябшего от тени и от неми,
до леса голого, который как беремя
намокших дров поднялся? И ничья,
как нищенка иль поздняя жнея,
без урожая да и без жилья
осталась осень. Живо только племя
великого и серого Репья.

7 апреля 1951 – 22 декабря 1965

PICTORIS CONFESSIO*

Давно уж я попал в изгой,
для жизни свежей не гожусь,
и, верно, чудищем из Гойи
я молодежи покажусь.

Им на картине всё так плоско
иль в перспективе предстает,
а я – святой кусок из Босха
в одной из бешеных высот.

Приветствуете на экранах
лица дешевой выверт вы,
а дивный Дюрер, да и Кранах
для вас мертвы, давно мертвы.

Пусть буду щеголять в тетерях
и в ретроградах я – со мной
Серов, Кустодиев и Рерих,
ко мне лицом, а к вам спиной.

Мне на холсте молодые жены
куда милей, чем наяву.
И в Тициане иль Джорджоне
я замираю и живу.

А вы – мясистые фламандцы,
вам нужен Рубенс, идол туш,
и ваши кабачки и танцы
летят, как бедра ваших душ.

И не в Перове ль ваша вера?
Оплел овечьих дур баран!

* Исповедь художника (*лат.*).

Что вам Веласкес и Рибера,
полузагробный Сурбаран!

Вы жирные фламандцы нынче,
хоть взвинчен фильмами азарт.
Явись теперь к вам даже Винчи,
он будет лишь колодой карт.

Холсты вам только свод законов,
вы – дидактический кагал,
откуда вытурен Филонов,
куда не впущен Марк Шагал.

7–8 октября 1951

* * *

Ужели жизнь завершена,
и время яму мне копает,
и постепенно наступает
возлюбленная тишина?

О неизвестное Ничто,
где ни свободы, ни неволи!
И кто я? Только существо ли,
всё погруженное в пальто?

24 октября 1951

1952

MATER DOLOROSA МОРАЛЕСА

В залах заветных бродя, редко тебя замечали,
мать скорбящую, чистое чудо печали.
Ты не тоскуешь, о нет! И ничего не взыскуешь,
даже рыданий сухих, беззвучных в тебе не почувешь.
Тихим ты встала дождем, к могиле родной тяготей
каждою складкой одежды. Усталые плечи и те я
не назову никогда даже святыми мощами.
Плоти покорной твоей места не знать меж вещами.
Отрешена от земли, к ней ты стремишься всем телом.
Не омертвелым, о нет! Только таким опустелым,
что не назвать мне тебя призрачной или недужной.
В скорби пречистой своей кажешься ты равнодушной.
И под одеждами нет ничего, кроме замершей муки.
Умерло всё. Но живут оцепенелые руки.
Встретились – горе сдавить – тонкие эти страдальцы,
словно скитальцы в веках, верой скрепленные пальцы.

26 июля 1952

* * *

Я плачущее существо,
кому и муторно и тошно.
Авось не тошно оттого,
что тошнота моя ничтожна.
От ней я не реву истошно
и не ругаю никого,
пытаюсь разглядеть дотошно,
какое в мире торжество.

И не захопываю век,
с которых капля не сорвется.
Как через гору, через век
гляжу поверх его, и льется
вода времен и черных рек.
Гляжу, доколе новый снег
и старый дым на крышах вьется.
Гляжу, покуда сердце бьется,
покуда мне еще поется,
доколе средь вещей-калек
я не живу, а мне живется,
пока на память остается
то, что когда-то сам изрек:
рождаясь, плачет человек,
а умирая, не смеется.

14 августа 1952 – 23 декабря 1965

* * *

От напряженья делаю
суровое лицо,
наполнив ночью целою
пустое письмецо.

Пишу его не девице,
пошлю не на вдову,
и в том из сада деревце
в свидетели зову.

Ни вдовушка, ни девица
письму не адресат.
Оно, чай, не безделица,
а весь бессонный сад,

глубокий, смерти пристальной;
макни в него лицо –
и вроде шаткой пристани
болтается крыльцо.

Письмо не скоро писано,
но коль конец ему,
лети же, торопись оно,
опущенное в тьму.

Лети оно по адресу!
Но адрес-то найти
возможно лишь по абрису
волшебного пути.

Примите за пародию
сей адрес в темноте:
Ее высокородию
m-me Йтернитъ*.

18 августа 1952 – 23 декабря 1965

* * *

Высокой осени прозрачные вершины,
и пустота глядит со строгой вышины
на землю, на ее трещащие морщины,
и на морозец первой седины.
Какие дни еще мне суждены?
Какие дни еще не сочтены?

С тупою твердостью по лугу я ступаю,
а мерзлая трава под пяткой хрусть да хрусть.

* мадам Вечности (*фр.*).

Я жил как шел, как должно шалопаю,
а с шалопаем зашагала грусть.
Но говорю опять упрямо: «Пусть!»
Безумие я знаю наизусть.

Я выучил его, безумие поэта,
в котором я ходил-бродил гурьбой.
Но осень мудрая мне заменила лето,
мелькнувшее, как мелкий дождь рябой.
Бреду, а думается вперебой,
что я блуждаю меж самим собой.

4 октября 1952 – 24 декабря 1965

* * *

Я поэт тяжелый, что комод.
Что с комодом рядом? Не тоска ль?
В человеке стонут ум и скот.
Сколько слез ты выплакал, Паскаль!

Друг! Ты ведал цену пуху дел
так же, как я знаю гилям слов.
Ты от черной веры похудел,
я же от неверия здоров.

Я на истину махнул рукой,
но о том воистину скорблю,
что над неуклюжею строкой,
как над жизнью собственной, корплю.

7 декабря 1952 – 24 декабря 1965

1953

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
Захотелось мне день рождения
стихотворным гимном отпраздновать,
но выпил я нынче лишнего
с гостями,
и стало некогда
самим собой заняться.
Бестолковый pater familias*,
зачем я позвал гостей?
Уж лучше в семейной коробочке
сидел бы
и вспоминал бы,
что я родился в Благовещенье.

7 и 19 апреля 1953

* * *

Я потеряла нежную камею.

О. Мандельштам

Ты мной нигде не встречена,
не знаю, кто такая,
но нежностью отмечена,
как древле Навзикая.

Она – виденье давнее,
и знаю, что, быть может,

* отец семейства (*лат.*).

влюблен я был всегда в нее
и сам собою прожит.

Небывшее рассеивай
(оно лишь анонимы),
судьбою Одиссеевой
по памяти гонимый.

Зачем же снова чудится,
что, до души раздета,
любовь когда-то сбудется,
хотя бы в прошлом где-то.

Пока еще мерещится,
что я любить сумею,
что жизнь, по сердцу резчица,
мне выточит камюю.

19 апреля 1953 – 8 августа 1955

ГРОЗА

Как хорошо, что это ни от кого не зависело!
Кусок разыгравшегося было дня
завесило, и разливного бисера
посыпалась радостная трескотня.

Как это случилось? Позвольте вспомнить!
Позвольте вспомнить об этом дне!
И если возможно – в стихах исполнить,
как на рояле и на полотне.

Дома душно и тесно – как в комодке.
Тишина неласковая (хоть и лаковая).
Из этой коробки – на крыльцо (к природе!)
и глядеть, как движется даль, заволакивая
зрение...

Тянуло, как из двери открытой (в природу!),
дышало шиповником из палисадника.
Я взором шел (не спросяся броду),
и было радостно, но и досадненько,
что мне уже нынче с гаком сорок,
что меня наотрез... Что ж! И пусть на отрезе я
буду, как на отшибе. Сквозь морок
(с морокой) лезет (из дыр) поэзия...

Чем больше заволакивало и клубилось,
тем шире ворота в природу распахивало.
А вечность (иль нечто) в нутро углубилась
и непроходимые просторы распахивала.
А дождик за ней стороной-стороной
прошелся прозрачною бороной.

И пахло величьем, розами, вишнями,
яблонями, и тут же был где-то и я,
и от предчувствия счастья лишними
стали тонкие стенки жилья...

Испуганными цветами белые курицы
бегали вдоль несуществующей улицы,
и пересохшие, шерстяные
валили овцы, как тучи берестяные.
Подуло, рвануло – и всё замутилось,
бумажонка курочкой закрутилась,
и столько соломы, пыли и сору
(как будто кто начал великую ссору)!
Деревья трепещут от напряжения,
как будто стремятся включиться в движение,
как будто рвутся подраться за влагу,
как будто хотят подобраться к благу.

Потом наступило кривое затишье,
большая цезура. Куда-то, глядишь, я

и зазевался. Но капелька – шлеп
(как будто кто-то мне пальчиком в лоб)!

Потом как пошло поливать, да хлестать,
да вспыхивать яро от гнева,
что любо мне стало: какая же статья
у этого доброго неба!

И всё, что мне зренье впрогляд нарисует
(скворечник, плетень, сараюшку, окно),
то дождик-художник теперь полосует –
безобъемно-рябое немое кино.

И радостно мне, что мне фильмов не надо,
что где-то далёко скрипят города,
что розы и грозы – любимицы сада,
что по ветру леса летит борода,
что нет ни диковин-штуковин, ни штукеч,
что нету ни стуку, ни грому в стихах,
что жизнь мне – как роза в клубящихся тучах
(а некогда нежная роза в мехах).

И весело мне, что никто не в ответе
за мощь и за дождь (на пальто мудрецам),
что есть еще свежие грозы на свете,
как верная весть от природы к сердцам.

14 июня 1953 – 4 января 1966

АСТРОЛОГИЯ

Как мне до звезд добраться ненавистных
уж тем, что рок моих былых,
моих и нынешних, и присных
запутался в движеньях их?

Какой мудрец их в путь иной направит?
Какой дурак напаялит умный лоб

и человечеству составит
отрадно-горький гороскоп?

Науке бедной никуда не деться!
Не исходить же разумом в тоске!
И будет бешено вертеться
земля, вися на волоске.

20 июня 1953

* * *

Любили вы? Да так, чтоб вас мотало
по белу свету, как по синю морю,
чтоб душу вам выматывала буря,
чтоб выворачивало наизнанку,
как судорожно снятую перчатку?

Любили вы? Да так, чтоб через годы,
как через горы, города и реки,
глаза из всех себя *туда* глядели,
вращаясь жалобно в орбитах впалых?

Любили вы? Да так, чтоб неприметно,
воздушно, призрачно и неотвязно
стать своего предмета робкой тенью?

Любили вы? А я вот не любил.

И мнится, что любовь – какое-то такое,
что было в ком-то сильным и большим
иль будет некогда. И нет покоя,
что ей никто из нас не одержим.

15 августа 1953

1954

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
А нынче не повезло мне!
Даже радостной грязи, смеющейся на солнце,
не было,
а только студеная слякоть!
Но не от дурной погоды
пасмурно на душе
и уму
тошно и муторно,
а оттого, что годы
подбираются к тому,
что называется старостью,
пустотой или точкой.

Нетрудно мне с этим смириться,
однако что-то не верится:
неужели я – опустелая дача,
нежилое помещение,
ограбленный склад былого?
Нет!
Бродят в старом доме
еще живые тени,
рождаются бледные дети.
Но давно уже нету мне солнца
и тепла на сем сером свете,
как сегодня.
Но верится! –
Потеплеет,
и старый дом
заговорит
на семи языках,

зазвонит
на все голоса,
засверкает окнами,
и захлопают двери в ладоши.

Ах, когда бы дома
умели стряпать погоду!
А вот я чудак:
взял да и родился в Благовещенье.

7 апреля 1954

1955

* * *

Хорошо, что отошли грустины!
Больше ничего не говори!
Улицы унылые пустынные,
и в тумане стыннут фонари.

Хорошо, что отошли грустины,
что тебя опять со мною нет
в опустелой затемно гостинной.
Стихло сердце в чем-то беспричинно.
Лед не тает, и молчит рассвет.
Но кричит оно: «Прости! Прости!»

Хорошо, что кончились грустины
и что может тишина расти.
В черной раме темное окно
нависает тяжелей картины.
Что на ней – ей-богу, всё равно.
Хорошо, что отошли грустины.

2 января 1955 – 14 января 1966

СВ. СОФИЯ В НОВГОРОДЕ

I

Возрясь туда, где молча древний бор
дремучее справляет вече,
встает, как белый богатырь, собор
и каменные расправляет плечи.

Он шестикратно осенен крестом
на высоте семидесятьаршинной.
Се князь торжественный в шеломе золотом,
вооруженной окружен дружиной.

12 февраля 1955

II

Тепло соборной плоти естество.
Он весь – огромные радушные ворота.
На белокаменной груди его
заступы ждали вдовы и сироты.

Ушедши в плечи головой, молчит
народной вольности радетель,
и во всю грудь широкосердый щит –
его воинственная добродетель.

Но, колокольный воздымая зык,
он будет звонкой гривною бороться,
призвав и меч, и Бога, и язык,
и вольность дорогую новгородца.

И вот, на Божий страх татарам и боярам,
сквозь тучи бед, скорбей и горя напролом
над Волховом восходит солнцем ярым
и светит вechу княжеский шелом.

12 февраля 1955 – 15 января 1966

III

...и в дугах каменных Успенского собора.

О. Мандельштам

Кто гнул крутые каменные дуги,
архангельские луки торжества?
И сам он не отпрянул ли в испуге,
что может лопнуть тетива?

Трудился кто над белыми боками,
как над ребром Адамовым Господь?
Кто сотворил хранимую веками
и ими дышащую плоть?

Кто был ты, исполнитель воли отчей,
смельчак, охочий до Господних дел?
Где имя тихое похоронил ты, зодчий?
Зачем ты чести не хотел?

Не шесть умов восходят к шестиглавью,
а всеединый в дружном вече рук.
Един собор тысячелетней явью,
един слуга, владыка, друг.

Он вырос до небес и с Русью сросся,
он вынес бремя на крестах рамен.
Умолкли в нем незримые колеса,
глухие жернова времен.

И свод веков народных в сводах зданья,
собрал по глыбам, сберегло не ты ль,
Руси окаменелое сказанье,
историей изваянная быль?

12 января 1955 – 15 января 1966

IV

Прекрасен храм, купающийся в мире.

О. Мандельштам

Сокровищница сырых и калик,
прибежище убогим и скорбящим!
Как светел твой тяжеловесный лик,
заступница, тебя молящим.

Всё снес во храм, что мог, бурливый люд,
все слезы, скопленные им по зернам,
вся мудрость и весь горький гордый труд
в амбаре полегли соборном.

Ты – куль из камня, благодостный сосуд,
ты – пазуха родимая, большая,
ты – житница ума и правишь Божий суд,
лишая горести, но дум не отрешая.

Ты в этой полнотелой чистоте –
надежды, веры и любви София,
и кроткий голубь на твоём кресте –
твоя душа, твой бурный дух, Россия!

12 января 1955 – 15 января 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.

Угораздило же меня родиться
весной,
которой у меня никогда не бывало,
для жизни,
в которой не сложилось традиций,

которая – ни то ни се,
ни даже великолепная неудача.

А впрочем, я и этим доволен,
ибо всегда бывал кем-то чужим, нежеланным
и новым,
оставаясь равным
самому себе.

У меня ведь никогда не водилось
огромного, неотесаного,
яростного, всепожирающего,
всеповергающего
Бога,
а только нежные боженятки,
разные паскальчики, монтенятки,
мандельштамишки,
имя же им – легион!
Милые мальчики,
почти что сыночки.

Я им не кланялся в пояс,
не клялся им во весь голос,
а просто любил их.

Я не грешил убежденностью,
не преисполнялся верою
и, стало быть, не знал разочарования.

Жил, как и род человеческий,
на авось и в дружбе с надеждою
под доброй сенью сумнения.

Да родился ли я в Благовещенье?

7 апреля 1955

* * *

Прибой восстал, и дик и рьян.
Он пьян и обуян простором.
Он будто прыгнувший бурьян,
который борется с забором.

А сколько сверху полилось!
Какие снизу бьются брызги!
В бурьяне всё переплелось:
стенанья, стебли, пена, визги.

Прибою берег, видно, враг,
и он всю жизнь берется с бою.
А море дышит, как овраг,
бездонной бурей и грозой.

7 июля 1955 – 16 января 1966

* * *

С годами, ах, не совладая,
тебя увидеть довелось.
Ты – тень невольной молодая,
чье горе кротко завилось
колечком золотым волос,
к затылку нежно ниспадаая.

Очаровательную властью
прошла, как свежий вечер, ты.
С какою старостью и страстью
гляжу на робкие черты!

8 августа 1955

* * *

Державной мышцею ума
возносишь к облакам дома,
в дугу крутые реки гнешь
и скалы рвешь, как детям зубы.
Трубят тебе победу трубы,
как только ты хоть шаг шагнешь.

И, в тягу запрягая глаз,
до судорог всё стиснув взором
и мигом век сжимая в час,
на торге сил ты, Масса масс,
встаешь расторгнутым простором.

Не пальцы – щупальца твои
орудуют во бытии.
И каждый мускул мысли сжат,
как хватка мертвая удава.
Ползет твоя земная слава,
и вещи кроличьи дрожат.

Свой ум, как атом, обнажив,
взорвешься силою беспутной,
всё той же подлой смертью жив
и утопая в жизни утлой.

21–29 августа 1955 – 18 января 1966

НА ПЛЯЖЕ

Большое лето – страшная обуза.
Большое лето широко, как блуза,
спадает, но не закрывает пуза.

Тяжелый полдень валится на брюхо.
Жара пошла песок и пыль молоть.
Раскалено, пылает чрево духа.
Очей не вырвать, взор не побороть.

И если есть у духа воплощенье,
то вижу, даже глаз не открывая
и мякоть низводя до уплощенья,
сплошное воплощенье каравая.

Огромный строй округлой наготы
во что бы нынче захотел облечь я?
Округлостью и познаешься ты,
теплом прикрывшись, тело человечесь.

Но ухитряется самозабвенно ум
за корку булочки принять костюм.

А глаз проникнет глубже: «Ну и враки ж!
Ведь это в корку облаченный мякиш».

Но, прикрываясь голою ногой,
ему ответит глаз совсем нагой:

«Что делать? Он отлично выпечен,
а потому и очень выпячен».

22 августа 1955 – 18 января 1966

НОВГОРОД ЗИМОЙ

I

Глазам легко: белым-бело!
Ишь, как ведь за ночь намело,
и город стал и чист и бел –
не разберешь, где снег, где мел.
Молчат дома, как терема.
Вчера приехала зима.

Под праздник надо б веселей,
но кто же вышел встречу ей?
Никто... Нигде... Ни с кем... Она
идет по улицам одна,
белым-бела, белым-бела,
сама себя перемела.

29 августа 1955 – 19 января 1966

II

Присели кроткие церквушки,
совсем как малые зверюшки.
И мнится – только их спугни,
как в россыпь ринутся они,
покажут крохотный, с вершок,
невинный хвостика пушок,
Господни робкие зайчатки.
И в русских искренних снегах,
как бы в неписанных веках,
их лапок вижу отпечатки.

29 августа 1955

III

По улочке запорошенной,
как шубка, мягкой белизной,
идешь, как бы замороженный,
укромной тропкою лесной.

До масленицы не доехать
и за три года на возке,
и, как во сне, такая нехоть,
что сон висит на волоске.

И тихой церковки фигурка
из переулка мне видна.
О, православная Снегурка,
не отряхающая сна!

11 октября 1955

IV

Пустынна русская верста,
здесь от креста и до креста,
хоть вслух считай ты до полста,
нет никого и ни черта,
ни даже черного кота.
Но от беленого холста
в очах останется, проста,
архангельская чистота.

29 августа 1955 – 18 января 1966

V

Кому печаль мою повею?
Как этот зимний праздник нем!
Тут вещи стыннут на ходу
и всё до боли на виду.

Нейду я, а себя веду,
как колокол (не вечевой!),
мотая буйной головой,
на этот Китеж снеговой
по-над недремлющей рекой,
когда до сна подать рукой,
когда зима, белым-бела,
старушкой-нищенкой брела,
брела за десять верст домой
с пустою вековой сумой
сквозь этот Китеж снеговой,
где дочь София умерла,
где умерли колокола.

29 августа 1955 – 18 января 1966

АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ

Скучает зеленый репястый пустырь.
Поодаль белест во сне монастырь.

К реке он повернут старинной спиной,
но статные липы растут за стеной.

Из древнего камня белы каланчи.
Щербаты, как зубы, в стене кирпичи.

Нырни во врата старины: из-под лип
на солнышко выползет каменный гриб.

Приземистый, бодрый, дубовый старик,
собор стопудовый, собор-боровик.

Поститься столетья ему нипочем.
Оброс, как молитвою, он кирпичом.

Иль Волхов живую водицей поит,
что гриб на часах, словно схимник, стоит?

История старца, видать, не проста:
пустынный с поста не покинул поста.

Под шляпой замшелого боровика,
как ласточки, видно, векуют века.

4 сентября 1955 – 20 января 1966

СПАС-ПРЕОБРАЖЕНЬЕ

Я полюбил тебя за то, что ты нежна,
и не беда, что только штукатурка
тебе взамен белил, смиренная княжна,
боярышня моя, покорная Снегурка.

Что делать мне с моей любовью неученой?
Но видеть хрупкую фигурку не могу
иначе, нежели игрушкой на лугу,
обидной девочкой, Снегурочкой точеной.

И, до крутых бровей легко набелена,
стоишь с лицом небесной недотроги.
Зеленая лужайки пелена
весенним ковриком бежит тебе под ноги.

Дружок! И высоко ж ты вскинула кокошник
и выю тонкую над древнею весной,
не хочешь хорошеть, не хочешь стать роскошней,
к нескошенной траве притронуться ногой.

И кажется тебе: весна ушла далече,
а вече молодцев еще гудит в Кремле,

и своенравные ты вздергиваешь плечи
воздушной неженкой, спустившейся к земле.

7 сентября 1955

КРЕМЛЕВСКАЯ СЕНА

Чуть извивается кремлевская стена,
как чуда-юда красная спина.
Хребет зубчатый твари неземной
ползет по зелени над гладью водяной,
как бы из Волхова девятиглавый змей
залег среди векующих камней.
Чертополохом заросла тропа
к тупоголовым башням в черепа.
Усталый змей, лежи и не тоскуй.
А в небо рвется, как таран, Кокуй.
От счастья и беды поднявшись на вершок,
торчит на темени тревожный петушок.
Но не дрожит земля и конь не пробежит,
и змей – не разобрать, ползет или лежит.

26 сентября 1955

ИВАН НА ОПОКАХ

Вовек не нашивал сапог
ты, лапотник и Божий ратник.
Какую жизнь, Иван с Опок,
ты положил во славу братних?

Сермяжных трудовых кровей,
неповоротливой породы,
и от подножья до бровей
ты – простодушие колоды.

Ты языками не звонил
и не глаголил с колоколен.
Кого всю жизнь ты боронил,
не быв своею волей волен?

Кого всю жизнь ты поборал
душой огромной и подспудной?
Какую пашню ты орал,
склоняясь выей многотрудной?

И с кем делил кусок сухой,
черствинку злую доли горькой,
Микулин сын с родной сохой,
идущий в поле вместе с зорькой?

Огромен, кряжист и плечист,
ты напрягаешь шею бычьью,
душою прост и телом чист
и предан русскому величью.

Ты грудью настезь, напролом,
угрюмый, дюжий, добрый, ражий
мужик, напяливший шелом
и ставший у судеб на страже.

11 октября – 5 декабря 1955

НОВГОРОДУ ВЕЛИКОМУ

От сыновей больших и шалых
ушел ты в жалобную тишь
и на соломе с глиной, жалок,
что князь замученный, лежишь.

Увы! Не снять мертвецких пленок
с безумных ослепленных глаз.

Ты – усыпленный мой дыпленок,
усопшей вечности рассказ.

11 октября 1955 – 20 января 1966

* * *

Ах, у тебя ль любви учиться?
Но если хочешь, так учи!
А эти хрупкие ключицы –
к какой душе они ключи?

Ну, знаю, знаю, как добра ты!
Ты – поцелуй, губы, рты.
Но разлагаю на квадраты
твои небесные черты.

30 ноября 1955 – 18 января 1966

1956

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ

Jag gđknar ej min saknads stunder.

*E. Tegn r**

Я времени не замечаю
в передвиженьях черных звезд,
а Новый год опять встречаю,
как праведник встречает пост.

Эх, звезды! Что бы с неба спасти им,
как спелым яблокам зимой!
И «С новым годом, с новым счастьем!»
звучит из дали снеговой.

Часов у счастья не считаю
и в навалившемся году
тихонько у вселенной с краю,
как за околицей, бреду.

И чье-то счастье подбираю,
как бы опавшую звезду.

1 января 1956

* * *

Я вышел из всех квартир.
Свистят ветра-грабители.
Голубоглазый мальчик Мир,
за что тебя обидели?

* Часов утраты не считаю. Э. Тегнер. (Перевод С. Петрова.)

За то ль, что у тебя, малыш,
душителя повадки?
За то ль, что тайна, темь и тишь
склонились у кроватки?

Нет, видно, у тебя родни,
и вот тебя из жалости
хотят воспитывать одни,
хотя бы и по малости.

Но ты, как друг, всегда другой,
и помыслы благие
отводят в сторону рукой
и машут ей – другие.

28 января 1956 – 22 января 1966

ЭПИТАФИЯ ЗЕРКАЛЬНОМУ КАРПУ, УСНУВШЕМУ В ВАННЕ

Там, где окаменелый скарб
таскают на спине улитки,
не ведая, куда девать пожитки,
ты царствовал, великолепный карп.

Ты жил в подводных медленных палатах,
считая воздух фактом пустоты,
неутомимо-мирный рыцарь в латах,
вегетарьянец и философ – ты.

Вода казалась ладом музыкальным,
когда, как плектр, плавник дрожал,
и телом, как сознанием зеркальным,
ты мир текучий отражал.

Среда вокруг тебя смыкалась плотно,
как славный и прозрачный поцелуй,
а ты и ел, и нес великий вздор болотный –
чушь на экранчиках чешуй.

И, жизнь во брюхе сладко оболваня,
эпикурействуя между забытых трав,
в эмалированной ты умер ванне,
как старый стоик, стога не издав.

28 января 1956 – 25 января 1966

* * *

И книгу матери-природы
Они читали без очков.

Тютчев

Лежал закат, мертвецки палев.
Века играли в дурачки,
а я, очки на нос напялив,
как буравы, вонзал зрачки.

Река сверкала кривизною
строки, мелькнувшей за бугор.
Был мир раскрыт передо мною,
как договор дремучих гор.

Увы! На знаках препинанья
вслепь спотыкаются слова.
Когда бы сразу наши знанья
порвать, как рабские права!

27 февраля 1956 – 25 января 1966

* * *

Зачем мы не роли играли
и был это не драмкружок?
Так в оперу нам не пора ли
собраться, недолгий дружок?

Пусть срок наш недолог, да дорог!
Но как же любви расцвести,
когда Ромео за сорок,
а Джульетте нет тридцати?

28 февраля 1956 – 25 января 1966

Я, ГОД И ВЕТЕР

Пролетает ветер наугад,
у него натура волевая,
и, простор едва одолевая,
год ползет, как злободневный гад.

Вширь и вглубь привольно дышит луг,
зыблет робко лютиков коронки.
Ветер, на воде завив воронки,
травам крутит вихорьки вокруг.

Я бреду, одно из темных стад,
брякая неволью в колокольца.
Судорожно сдавливаясь в кольца,
под копытом вьется смертный гад.

7 марта 1956 – 29 января 1966

* * *

...И скажут, прифыркнув: «Ну что в ней?»
И всё же, когда мы вдвоем,
ты кажешься легкой часовней
на перекрестке моем,

моей заповедною ровней,
похожей на добрую мглу,
и, право же, так нехитро в ней
забыться, как в темном углу.

Как робки у нас поступки:
не поступь они, не шаги.
И если б ласкаться, что к шубке,
ко взору, в котором ни зги!

Как ветер, шептать тебе в ушки,
что ты у меня на плече
милей новгородской церквушки,
где мрак об одной свече.

19 марта 1956 – 29 января 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.

Бухали колокола и вызванивали,
птичья весна в небесах трезвонила...
Так было давным-давно,
что еле помнится.
И бежало детство.
И жизнь на телеге ехала
или рядом плелась
и плела окоlesiцу.

И устал я считать кусты да вежи,
а вот поди ж ты!
Еду да еду.
Липнет грязь на колеса,
сам вязну в тучах,
а то глаза заслоняю ладонью от солнца...

И вот я в богоспасаемом Новгороде.
Но отчего колокола не вызванивают:
сорок пять, сорок пять, сорок пять?
Казалось бы, дело подбирается к вечеру
и надо бы мыслям на боковую.
Куда там!
Как нищий,
бредущий от всенощной,
бормочу суетливо
псалом восторженный:

«Я родился в Благовещенье».

7 апреля 1956

* * *

Язык велик, могуч и древен.
И, как в бору, я ждать готов
не мной загаданных царевен,
не мною кликнутых волков.

Боюсь я, что в пути, царевна,
на лапти мне не хватит лык.
И рядом волк идет смиренно,
лениво вывалив язык.

22 апреля 1956

* * *

Двигаюсь, ей-богу, понемногу,
да и то шагаю я не в ногу,

ибо для общественного такта
не хватает выдержки и такта,

ибо никогда не мог постичь я
Кодекса Великого Приличья.

Что ты, песня, там ни затевала,
никогда я не был подпевала.

Петь я в хоре, право, не умею,
ну а солом и совсем не смею.

Если так, то будь ходячей дыркой,
такта нет – тогда мурлычь да фыркай.

20 мая 1956

* * *

Увы, солдатскою побудкой,
погодкой хмурого жилья,
какой-то радио-погудкой
предстала утром жизнь моя.

Так завтракай же и не сетуй!
И смех и горе вместе тут.
И я развернутой газетой
пошел на службу в институт.

июнь 1956

* * *

Со мною в накрахмаленной столовой
сел рядом юноша белоголовый:

он был, как водится, в цвету и в полной силе.
И если бы теперь меня спросили,

хочу ли на остаток жизни разом
стать этаким цветком голубоглазым,

то я б ответил, тыча вилкой в блюдо:
«Едва ли. Я умней тогда не буду».

июнь 1956

В ДАЛЬ

Как только в даль я загляну,
так всё былое я лягну.

Оно, как ветхий княжий род,
куражась, всё равно умрет.

И там, где был поставлен склеп,
посеют беспечальный хлеб.

Так и не нужно полумер.
Ведь умер век назад Гомер.

Потом придет другим черед,
и Гёте через век умрет,

и вскоре позовет Шекспир
друзей на похоронный пир.

И новый вырастет язык,
и новый рев, и новый рык.

Великих провожая в даль,
мне и теперь их, право, жаль.

8 июля 1956 – 14 февраля 1966

* * *

На последней тропинке августа
грязь замешана густо-нагусто.

В лес босая бежала Золушка,
а за ней покатилося солнышко.

С лапок елки росинки капали
на подосиновик в красном капоре.

Вбит в траву он был вроде колышка,
и его обломила Золушка.

Это в шапочке красной счастьеце,
это утро вовек не заститя.

Что там туфельки или платьице!
Всё окупится, всё оплатится.

Солнце с листьев берет стеколышки
для своей босоножки-Золушки.

20 августа 1956

ФИЗИК

Скажу, как император в речи тронной
(платок ведь не накинешь мне на рот):
– Приветствую тебя, мой электронный,
бесчисленный и крохотный народ.
Ты муравейник мой молниеносный,
ты грозный рой в Ничто летящих пчел.
Встав во весь мозг, и головной и костный,
ужели я бесчисленное счел?
Вы нынче благостные работяги,
я вас великой Воле посвятил,
и вы сильнее Ньютоновой тяги
и равновесья мертвенных светил.
Вы яростная кровь вселенской плоти –
эритроциты, шарики, нули!
И кажется, что по своей охоте
вы трудитесь в казну всяя Земли.
Мои рабы засели не во мне ли?
Не я ли возвеличен их трудом?
А если бы холопы поумнели
и подняли средь бела дня содом?
Я император поля, но не брани,
и вижу всё большее и сильней:
во мне, как на бледнеющем экране,
шагают мысли сторбленных теней.
Они потусторонние мыслишки,
и вредно им движение в излишке.
Мои рабы! А всё же – кто их знает,
не взрыв ли ненависти затевает
их скопище? И на какой манер?
Нет, сам я организовал их массы,
я сам, как маленьких, отвел их в классы.
А если бунт? А вдруг не хватит мер?
О боги! Мой конец вы отдалите ль?

Не рухну ль я, безвольный повелитель,
я, император и революционер?

21 октября 1956 – 14 февраля 1966

ВСТУПЛЕНИЕ К ЗИМЕ

Мороз осенний за ночь рос да рос.
Ужель зима уже, и первый иней
осел, как бы рассеянный склероз?
И ломит голову. И нет углей в камине.
И тянет за душу. И нет любви в помине.

Чем в комнате родимого тепла
становится, как в теле, меньше,
тем дальше я уехал бы со зла,
совсем к зиме! Куда же? Не в Тюмень же?

А сколько пепла ссыпалось с сигар!
Где всякие потуги и увертки?
И жизнь моя уходит, как угар,
в студеную дыру раскрытой фортки.

3 ноября 1956 – 14 февраля 1966

1957

ИМЕНА

Увы! Не избегну я плена
прелестных, как пальцы, имен.
Явзора, Ядвига, Елена –
цепной колокольчатый звон.

Пройдись по душе, повтори я,
так разве не ринутся вновь
Ирина, Марина, Мария
и Вера, Надежда, Любовь?

В веках меня имя долило,
себя, как гранат, разломив,
оно – Магдалина, Далила,
Сусанна, Юдифь, Суламифь.

Как сказка, как миф, как баллада
и как неизбытая быль,
Светлана, и Леда, и Лада,
Рогнеда, Эсфирь и Рахиль.

Томило, и спьяна затмило,
и, далью обьяв, повлекло:
Наталья, Татьяна, Людмила
глядят в зеркала и в стекло.

Но имя – икона иль фольга
вкруг ликов блудниц и мадонн?
Азалия, Юлия, Ольга –
венец из любимых имен.

И как за любовью – за новой,
сквозь звуков захват и зажим
неистовым рвусь Казановой
за именем чьим-то чужим.

7 января 1957 – 18 февраля 1966

* * *

Он – Жак, Прометей иль Кирюха,
державный потомок служак.
Но мысль разопрет ему брюхо
и жать его будет пиджак.

Эпохи доподлинной похоть
в нем точно сказаться должна.
Его быстроекрылая похоть
архангельской мощи равна.

И втайне он враг моногамии.
У многих он будет одним.
Земля глубока под ногами,
и тесное небо над ним.

17 января 1957

* * *

И как же люди будут хороши,
отдав души последние гроши.

О доброте не будет и помину:
в них долг войдет, подобно витамину.

В них будет честь, как составная часть
того, что следует в основу класть.

Руководимы должными умами,
не будут дети плакаться по маме.

И станет ум как некий дух святой,
гордящийся всеобщей правотой,

не ведающий ничего иного,
чем то, что есть, что было и что ново.

В последний раз тогда заплачет страсть,
что даже взглядом нечего украсть,

что друг о друге всё давно известно,
что существуют люди слишком честно.

Три качества придут тогда во рвенье:
старание, размеренность, терпенье.

Авось же и отыщется чудак,
который вдруг затеет кавардак

и вознесется голосом опасным:
«О, если б хоть на грошик быть несчастным!»

30 января 1957 – 18 февраля 1966

БЫКИ У ИЛЬМЕНЯ

Как памятники поперек реки,
слепые одинокие быки.
Вода колотит их с разлету в грудь.
Они же знай глядят на водокруть –
не диво, чтоб они и заворчали,
что столько лет без дела здесь торчали.
Река времен в своем теченьи
их обрекла на долгое мученье

стоять по-ученически столбом.
Воды не прошибешь и лбом.

И каждый бык, как серый век, живет
и одинок, упрямо каменя.
Нет, кажется, они еще древнее:
то высунулись идола из вод,
дабы опять хранить леса и дола,
и соблюдать в порядке свой народ,
и гладить ласково себе живот,
от жертв и сонный, и тяжелый.

А берег с берегом не сведены,
век с веком не сошлись. И стал во фронт,
стал поперек дороги и волны
быков окаменелый бунт –
восстанье идолов безглавых
противу правых и неправых.

4 февраля 1957 – 21 февраля 1966

НА ИЛЬМЕНЕ

Нет, разумеется, Ильмень совсем не Гомерово море.
Медленный день и вода совершают свой круговорот.
Катится бледное солнце, и вот в первобытном просторе,
как на окраине мира, чернеющий парус плывет.

Шествие древних ладей, и скорбные реют ветрила.
Кто сюда правит свой путь – Агамемнон, Тесей иль Харон?
Мойрою время мое или Бабой Ягою хитрило,
и этот мертвенный день только кажется днем похорон?

Вижу: в туге напряглись грудью тугие полотна,
и корабли-журавли жаждут родимой земли.

Катится легкое солнце, как мячик из рук, беззаботно,
грузные лодки рыбацкие к монастырю подошли.

Вижу, белесый лохмач не спеша открывает консервы,
он в сапогах-водолебах, нож допотопный в руке.
Здесь старина проберется, даст Бог, в двадцать первый,
чтобы на донышке взгляда добреть и мужать в рыбаке.

Нет, измеряется Ильмень совсем не Гомеровою мерой.
Видно, и дни, и преданья уходят на самое дно.
Парус обвис на шесте, как желудок распоротый, серый.
Трудное, тканое горем, рыдай, вековое рядно.

17–19 февраля 1957 – 4 марта 1966

* * *

Господь Софию, будто белый камень,
на хмурые равнины кинул с неба.
И от нее по серой русской зыби
пошли круги: и красный, и зеленый.
И основал Господь на белом камне
и утвердил Свое простое царство
здесь, а не в гордом Риме вавилонском.

22 февраля 1957

ВАЛ

Сия земля была унылым Божьим лугом,
и вал на Волхове ревел, как тяжкий вол.
Господь-оратай сам большим зеленым кругом
в усердной пахоте свой верный град обвел,

дабы не преступил предела бес лукавый,
ни муринов его отъявленная рать.

И травы райские курчавою оравой
бегут на Божий вал в цветочки поиграть.

Невесту обвил он повязкой изумрудной,
завязан на веках, что крепкий узелок.
Недаром сам Господь сохою многотрудной
от векового сна здесь поднимал залог.

Софийской мудрости он перстень обручальный.
Куда я ни пойду – повсюду он за мной.
В годину радости и в черный час печальный,
как обруч, катится великий вал земной.

Еще крепится персть. Но сей Софиин перстень
от истовых врагов как я обороню?
Здесь вспаханы века, и я, их робкий сверстень,
Бог весть какой посев в три следа бороню.

И кто бы ни был тот божественный орадай,
Господь или народ, он так набушевал,
что по векам бежит мохнатый и объятый
зеленой яростью, но не девятый вал.

22 февраля – 22 ноября 1957

МИРОДЕРЖЕЦ

Зиждитель мира, я взираю,
как ночь от краю и до краю
в тиши звездами мельтешит,
морозной пылью порошит.

Я пережил зоны странствий,
но утвердил бесстрастный трон,
я, проносившийся в пространстве,
ничем не тронутый нейтрон.

Я точка, ставшая восстаньем,
я искра, скрытая в кремне.
Но отчего так вечно мне
над закругленным мирозданьем?

Не скрипнет у Вселенной ось.
Я точка, безответной ночью
стремящаяся на авось
к законченному многоточью.

По тяготенью иль со скуки,
как миллиардные шары,
как вымирающие звуки,
едва встречаются миры.

Каким же восклицаньем ночь я
с оси невидимой сверну?
Я точка, рвущаяся в клочья,
чтобы размыкать тишину.

Но небо над ночами немо,
и, памяти не шевеля,
как непонятная фонема,
ко мне доносится Земля.

17 марта 1957 – 11 марта 1966

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАРОСТЬ!

Да здравствует старость, пришедшая рано!

Пусть ноет, но радует гордая рана,
добытая с бою, с собою в бою.
Ее как забытую розу пою.
Ужель тебе жаль молодого смутьяна,

чья удаль вразвалку шаталась сполпьяна,
чей ум набскрень, как папаха галаха, –
баран-громовержец, любимец Аллаха?
Ужель тебе жаль завитого барана?

Да здравствует старость, пришедшая рано!

Зачем тебе памятью стыдно томиться?
Зачем тебе в молодость снова ломиться?
К чему тебе, право, на старости лет
влюбленная песня, гитара, стилет?
Иль с горя ты ждешь себе гурий Корана?

Да здравствует старость, пришедшая рано!

Великий ли прок, что, душой не старея,
коклюшем и корью болеют Орфеи?
Бывают до старости детские души,
которые сипнут до боли в коклюше.
Но память владычит, и крови тирана
бойцу захотелось – на то ведь и рана! –
Последнее зло и добро ветерана.

Да здравствует старость, пришедшая рано!

29 марта 1957 – 11 марта 1966

* * *

Вы видали, как *посты* на Ильмене
залетейские бледные дали?
И теней не окликнуть по имени,
и поди поминай, как их звали!

И меня вот нелегкая дернула,
убежав из каморки житейской,

ждать загробного паруса черного
из беззвучной пустыни летеиской.

Чу, маячит ладейка Харонова,
но злодейка-душа в полушалок
завернулась, и нет похоронного
плача воплениц горьких – русалок.

Обезлесело, обезголосело,
как поляны родимые ада,
это скудное скорбное озеро,
эта наша родная Эллада.

29 марта 1957

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.

По примете – завидная доля!
Но, еще будучи отроком,
я отучился завидовать,
ну а себе – и подавно.

Нерадостно было мне нынче:
с утра до вечера
погода хмурилась,
день слагался
ни по моему,
ни по щучьему,
а черт знает по чьему веленью.
И торчала в уме, как шест,
цифра 46.
Даже и пожилому трудно тут
удержать равновесие.
Но недаром я в детстве научился жонглировать.

Шест торчал,
качался,
но не упал.
Вот что значит эквилибристика!

Вместо птиц благовещенских выпустил я
трех рыб
на волю вольную,
в баламутные воды Волхова.
Сын, жена и я спустились с вала
и трех карпо-сазанчиков
(один из них был поменьше)
принесли на вязкий берег,
по которому разгуливал ветер.
И нырнули карпо-сазанчики,
помахав на прощанье хвостами...

Вот что значит эквилибристика!

А вечер слагался
ни по моему, ни по щучьему,
а черт знает по чьему веленью,
и торчал и качался шест...
И часы
приближались к полночи.
Переждал я все помехи,
из людей добродушных слагавшиеся.
А когда исчезли слагаемые,
сел к столу,
удержав равновесие,
и пустился выкидывать фокусы
над самим собой
новорожденным.
Я недаром учился жонглировать.
Вот что значит эквилибристика,
если я родился в Благовещенье.

Ночь с 7 на 8 апреля 1957

ИОАНН БОГОСЛОВ НА ВИТКЕ

Зеленый язычок от полуостровка,
поодаль робкие молелькищицы-березки,
и храмик крохотный приподнят, как рука,
у воздуха и вод на чистом перекрестке.

Не куколь высится, а кроткий куполок –
то скитник молодой в хитоне полотняном
забрел неведомо зачем на островок
и проповедует и водам, и полянам.

Он, на Господень мир руки не возлагая,
природы скудные благословит труды,
и вечной кажется та проповедь благая
весенней муравы, и солнца, и воды.

18 мая 1957

* * *

Где-то в светлых труппах мира
затерялась, любимая, ты.
И невольному сыну эфира
сколько скорби и маяты! –

Средь рокошующих и безмолвных
станций красться к тебе, как тать,
и на самых коротких волнах
и прислушиваться, и шептать.

Ты, Орфеева радио-лира!
Пробираюсь за пядью пядь.
Но на самой окраине мира
вдруг всё ясно – как пятью пять.

8 июля 1957 – 20 марта 1966

КАКОЙ-ТО АКТРИСЕ КАКОЙ-ТО ПОКЛОННИК

Служили вы Талии,
и в жизни веселая жрица!
Сложили в Италии
в могилу и маски и лица.

Как памятник-статуя,
надвинулась смерть-Мельпомена,
вас вечности сватая,
стоит тяжело и надменно.

Измаяны в мраморе,
вы ног не потащите сами...
Отчаянно на море
две чайки шумят парусами.

И, сидя на лавочке,
веночком завью ваше горе,
а годы, как бабочки,
уносятся вслед Терпсихоре.

17 июля 1957 – 20 марта 1966

ЕВРЕИНОВ

Напряженье и ожиданье,
скоморошествует монах.
И шатается мирозданье,
мирозданье о трех стенах.

Я у рампы чертова рая
вам пророчески говорю:
я возрадовался, играя,
что играючи жизнь творю.

Нет, не слогом складным и плавным
добродетельных повестей
говорю я о Самом Главном –
утешении от страстей.

Вы, страдающие скоморохи,
вы, монахи большой судьбы,
вы за каторжные крохи
напрягаете бритые лбы.

В обнищалои вселенской клети
и в хоромине озорной
вспомните о Параклете,
о печали его дурной.

Нет, томиться больше не буду,
шут гороховый во бытии.
Гримированного Будду
пожалейте, дети мои!

Никогда я, как небожитель,
на машине не вознесусь,
и уйдет от вас Утешитель
не на небо, как Иисус.

Пестрым нищим я вас покину,
упокоившихся во мне.
И распятому Арлекину
на четвертой висеть стене.

9 сентября 1957

* * *

Я во скорби и глубокой схиме
из страстей своих веревки вил,
но меня епископ наш Евфимий
на победный труд благословил.

Псы на вече будут веки грызться,
кровь лакать и лаять у хором,
дабы я во гневе летописца
их к бумаге пригвоздил пером.

23 сентября 1957

* * *

Смотря на знаки Зодиака
и совершая путь земной,
я думаю: созвездье Рака
стоит в зените надо мной.

Но я всё так же одинаков,
хоть угрожает бытие,
что мне покажет, где у раков
всегда бывает зимовье.

Быть может, я дурной астролог,
но на большое я не льщусь
и на одной из книжных полок,
как в тесном гробе, умещусь.

Не будет места крикам, дракам,
там слова вымолвить нельзя.
Вот так я и живу под Раком,
пока по-рачьи не ползя.

24 сентября 1957

* * *

Как тень ты теперь похудела,
а речи – и трепет, и бред.
Любовь – это частное дело,
души неприличный секрет.

Но лирика страсти раздела,
как дев для бесчестных смотрин.
Любовь – это частное дело,
а не манекен для витрин.

В витрине роняешь ты слезки,
сама себе тихий портрет.
Вот так выделяют железки
души непристойный секрет.

Пусть в жизни пощечины хлестки
и щеки трещат под рукой,
но нежные девичьи слезки
текут над любимой строкой.

В поэзии будут караться
и жить по амнистии вновь
проклятое слово «влюбляться»
и блудное слово «любовь».

Начало октября 1957

* * *

Запомню и осень, как желтый роман,
бульвар, и следы опечаток,
и губы твои, и последний туман,
и нежную кожу перчаток,

и столбики света в воде смоляной,
и морось, и стыд, и досаду,
и путь наш на целую муку длиной
по мокрому Летнему Саду,

и твой поцелуй, как осенних листов
касание, холодный и клейкий,
и грозное кружево темных мостов,
прикрытое серой кисейкой.

6 октября 1957

* * *

Исчерпан вечер. Тихо под откос,
не исчезая, едет темный воз,
как Вечности махина грузовая...

В огромном сне работника колхоз,
во сне натруженном лежит, зевая.
Урчание ль машины донеслось,
в утробе ль тронулся зародыш грома?
И на землю, недалеко от дома
сползает небо, как лохматый воз,
и, вспыхивая, сыплется солома...

Взметнутся сполохи в глухом пруду
и озаряют вымершие окна,
и черному могучему труду
слепые памятники – кучи, копны,
и вавилонскую скирду.

Вокруг стоит молчанье громовое,
такое гробовое торжество,
как будто бы себя же самого я
пришел к немому имени его.

Но нету ничего наперечет,
и кажется, что речка не течет.
В нутре у затонувшего колодца
не булькнет, с неба капля не сорвется,
ни с век слеза, ни с яблонь горький плод.
В пруду вовеки не убудет вод.
Так мне теперь почудилось, и вот
я всё считаю, вольный счетовод.
Ползет, как воз, соломенная Вечность...
Из хат ни дым, ни добрый сон нейдет.
О теплый сон, великий доброхот!
И верю нынче в Чисел безупречность
в конторской книге с надписью «Исход».

9 октября 1957

ЦЕРКОВЬ ПРОКОПИЯ

Кто тебя, игрушку, уволок
из немого каменного рая?
Не Господь ли, в шахматы играя,
взял тебя за смиренный куполок
и приподнял, чтобы сделать ход,
и, в игре не нарушая правил,
лишь сегодня, поразмыслив с год,
осторожно на землю поставил?

16 октября 1957

ВЕЧЕР 23 ФЕВРАЛЯ 1933 г.

Помню: слово за жизнь боролось,
а за сердце брал и волок
петушинный железный голос,
мандельштамовский хохолок.

Но сама Лорелея пела,
и звенела от злости коса,
и раскачивала Капелла
размалеванные небеса.

Неужели шабаша ради
кость в подкову ковал кузнец,
гвозди в строку вбивал на эстраде,
словно в гроб, великий мертвец?

Не к романтике и не к одам
возносилось слово его,
некромантия мимоходом
воскресила снова его.

И вернулись из дальнего плена,
как черницы со свечкой в руке,
Антигона, Лигейя, Елена
по тропе, как по узкой строке.

И бросались на мертвые души,
надвигавшиеся стеной,
боевой хохолок петуший,
голос ржавый и жестяной.

25 октября 1957

В ТЕ ДНИ

В те дни, когда ужом мой дикий пращур
еще не вился возле Перводрева
и тело тощее тащил и плющил ящер,
по животу земли распластывая чрево,
и, голову подняв, как кособокий ящик,
боялся неба и планет звенящих,

во дни свирепого накала и нагрева,
во дни великих вод, кишмя кипящих,
и папоротников чешуйчатопокровных,
во дни любовной страсти хладнокровных
и скользкой похоти чудовищ полуспящих,
в те дни, когда летали, и катались,
и сталкивались, и братались,
друг другу и гудели, и трубили
родные поезда, и монопланы,
и броненосцы, и автомобили,
когда пропарывали океаны
ракеты, взмахивая плавниками,
еще тогда, орудуя веками,
природа-рукосуйка во припадке
веселой силы строила догадки,
изображая вживе на модели,
что с ней самой случится в самом деле.

11 ноября 1957

ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА

Каждый раз родное открывая
в новгородском вымершем раю,
на пороге у ограды рая
и сегодня радостно стою.

Тело каменного каравая
словно на ладони предо мной,
и гляжу, его не отрывая
от родной поверхности земной.

Вон солонка купола резная
уцелела в ярости судеб.
И стою, по-прежнему не зная,
как откусать эту соль да хлеб.

Нынче взял у Господа права я.
А какой же, к черту, я Господь,
если не могу от каравая
откромсать хотя бы и ломоть?

Бедный каравашек даже с края
в этот раз отведавать не пришлось.
И гляжу, его не отрывая
из земли, куда он плотно врос.

29 ноября 1957

1958

1 ЯНВАРЯ 1958 г.

Я в ночь под Новый Год спешу прильнуть к окну:
оно – стакан с размазанной по дну
снежистой кашцей кефира.
Покинув сам себя, по кинополотну
ползу до ледников чеканных мира,
карабкаюсь козлом и, может быть, глотну
высокогорного эфира.

1 января 1958

ЕЛКА

Над судьбой кривоколенной
елка выросла – и вот
нам зеленою Вселенной
предстает под Новый год.

Случай сам ее украсил
на торжественный авось.
В запахе эфирных масел
неподвижно стала ось.

И рассыпаны с макушки
до корней, которых нет,
расписные побрякушки
звезд, сосуллек и планет.

Под зеленою Вселенной
разражается игра...

Ведь недаром я с Еленой
создавал миры вчера.

3 января 1958

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
И наступает моя весна,
весна на сорок седьмом году
от рождения моего,
в год тысяча девятьсот пятьдесят восьмой
от Рождества Христова,
поздняя,
студеная весна.
Снега с неумытым лицом,
непричесанные деревья,
лохматое утро,
позевывает старая жизнь в халате.
Но где-то потрескивают почки,
где-то попискивают птички –
и розовеет ушная мочка,
словно весенняя зорька,
теплее она потихоньку,
и я вспоминаю,
что я родился в Благовещенье.

7–8 апреля 1958

* * *

В домик у осени на задворках
я переехал и сразу слег.
Мыши пищат в задушевных норках,
ветер бессонный сбился с ног.

Вот он усилился, обозлился,
листьями попусту соря.
Вижу и сам, что Эол поселился
в сиплом предместьи у октября.

К вам на зубок, коготки-невелички?
А с кем на кулачки? С кем на дыбы?
К чертовой осени на кулички
я запичужен до самой судьбы.

май 1958 – 10 апреля 1966

* * *

Старый Новгород крепко сбит,
старый Новгород крепко спит,

неприступным сном обнесен,
и высок сей зиждитель – сон.

Память каменная тесна,
и война не сломала сна...

Но, как ломы, прошли года,
старость сделалась молода.

Запустили когти ковши,
зацепили за дно души.

Он забыл о былой красе,
и теперь он такой, как все.

26 июня 1958 – 1965

БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТКА

Раз на розовой на заре
вышла девица на крыльцо,
на березовой на коре
нацарапала письмецо.

Мила друга она звала
выйти под вечер в зелен сад,
мила друга она ждала
пять столетий тому назад.

И не ведала, что мил-друг
эту грамотку в грязь швырнет,
что притопнет ее каблук,
что рука на нее махнет.

А когда пять веков прошли,
на заре, да не поутру
взяли бережно у земли
ту березовую кору.

20 июля 1958

НИКОЛА НА ЛИПНЕ

Поднимаемся мало-помалу
вдоль по Сиверсову каналу.

Как в дреми **и** полноводной едетя.
Розовеетя Спас-Нередица,

и просторы простыми кустами
шевелят, как пустыми перстами,

и осок разбегается стая,
из смиренной тиши вырастая...

Пробежали века, что ливни,
над Николой скорбным на Липне.

Отгуляла свое голь кабацкая,
отбыла беду жизнь рыбацкая!

Где ни плюнь – угодишь в греховодника,
не осталось дел у угодника.

Глянешь – умник сидит на умнике.
Ну-тка, сунься к такому в заступники!

И громадинку одинокую
в даль закинуло, в даль далекую...

А кругом – тишина необзорная,
а кругом – ширина озерная,

а кругом ни двора, ни колышка –
только каменный спит Николушка.

26 августа – 4 сентября 1958

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ

Ох, дорожка скользкая
и погодка свинская –
улица Никольская,
улица Ильинская.

Эка! Жизнь каковская!
Да судьба бедовая –

улица Московская,
улица Садовая.

Гирия стопудовая,
голова витийская –
сторона Торговая,
сторона Софийская.

Вымочило здорово,
и спросить-то не с кого!
Разве что с Суворова?
С Александра Невского?

Стукнула ль не ты меня,
капля с неба волглого,
родственница Ильмена,
падчерица Волхова?

Чтобы рыбы тони я
брал из ила донного
с помощью Антония,
прямо у Антонова.

5 сентября 1958

* * *

Сижу я в саду на лавочке,
сижу без волшебной дудочки.
Жеманно поджавши лапочки,
как девочки, вьются бабочки,
одетые в белые юбочки.

Глядишь, одна и опустится
на руку и усиком ластится.

Пусть выпорхнет милая узница,
но смятое – нет, не разгладится,
и платьищем чистым капустница
за счастьеце девичье платится.

15 сентября 1958

АНАТОМ

В прозекторской легли они неровно,
распухшие и скользкие, как бревна,
извергнутые времени рекой.

Анатом, с ними маясь день-деньской,
кромсает их, как дюжий плотник,
вскрывает с вечной сущностью кишки.
Шутник он и до рюмочки охотник,
а веки – словно сизые мешки.
И кажется, что дню конца не будет,
а за окном такая муть и нудь!
И всё же в грязное окно взглянуть
анатома скупая скука нудит.

И он следит за Вечностью больной,
больной, как осень, как сама погода,
на город налетевшая весной.

И вот во всем величии уroda
распластан голый бывший человек,
и вот всё тяжелее из-под век
глядит анатом на свое творенье,
на стереометрическую плоть,
и, тяжести не в силах побороть,
он пробует еще продлить боренье.
Но чудится ему, что на столе
лежать куда милее, чем в земле.

О логика костей и сухожилий!
И вот уже глаза ему смежили,
как пластырем, две липкие слезы...

А в городе великий труд грозы:
она там засыпает пасти труб
дождем зернистым. День как Вечность прожит.
Анатом засыпает. Пасть и труп
в бою за этакую Вечность может.

17 сентября 1958

* * *

Сам, не сам – по речке на моторке
еду вниз да вниз.
Город, как на чистеньком пригорке,
в воздухе повис.

Старицы – церквушки-вековуши,
удаляясь с глаз,
напевают человеку в уши
на четвертый глас.

23 сентября 1958 – 14 апреля 1966

НЕВСКИЙ ВЕЧЕРОМ

Невский вымок, но ничуть не зябнет.
Невский вымыт до ночного блеска,
отшлифован и отполирован,
будто ювелирный магазин.

О неоновые изумруды,
и рубины, и аквамарины,

хризолиты, желтые топазы
и такие мирные сафиры!
Окон неграненые алмазы,
фонарей опаловые бусы
и играющие на подвесках,
собирающиеся в гирлянды
электрические бриллианты.

Только жаль, что жадный день приходит,
каждый день неудержимо грабя
этот ювелирный магазин.

26 сентября 1958

ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ

Этот край – сплошных напастей скоп.
В скудости и в богачах замочен,
лес не рос, и луг был заболочен.
Корчевал камень землероб
и, судьбой корявой озабочен,
гладил валуну могучий лоб.
С места идола не мог сволочь он,
и тогда, не разбирая троп,
словно юрод, отправлялся прочь он,
шел в суровом сумраке трущоб,
там, где хлам веками наворочен,
но, недвижим и, как вечность, прочен,
по-мужицки, без ученых проб,
город был здесь на века сколочен,
как огромный и великий гроб.

26 сентября 1958

АЗ ВОЛЬНЫЙ РАБ БОЖИЙ, СЕРГИЙ

Аз ныне стал игумена старей,
и мне душа явилась, полузрима,
и ныне я бегу монастырей,
устав от вас, канон, устав и схима!
Блуд Вавилона и гордыня Рима,
разврат Содомы и Гоморры смрад,
Москва и Новгород – продажный град, –
на вас взираю скорбными очима
аз, грешный, – речке и болотцу рад.

Нет, я не настоятель и блюсти
ни чина не смогу, ни вас, монаси!
Авось же доберусь я во свояси,
чтоб лапотки по-божески плести,
и лягу наземь в некий день ничком,
склонясь над булькающим родничком, –
о, темечко младенческой землицы!
Звенит, упавши в травы, чистый ключик,
и листики – как ангельские лица...

Нет, не по нраву мне влачиться в лучших,
пусть почестей мне и по гроб не счесть –
я добродетелей не чту за честь.
Налево смертный бор стоит, а справа
шумит моя последняя дубрава,
и быть хочу я перед Богом чист,
как вылупившийся из почки лист.

Мне имя – как душа, как тихий свист
малиновки иль пеночки весной,
как рокот кроткий горлицы лесной.
И в неумной тишине ночной
еще звенит в костях Господень зной.
Но я над воссиявшею казной

не трепещу, как некогда Кашей,
и не ищущу покорствия вещей.

И звезды, богородицины серьги,
запутались у леса в волосах,
звучит душа в дремучих чудесах,
как песенка... Писах еже писах,
во имя Божье. Беглый инок Сергей.

7 и 8 октября 1958

* * *

По-за углами нас расставив, как фигурки,
чтоб плутовства ее не подглядел никто,
мадмуазель Клио организует жмурки,
чтоб их когда-нибудь изобразил Ватто.

И вовсе не беда, что выйдет потасовка, –
игра истории и больше ничего!
Мадмуазель Клио – немножко философка,
ей ловко, ей с руки, а нам-то каково?

16 октября 1958

АЛКОГОЛЬ

Хожу я ужинать в столовую,
куда валят под вечер лавою.
Откупорив белоголовую,
я в рюмке, словно в море, плаваю.

Сиди да знай себе поикивай,
соседу всякому поддакивай,
что ходим-де под дамой пиковой,
что фарт у нас-де одинаковый.

А выйду – почему-то улица
во всю длину свою бахвалится.
Пускай за домом дом сутулится,
да только нет, шалишь! – не свалится.

Пусть путь и вымощен, но немощи
не будет ниоткуда помощи,
хотя от горя я не нем еще,
хотя со счастьем не знаком еще.

Как насекомые, пиликая,
и тикая, и даже звякая,
таится тишина великая,
а в тишине и нечисть всякая.

И сколько хожено и гажено!
И сколько ряжено и сужено!
И есть ли где такая скважина,
чтобы забиться прямо с ужина?

16 октября 1958

* * *

Как яичница, лужок поджарен
на жестоком солнечном жиру.
Из тракторов летних и поварен
носят в ведрах смертную жару.

В роще, будто в деревянной бане,
знай себе полеживай и прей,
а в ложбине, как в медовом жбане,
и кипит и пенится кипрей.

Полежу я в баньке не для вида,
ибо нынче лажу я с собой.

Нагишом в кипрей попрет Киприда,
в этот алый луговой приборй.

От души и до души разденусь
и в пучину кинусь я тогда.
И блаженная богиня Венус
будет мыться в зное без стыда.

Стану оной Венус я под пару,
и она окажет парню честь.
Будем вместе нынче с вару, с пару,
с пылу, с жару пить, любить и есть.

17 ноября 1958 – 16 апреля 1966

ЕЗДА ПО БЕССОННИЦЕ

Это страшно, когда не спится,
и не снится, и грудь тесна!
Неужели я пятая спица
в колымаге тяжелой сна?

О чудовищный сон на колесах!
Цепеней, леденей, костеней!
По стене ходят тени в колоссах
и глядят грозней кистеней.

Как до звезд, далеко до ночлега.
Кто мне черные веки скрепит?
По степи пробираясь, телега
и кряхтит, и костями скрипит.

И карабкаются нагорья,
и сгибаюсь я в три горба.
Как изба, ушедши с подворья,
тарахтит вдалеке арба.

Чу, копыта зацокали! Снится!
И, как ветер, уносится прочь,
задевая лицо, колесница
в триумфальную пропасть и ночь.

17–18 декабря 1958

* * *

Не в сердце ли потыкивая,
меня швыряешь в дрожь?
Зачем ты, доля лыковая,
семь шкур с меня дерешь?

Но каблучком пристукивая –
что гвозди во гробу, –
топчи же, горе луковое,
топчи полынь-судьбу!

Любовь медово-липовую,
печаль-пчела, ожаль!
Не кукшусь и не всхлипываю,
не сетую, – а жаль!

Пусть боль, птенцом попкивая,
надеется спроста.
Коль положенье пиковое,
так ставят три креста.

18 декабря 1958 – 17 апреля 1966

1959

НАПУТНОЕ СЛОВО НАУКЕ

Подательница благ и бед,
наука удалая,
тебе отвернется Тибет
и духа Гималайя.

От гибели верстах в трехстах
(а мы-то чем повинны!),
ракетка у тебя в перстах
торчит копьём Афины.

Ты на цепях воздушный мост –
ко гробу или к трону?
Ты можешь сдать себя, как мозг,
на пробу электрону.

Ты вся – попытка и порог,
ты – новый Ненасытец,
ты вечный срок, ты точный прок,
и не собьют тебя с дорог
ни добродетель, ни порок,
а вдруг – и ни при чем тут рок –
сама ты брык с копытец?

А вдруг блаженством осенят?
В чужом пиру похмелье?
А вдруг ты резвых бесенят
домашнее изделие?

12 января 1959 – 20 апреля 1966

* * *

Просветлел уже лоб у зари,
капли *об* землю хлопаются.
На воде тяжело пузыри
нарывают и лопаются.

Тяжело на душе у троих.
Рядом быть – неурядица.
Утихает бессонница, но
не клеится – не ладится.

январь 1959 – 20 апреля 1966

ИНДЮШКИ

Как дамы вдовы, которым скоро сорок,
благопристойности нелегкий дав обет,
не торопясь они клюют червей и творог,
академически едят они обед.
Их платья скромные без рюшей и оборок,
чтоб не дразнить сорок и не накликать бед,
чуть-чуть поношены. Но бархат ах как дорог!
И вот, затянуты в презрительный корсет
и сзади подложив по крохотной подушке,
интеллигентные они лелеют тушки.
Смешные вдовушки, они едва-едва
проквохчут изредка тревожные слова,
благопристойные ученые индюшки!
Поднимут лапку – раз, потом опустят – два,
и в такт шагам таким кивает голова.
А что у них, у вдов бездомных, на уме,
и Дюку Индюку проведать невозможно...
И, платья приподняв, ступают осторожно,
боясь запачкаться в невидимом дерьме.

27 января 1959

ВОДА, ПЕСОК И ЛЮДИ

Давай, философ мой, как римляне, возляжем
на том песке, что называют пляжем,
где издали платки, купальники, зонты
пестреют, как грошовые цветы,
где отлитые солнцем Аполлоны,
как мускулистые колонны,
идут шумливыми рядами над водой,
поигрывая силой молодой,
а белобрыски или черномазки
лежат навстречу им, как юные плоды,
и с напряжением, как щеки из-под маски,
им улыбаются наивные зады.
Философ мой, пройдемся поскорее
по этой заголенной галерее!
А солнце весом в тысячу карат
само себя отдаст за этикие нюшки –
за ляжки, за голяшки и заднюшки,
за этот откровенный маскарад.

30 января – 8 мая 1959

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.

Старею и крепну.
Под старость
из конуры собачьей,
из норы барсучьей
высунул голову
и что-то прошамкал вполголоса
с юношеским задором.
Укоротили меня, да не укоротили –

тявкаю понемножку,
чавкаю потихоньку.
А в общем зверь я предобрый,
куда добрее людей звериных.
Авось, авось хоть под старость
совершу я великую глупость:
заговорю непонятым голосом,
голосом человеческим,
человечным и человеческим,
и тогда скажу, умирая,
что я родился в Благовещенье.

7 апреля 1959

* * *

Давно лежит зима в измявшихся подушках,
старушка бедная водянкою больна.
Речонкой резвою у ней на побегушках
живет веселая курчавая весна.

Ах, барыня-зима! Играет на графине,
звения водой и льдом в граненом хрустале,
воспоминая луч, и плачется графине,
и слезы в три ручья запели о Земле.

19 мая 1959

* * *

Стоит на одной ноге завод
и, одноглазый, как Полифем,
самоуправляется без забот
от головы до пят Бог весть чем.

А в зрачке, разинутом как рот,
в зубастом логове зубчатых идей
у грозного пульта Бог весть чего ждет,
пригорюнясь, малюсенький Одиссей.

2–3 июня 1959

ПЕСЕНКА ПРО ХАХАЛЕЙ

Ехали хахали,
нахал на нахале,
а девчонки ахали,
платками махали
и вздыхали.

И очи незрячие
провидели радости –
объятья горячие
и прочие сладости.

А хахали проехали,
нахал на нахале.
И не от смеха ли
колеса громыхали?

17 июня 1959

* * *

Бегут воспоминания босые,
как светлый дождь по травам расписным.
Какие сны, дитя мое, Россия,
увидишь ты под небом голубым?

Бегут ясновидения косые,
и черный дождь сечет сухой экран.

И древней славой ты паришь, Россия,
орлицей, матерью блаженных ран.

Но вот когда векам большеголовым
не нужно будет на тебя пенять,
то станешь ты старинным русским словом,
которое не всякому понять.

22 июня 1959

ЗЕРКАЛО

Мне зеркало всё чаще замечать
старается, что стал уже стареть я,
что на лицо мое кладут печать
обидные предсмертные столетья,
что оформляют грозные века
почти законченного старика.

Ах, зеркальце, свеча, стакан, кольцо!
И в старости гадания немало.
Она ходила слушать на крыльцо
и темный след из снега вынимала.
А в общем-то какая благодать,
что еще можно думать да гадать!

И в день моих румяных именин
не помяни меня, бедняжка, лихом!
Ах, зеркальце! Ты только страж седин,
а хочешь быть сестрою щеголихам.
Ты сморщилось. Коробится стекло.
И вновь в морщинках время потекло.

18 июля 1959

* * *

Вскипает буйная долина,
июнь кидает в жар и в раж,
в цвету невестится калина –
печальный русский флёр-д'оранж.

Шумит просторная природа
травую душистой и сухой.
В костре обуглилась колода,
над ней кипит котел с ухой.

Толпится небо за стогами,
и, словно младшая сестра,
плутает речка меж лугами,
и быстроводна и шустра.

Плутует слева, дразнит справа,
шныряет, в рот воды набрав,
и в сомлевающие травы
ныряет, в прятки заиграв.

Избави Бог меня от сплина
и от брюзжанья старика,
пока невестится калина,
пока ребячится река.

22 июля 1959 – 13 мая 1966

СПАС-НЕРЕДИЦА

Озера Божии лежат вокруг, как лужи
отлившегося шесть или семь веков дождя.
Ты вышла на лужок, ребенок неуклюжий,
плечами скорбными неловко поводя.

Большоголовая, – ни малец, ни девчушка, –
невеститься тебе еще не выпал срок,
и смотришь, как в лугах запуталась речушка,
как бегает в кустах братишка-ветерок.

И мыслишь медленно о хлебах и о рыбе,
о чуде благостном, о Кане и вине,
о том, что семь веков стоишь ты на отшибе,
что семь веков мечты ты берегла во сне,

что сватов не ждала, что не знавала блуда,
что ты росла, чужим улыбки не послав,
но что тебя, Руси малюсенькое чудо,
брал на руки к себе и нежил Ярослав.

И вспоминаешь ты, как мыслей живописных
по стенам доходил до неба пестрый строй.
А ныне ты стоишь, стоишь в былых и присных,
стоишь гусятницей и доброю сестрой.

Как лужи Божии, лежат вокруг озера,
и снова над тобой склонилась тишина.
И с младших братьев ты опять не сводишь взоры,
хотя душой давно ты опустошена.

17 августа 1959 – 2 июня 1966

* * *

Пространство лежало и никому,
казалось бы, не мешало.
Но кто-то затеял кутерьму
расчетливо, но шало.

И вот с земли еще сырой
по мановению пальца

вспорхнул комаров металлический рой,
в лазурь вонзая жалыца.

Не шевельнулся вселенский Слон,
не дрогнули серые уши,
и еле выдерживал небосклон
давление этой туши.

И в силу некоторых вещей
взлетели (и сами рады!)
из точно рассчитанных пращей
отточенные снаряды.

Пространство зевнуло и улеглось
вздремнуть бегемотом в болоте.
А сколько наглых и глупых глосс
напишут к этой охоте!

12 сентября 1959 – 2 июня 1966

* * *

Ужели я и в этот раз не спасся?
Да кто же, право, улизнет
от магнетического пасса,
который в круг судьба замкнет?
Он спустится, как неизбежный коршун,
но еще буду я от холода потеть,
а сердце колотиться, словно поршень,
и кровь стучать в виски, и легкие свистеть.

Еще работает корявая машина,
еще ткет дни надтреснутый станок,
еще точны движенья рук и ног,
чтобы наткать последних три аршина.

И вот за то, что я всю жизнь был вечен,
с веселой беззаботностью детей
отмахиваясь от своих смертей,
за это мне покой бездонный обеспечен.
Но прежде буду изувечен,
и будет коршун драть на части печень
и цепи рвать малышка Прометей.

14 ноября 1959 – 18 июня 1966

* * *

С недоумением и страхом
шепчу я полночи бессонной:
пойду, как всё на свете, прахом
своею собственной персоной,

и упокоюсь я навек там.
Не хитрость – стать себя мертвей.
Но прежде сделаюсь объектом
слепого рвения червей.

Пусть попаду я в чьи-то предки,
но не уйду я от тоски,
что от объекта лишь объедки,
огрызки, кости да куски.

15 ноября 1959 – 18 июня 1966

1960

НОВОГОДНЯЯ ЭЛЕГИЙКА

Что ж новому неведомому году
я сочиню – элегию иль оду?
Он прячется еще в трущобе дней.
Как знать, не будет ли еще бедней,
чем брат его, покоящийся в урне?

Пусть философские гадают дурни
о времени и судят вкривь и вкось.
Я вижу: год, насаженный на ось,
вращается, а дни шагают врозь.

И вот метель валит четвериками,
Земля пошла ходить материками,
играет век, и карта – хоть ты брось!
Хоть дунь, хоть плюнь! Видение не сгинет.
И в снежном зеркале давно ни зги нет.

Гадальщик мой! не ерзай, не елзь!
Игрок извечный! Год – твоя эпоха,
математическая суматоха,
в которой мне поводырем Авось.

1 января 1960

* * *

Давай скорее глаз метнем,
послав его ракеткою,
взглянуть, что будет за плетнем,
за этой летней сеткою.

Среди взлохмаченных лугов
речонка всклень валяется
и выскочить из берегов
нахально похваляется,

грозит создание затопить
и с мироподозрением
предметы кроткие убить
духовным озарением.

Не всем кудахтать за плетень
надсевшейся наседкою.
Не тыном огорожен день,
а теннисною сеткою.

Играй же яблоком в лапту
и вольною орбитою
пошли его за грань-черту
невидимую битою.

Что принесет он, этот плод?
Какую прелесть сладкую?
Что он увидит и найдет
за собственной сетчаткою?

За оком некое Оно.
Быть может, и не мед оно.
Сучок ли, лыко иль бревно –
мне это, право, всё равно,
коль помнить старости дано,
как взор ломил свое окно,
и как игралось нам давно,
и сколько было метано.

начало февраля 1960 – 2 июля 1966

В СКАЛЬДИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ

Во ржи гудит жара, почти кося людей.
Горят пруды сухие и родные.
Стоит скрипучий крик железных лебедей,
и сыплют стебли слезы наливные.

И загорелый труд взрезает желтый пруд,
как тело будущего каравая,
среди громадных шелестящих груд
путь к доброй славе прорывая.

А пруд, творение народа и земли,
покорствуется размахам лебединым,
и слезы в чрево льют великие кули,
и воздух – как кувшин с глотком единым.

начало марта 1960 – 2 июня 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
Семью семь, семью семь, семью семь!
Так названивают
маленькие
колокола.
Так постукивает кровь в висках.
Семью семь!
Это ухает сердце.
Семью семь!
Это жизнь в квадрате,
в наивозможнейшей
квадратуре круга.
Темью тем
она обступила,

тенью сказочных тем
проскользнула,
пробежала
и на бегу
сказала:
«Ты кончаешься!
Бегай по кругу,
бегун и беглец!
На дорожке торной
ты качаешься.
Лай же и бегай,
песик бедненький на цепочке,
бегай вокруг дощатой конурки,
гробовой собачьей будки,
в основании у которой
вековечное семь в квадрате».
И ответил я этой тени,
тени тем,
заслоняющих солнце,
тени тем,
в уме пробежавших:
«Ничего!
Беги, Эвридика!
Не услышишь ты плача Орфея,
повторю еще раз упрямо:

я родился в Благовещенье».

7 и 8 апреля 1960

* * *

На небе чистом ни звезды,
ну хоть бы Малая Медведица!
Одна лишь синь сквозь сито цедится.
На небе чистом ни звезды.

А в бесконечность мне не едетя!
А здесь любителю езды
взрывать пушистые бразды
не позволяет гололедица.
И вот зачем-то тихо бредится,
что где-то безо всякой мзды
комедь ломать пошла медведица
и ей вослед свистят дрозды.

14 апреля 1960

* * *

Мы не встречались больше года,
и ныла в памяти дыра.
Теперь осенняя погода
стоит у нашего двора.

Свалилось горе с плеч. И с кручи
теперь я сам себя свезу.
Но вон сваялось небо в тучи
и собирается в грозу.

И с прошлым ратовать напрасно,
и хоть тут гром небесный грянь,
но ты по-прежнему прекрасна,
моя возлюбленная дрянь.

17–21 апреля 1960

* * *

Всё еще верится в могущество алхимий.
И вот, у горна встав, упорно чуда ждут.
А мудрость лечится, укрывшись в черной схиме,
иль мечется, как покаянный шут.

Науке радостно все элементы сплавить,
дабы когда-нибудь в ракете удалой
отъявленных людей поочередно сплавить
куда-нибудь с земли долой.

17–21 апреля 1960

ВЗГЛЯДЫ

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои.

Тютчев

Вот выдумал тоже – таи!
У каждого взгляды свои.
Бывают прямые, косые,
обутые и босые,
наискось брошенные,
туманные,
непрошенные
и желанные,
молящие и болящие,
фальшивые и настоящие,
мерзкие и красивые,
веселые и плаксивые,
простецкие и дивные,
любезные и противные,
тихие и орущие,
дающие и берущие,
щедрые и заграбущие,
туповатые и пронзительные,
вознесенные и снисходительные...

Стихами я в любви не признавался,
цветами как попало не швырялся.

А Блок розу взял да и сунул в аи.
У каждого взгляды свои.

29 мая 1960

* * *

Сражаться с вами в дурачки
мне было еще мило.
Но лишь я заглянул в зрачки,
как сердце защемило.

Из глаз обрушился поток
и морока и жара,
и молча он меня повлек,
немая Ниагара!

Кружились волны битый час
и грудью напирали.
В водовороте серых глаз
тонул я по спирали.

Но я призвал на помощь зло:
души и губ – не красьте!
И слава Богу – пронесло
на волосок от страсти.

31 мая 1960

ДЕВКИ ВЕСЕННИЕ **(подражание Кустодиеву)**

Размаховилась сирень –
наливные ветки.
Девки ходят набекрень,
расписные девки.

Заломили голоса,
истомили душу.
Дышат-пышут телеса,
просятся наружу.

Девки входят в краковяк
телками по наледи.
Девкам есть и в чем, и как
показаться на люди.

Шарфа чуть не шесть аршин
на любой намотано,
платье – чистый крепдешин,
совершенно модное.

Точат лясы старики:
«Уродились детки!
В плясе ровно мотыльки
запорхали девки!»

Курдюки и бурдюки
их колышут тушки.
Разливаются с тоски
резвые частушки.

«Белый цвет мне оброни
ты на счастье, вишня!
Эх, подружка, побрани!
Побранить не лишне».

А потом по-за кустом
с чуточкой стеснения
происходит под пальтом
нежное тиснение.

Поцелуи и во сне
цедят, как из цевки.

Спеют, спеют по весне
наливные девки.

«Расступись ты, садик мой,
я сама не смею,
только поутру домой
всё равно поспею».

Парни вышли на весну,
смотрят без издевки
и мечтают: «Ну и ну!
Распустились девки».

1 июля 1960 – 16 июля 1966

СТАРИННАЯ БАСНЯ

Послушай, что за случай вышел с лужей,
и сам суди получше, муж досужий.

Раз вышел с постоялого я
и со всего-то ходу
вдруг вижу: корова яловая
трется о колоду.
А около колоды
(не литься по селу же!)
лежала – дочь природы –
с весны до снегу лужа...
Ее, вольготно-мокрую,
ее, дородно-вязкую,
бранили Дарья с Феклою,
да и Аниска с Васкою.
Ее со скуки мерины
копытом колошматили,
и в ней же преднамеренно
валялись свиньи-матери...

Шел мимо бык и боком ткнул корову,
а сам убрался подобру да поздорову.
Взыграл в корове дух
со всею скотской спесью,
и дал такой толчок он равновесью,
что нежная корова в лужу плюх!
И поделом: зачем она к быку ласкалась?
А лужа с горя расплескалась
и кончилась. Осталась только грязь.

Ну, что же скажешь, муж досужий? – Ась?

23 июля 1960

* * *

Я великий владыка земной,
до небесной шагнул прогалины.
Сколько счастья и горя за мной
вековыми охапками навалено!
Вот могу я нырять и летать,
мыслью вверх тормашками броситься!
И пошла стихи заплетать
в строки звонкая разноголосица.

Стало страшно мне вдруг оттого,
что я мыслящее существо,
и боюсь я, что где-то и кто-то
миллионы веков уже
на мое любитесь фото,
на ужасной стоя меже,
что сейчас, да и в будущем тоже
он и я бессмертно похожи...
И боюсь. Ибо если захочет,
то вот с этого самого дня

он уж уйму столетий хохочет,
в телевизоре видя меня.

13 сентября 1960 – 22 июля 1966

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Жизнь лежит, на свежем нежась сене,
доброю охвачена избой.
Страшный сон ворвется с криком в сени,
как пожар, как сила, как разбой.

Выдерет меня из Яви с мясом
и, закинув на плечи избу,
вечной памяти великим басом
возгласит последнюю судьбу.

И тогда я больше спать не буду,
в жизнь меня тогда не заковать.
Без просыпу и без непробуду
стану куковать и вековать.

12 октября 1960 – 22 июля 1966

ПОДСМОТР

Когда на смену мудрости
приходит Человек,
то скупости и скудости
уже не ставит вех.

Сознательностью пьяненький
и горд, как серый волк,
без нянск ест он пряники,
склоняет слово «долг».

Без мамочки, без папочки,
великий апостат,
он носит Красной Шапочке
в портфеле или в папочке
охапочки цитат.

Он сам кричит: «Блаженствую!
Навеки!» – А пока
он щиплет долю женскую
за разные бока.

21 октября 1960

ЧИЖИК

Из пичужек-мелочишек
всех смелее милый чижик.
По природе, на параде
он в мундир себя облек,
но пародии по радио
он свищет на коллег
по-украински, по-русски,
на щеглячем диалекте,
на стилижьем на жаргоне
и на птичьем архаичном,
на пра-пра-праязыке.

А сам какой-то катышек!
Одет в зеленый мех,
он пыжится, топорщится
и скачет – просто смех.

Запел. Но горло и крыло
как судорогой вдруг свело.
Оправился. Перо к перу

пригладил в тишине чижутка.
Чирикнул: «Сам не разберу,
чи чижило мне, чи жутко».

12 декабря 1960

АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ

Ишь, мыслят что! Чуть не живьем в могилу!
Врос в землю сруб, а всё еще не гроб.
Свеча и та, чадя, горит насилу.
Кряхтит в углу и дряхнет протопоп.

Ох, тошно! Паки разлучили с паствой.
Куда их подевали, горемык?
Царишко! Здравствуй! Ведаю указ твой.
Ну, властвуй, коли властвовать обык.

Несет по мелколесью грозной Русью,
персты да руки рубит топорок...
Нет, не согнусь пред Никоновой гнусью!
Брысь, ироды! Вот Бог, а вот порог!

Свербит душа. Дым ест глаза мне. Веред
пошел по телу, и скорбит нутро.
Челом царю? – Москва слезам не верит!
И брызжет черной яростью перо.

13–21 декабря 1960 – ноябрь 1961

1961

ФОКУСЫ ИСКУССТВА

В искусстве у трюкачества
имеются три качества.
Во-первых, оно
завидно трудно.
Во-вторых, выкидывать трюки –
это вам не скидывать брюки.
Извольте блистать не голизной,
а стать хоть какой-нибудь новизной.
И для пастыря, и для инока,
и для усиков, и для седин
закон един:
можно всяко, но чтобы инако.
В-третьих (и в-последних),
оно и печь, и ледник.
В нем скачут голыми
из снега в полымя,
скользят по поверхности,
ползают пу дну.
Оно всегда ответ на ветхости,
оно что угодно и свободно.
И еще более, а не менее,
оно великое бреда умение,
онемение
и недоумение.
Оно священнее,
и в восхищении
оно командует добрым чувствам.
Оно покажется и с дуб, и с куст вам,
и фокус может стать искусством.

5–30 января 1961

НА ГРАЖДАНСКОЙ ПАНИХИДЕ

В знакомое зданье,
как статуи, шли
в великом сознаньи
владыки земли.

То шли жизнетворцы,
за благо борцы,
чудес ратоборцы,
диковин творцы.

Нахмурились своды,
но в зале светло,
где чудо природы
в колоду легло.

Чтут Четьи-Минеи
его жития,
идет в тишине
и по мне лития.

И зябко, и жарко
от черных речей.
Покойнику жалко
своих палачей.

О, если бы веко
чуть-чуть отогнуть
и жив-человека
хоть взглядом лягнуть!

Дышало, рожало,
гляделось в трюмо,
творило, свершало,
свершилось само.

Гремят над колодой
труба-барабан,
и чудо природы
несут, как чурбан.

15 января 1961

ЦАРЬ КОСМОС I

Царь Космос Первый был большой шутник.

Ему бы не читать ученых книг,
а по-старинному державой править.
Наука самовластья не хитра ведь,
хотя и в ней хватает всяких всячин.

Но Космос Первый, похотью охвачен –
великой страстью экспериментальной, –
заехал как-то в угол самый дальний,
когда в сопровождении Природы
обозревал аллоды и феоды.

Жезлом воспрянув жестко, твердо, гордо,
он землю взял, что колбочку, за горло.
Шесть дней прожив у Гелия на мызе,
он в колбу напустил великой слизи
и вывел в ней мечтательных бактерий.

Ведь надо же быть таким тетерей!
Какой токсический микроб возник!

Царь Космос Первый был большой шутник.

28 февраля 1961

* * *

Пресвятая Мать Богородица!
Подпустил бы я матерком!
Да опять в душе распогодится,
пронесет грозу ветерком.

Час придет, и опять нахмурена
и насуплена вновь душа.
Глянeshь в зеркало – хуже мурина,
а без зеркала – хороша.

2 марта 1961

ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА

Людей я не мучил, себя не терзал,
дерзал, да и то втихомолку,
дерзил, да не очень, и вновь замерзал,
на жизнь не подглядывал в щелку
и в гости не хаживал к волку.
Не ржал жеребцом в беспросветной степи,
брехал, да не лаял, крутясь на цепи:
огрызнусь – да и зубы на полку.

Ни в птичье не мог затесаться я вече,
ни в гончую свору, ни в стаю волков.
Тут нужен, бесспорно, талант человеческий,
а я на сей счет, ей-же-ей, бестолков.

В закрой я ни разу не нашивал стих
присяжным портным да модисткам.
На выставку чувств экспонатов своих
таскать не таскал и не тискал.
Я сердце не комкал в бумажный комок,
не мял поэтической блузы,

без позы и блуда я жил между строк,
от лирики влажной я сроду не мок,
открыв слюнявые шлюзы,
к лирическим шлюхам не лез в теремок,
а всё же никак увернуться не мог
от милой назойливой Музы.

Известно – оно невеликая честь
сибирским сидеть сибаритом,
себя, как краешечку, с краешку есть,
но я и такое готов предпочесть,
чем в ушко верблюдом насилу пролезть
иль за неумелую службу и лесть
быть наголо стриженным-бритым,
чем розовой краской цветы поливать,
чем на близких и ближнего скромно плевать
или модные хари вподряд малевать
стареющим дурам-харитам.

Теперь в полупору (и в полуупор),
когда не гуляют ни кнут, ни топор,
когда не заткнуть мне ни рта, ни нутра,
когда недалеко руке до пера,
я мог бы и грызться. А я вот лежу,
и на современье гляжу да гляжу
из яростного Давна я.
Одна ведь собака другой не равна,
и славно не тронуть живого говна!
Я мог бы и грызться, как Цербер спяна,
да челюсть-то стала вставная.

9 марта 1961 – 14 августа 1966

‘ΑΝΤΕΡΩΣ

Я сердце по краям скую,
и станет вроде тарча.

В штыки жену Троянскую!
Войну, войну пожарче!

Я нежности не лопаю,
когда она гнилая,
не знаюсь с Пенелопею,
ни с бабой Менелая.

Я на тебя нафыркаю,
изделие из гипса.
Покину остров с Киркою,
Гликерой и Калипсой.

Иль сдуру мне мерещится,
иль я мечтать не смею, –
но ты, по сердцу резчица,
мне вырежешь каменю.

28 июня – 5 июля 1961

ДОЧКА-РЕЧКА

С речкой маленькой, как с дочкой,
заберусь я к ивам в тень,
без единого гвоздочка
сколочу прозрачный день.

Сколочу не из-под палки,
без указки и без книг...
Через камни, без скакалки,
речка-дочка прыг да прыг.

Нет, не через пень-колоду,
а как птица на весу,
я веревочку-свободу
ей, скакунье, принесу.

Вдень веревочку в колечко
змейкой, струйкой, ручейком!
Жизни легкая утечка
начинается тайком.

Речке, девочке, русалке
незачем лежать на дне.
Поиграю с нею в салки
на лугу, на ясном дне.

Дам я тучки да листочки
речке в ручки. Без хлопот
день растет, как даль из точки
созерцания растет.

17 июля 1961 – 15 августа 1966

* * *

Жил-был Иван Разумник,
в поту, раздет-разут,
и даже в небесных лазурнях
марал его мазут.

Но он научился мерить,
он выучился считать
и приохотился верить
в свою великую статью.

Он вычислил счастья меру,
расчелся с тысячей бед,
он химией бац! – в химеру,
и вот химеры – как нет.

Своею личной рукою
он выстроил сотни стран.

Потел, не зная покою,
и помер счастливый Иван.

31 июля 1961 – 15 августа 1966

ПРОСТРАНСТВО

Я страшен. Рожей крокодила
уже гляжусь в созвездье Псов.
Вон там природа проходила
и дверь закрыла на засов.

Мне страшно. Душу породило
и пародически светло,
всей судорогой наградило –
полувселенское село.

И вдруг ее разворотило
всю как-то набок, и за ней
природа мне нагородила
колод, ухабов, ям и пней.

Во весь немой простор зевая,
ворот не закрывает рот,
и я осваиваю сваи
геометрических высот.

И за версту не слышно стука
в той окаянной городье.
Пространства мудрая наука
научит смерти и судьбе.

7 августа 1961

* * *

Удел на диво мне сужден судьбой –
себя повсюду видеть за собой.

Мои бесчисленные двойники –
давно исписанные дневники –

всю ночь за мной вослед обочь, окрест
и передразнивают каждый жест.

Им недосуг ни охнуть, ни вздохнуть,
и вместе мы один и тот же путь

до Геркулесовых Столпов торим,
дабы он заново стал повторим.

7 октября 1961

1962

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ

Я грусти не терплю, к печали не привык,
а тут еще, как зуд, привяжется досада!
Иль всколыхнется гнев, язык взметнется, крик
поднимется... Зачем всё это надо?
Да и кому? Кому он нужен, сей содом
чувств человеческих? Зачем играть до мата
с самим собой? Зачем, укладывая в лоск,
разить противника несправедным судом?

О, если бы иметь хоть электронный мозг,
и малый чин, и чинность автомата!

1 января – 7 апреля 1962

МОЙ СЛИШКОМ ЗНАКОМЫЙ

Он без забот глядит на свет,
он весь – завод с основной
из сметки, склада, схем и смет,
и не зовет его Завет
ни Старый и ни Новый.
Он, передернуть день успев,
вышагивает нараспев
с гитарой в бор сосновый.

Он неуклонно модный год,
одет как на обложке.
Высчитывает – как поет,
не ведая оплошки,
кондиционный воздух пьет
за час по чайной ложке.

Он всем и вся на вкус, на цвет,
без горя стон в эфире.
Он – без химер и без примет,
и монумент, и гирия,
безмен бессменный и аршин
для доморощенных вершин,
он – архимедный Архимед
в немиллом архимире.

Пространство – драный архалук
на тихом экс-гусаре.
И пялят зенки из халуп
архаровские хари.

А он, как в ванне, в полусне,
он дважды два четыре
в невывешенной вышине,
в невымеренном мире.

15 июля 1962 – 21 августа 1966

* * *

Земное яблоко я сделаю глазным,
студеным, омраченным, но сквозным.

И свет пронзит его стрелой, как Телль,
и каплей капнет солнышко в коктейль.

Веревочкой я горя не завью,
а рюмочкой печали не запью,

но стекловидную слезу свою
возьму вот и об стенку разобью!

20 июля 1962

КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК

Всполошит он хвостатой тушью,
полоснув до слез по глазам,
расписную зарю петушью,
вылетающую как фазан.

Старец весь, как в кулак, прищурен,
кисть гуляет в цветном саду.
Позавидовал бы Мичурин
наливному чудо-плоду.

Воду лотосами закапав,
волю даст голубым слезам...
Выворачивается из-за карпов
чудо-рыбина, сам сазан.

А в драконьем краю закатов,
как в бездонном синем пруду,
сизо-черный ворон, закаркав,
ловит крохотную звезду.

И по шелку хлещет с прищелком
сей не западный, не Сезанн,
приказав сощуренным щелкам:
«Открывайся людям, сезам!»

21 июля 1962 – 15 января 1965

* * *

Ну-ну, добро вам, пропасти сугубые!
Ах, пропадом – иль Западом? – пропасть.
Елену медленно целую в губы я –
Вселенная распахивает пасть.

И зубы! Зубья! И зубцы! И жернова
неповоротливого поворот.
От ряда чисел жадного, обжорного
не может оторваться ум и рот.

О скоростей – до боли! – приращения!
Чужим умом тихонько вижу я
колеса неподвижного вращения,
слепую мельницу Всебытия.

По аналогии с землей налоги я
ввожу на смерть, цена ее во грош,
и я тебя коснусь, о Коснология,
о Костология – та брешь и ложь!

И камню у околицы икается,
когда он раком пятится за мной.
И он с досады колется и кается,
что он не из болидов, а земной.

7 августа 1962 – 27 августа 1966

* * *

I

То, чего нет, – есть!
Если уметь счесть,
если принять весть...

Если принять весть,
музыкой будет жечь,
нечистью станет честь,
головой можно будет сесть,
шест изогнется в б.

Вверх будет лезть лезть,
несть чего станет несть,
примется месть месть,
если привезть весть,
словно ветвь
из пуши безвременья.

II

Того, что есть, – нет!
Нет никаких планет,
нет ни ракет, ни монет,
и не звенит сонет,
и не звонит рассвет...
Того, что есть, – нет!

13 сентября 1962

НОС

Восстав во сне, гляжу: я сплю
и по-ребячески соплю.

Но дышит кротко и тепло
мотора моего сопло.

Остался с носом я, а сон
уже за звезды занесен.

Дышать не значит ли – сопеть?
А петь не значит ли – сипеть?

Я славлю сон, и сип, и дых
в годах седых и молодых,

когда я столько перенес,
чтоб не держать по ветру нос,

когда природой дан диплом
за совладанье с сим соплом.

21 сентября 1962 – 27 августа 1966

* * *

Я предстал себе через n-светолет,
явился к себе – не этот, так тот,
как к виску приставленный пистолет
иль как лихо закрученный вертолет.

Обоим вспомнилось: рокот ракет,
ропот роботов, взрыв, раскат,
какая-то Кэт, и игра в крокет,
и гранитных аркад каскад.

Потом забылось. И ушел протак,
ушел от себя, как сердитый стук.
На стыке столетий бывает так:
обратной стороной лежит листок.

7 ноября 1962

* * *

Жизнь моя облыжная –
махов по сто на сто,
перебежка лыжная
по коростам наста.

Но ты – в глазу проталинка,
в беге – передышка,

талая хрусталинка,
дымная ледышка...

Но ты – в душе отдушинка.
Что же смотришь хмуро
ты, Психея-душенька
с мордочкой лемура?

10–16 ноября 1962

* * *

Готова к светлому гавоту,
сквозя улыбкою косой,
пришпиливает речка воду
сине-стальной стрекозой.

Ее певучая излука –
полубеспамятное па,
и, как под пальцами у Глюка,
порхает по полю тропы.

18 ноября 1962 – 1 августа 1966

* * *

Лежу в гробу,
а на ходу
трубят в трубу,
дудят в дуду.

И едет гроб,
где стук костей,
тропою троп,
путем путей.

И едет гроб,
что гром немой,
тропою троп
в укрое не мой.

Он едет жить
в чужой укрое
и там тужить
чужим нутром.

25 ноября 1962

* * *

От радости досель я
не пробовал страдать,
от лютого веселья
я не умел рыдать.

Вот оно как! От скуки ж
лукошко я беру
и счастье ростом с кукиш
ищу, как гриб в бору.

17 декабря 1962 – 29 августа 1966

1963

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ

Я знаю издавна: Оно
страшно, занудно и бледно.
Как прорубь – мерзлое окно,
в ней кануло Оно на дно,
Оно – бельмо, Оно – пятно...
И сыплют в прорубь толокно.

Как сердцу вырваться за глаз,
небьющийся, как плексиглас?
Закрыт у взгляда тайный лаз,
и ночь собачья улеглась.
Звезда как злобный знак зажглась,
он златовлас и козлоглас.

1 января 1963 – 30 августа 1966

* * *

Язык мой, язык российский!
Сделали из тебя сосиски,
сунули их в винегрет,
который зачем-то подогрет.
И спесиво про сие месиво
говорят: великий русский язык.
А он, бедный, орет по-татарски:
караул, караул, караул!

7 января 1963

MIR ZUR FEIER

Две загадки в мире есть:
как родился – не помню,
как умру – не знаю.

А. Солюсеницын

Я родился в Благовещенье.
А умру – в Рождество ли?
В Покров ли?

Ну вас, каркающие вороны,
кукующие кукушки!

Язва жалит, сверлит мне брюхо,
и на белом просторе,
на бумажном просторе лица,
сам я – как черная язва.

А пока вожусь над загадкой,
прибирая разные праздники,
идет мое Вознесенье –
чуть ожившего человека.

Что ж, судьба!

И на том спасибо.

Так на роду написано было,
что я родился в Благовещенье.

7 апреля 1963

* * *

Ночь опять чернит ступени
тонконового дворца,
и дрожат морщинки-тени
вдоль беленого лица.

Неужели я ошибся,
и в божественной тиши
за изгибами из гипса
нет ни тайны, ни души?

Иль, быть может, пьяный зодчий,
воздвигая два столпа,
был пронзительней и зорче,
чем моих ста глаз толпа?

Иль из плит и глыб не мог он
так сложить певучий сказ,
чтобы черным вздохом окон
горе выдохнуть на нас?

*23–24 апреля 1963
(в больнице)*

* * *

Мое не терпит естество
тугого словолитья.
Искусство – это озорство
монаха на молитве.

Охоты хватит у кого
к угрюмым вивисекциям?
Искусство – это озорство,
да над своим же сердцем.

*30 октября 1963
(в больнице)*

1964

ТЕЛО

Было тело, ходило тело,
пило-ело, зябло, потело.
Спускалось под землю,
в выси летело,
делало дело,
достигало предела.
Было тело, жило тело,
баклуши било, толстело, худело.
Было тело, любило тело,
кружило, дружило,
крутило-вертело,
билось, тряслось, рвалось, хотело,
в поры дудело, трубило, свистело.
Было тело, гудело тело.
От жарких мыслей всюду размышлялось,
по кинам да по бабам до спазмы шлялось...

Было тело, жило тело,
и жить ему не осточертело.

Поехало тело греться на юг,
а там его солнышком тюк да тюк!
И пало тело, как с туком тюк,
и стукнулось так, что пришел каюк.

Тело – было, тело – жило.
Тело срок свой отслужило.
Тело руки
крестом сложило
и обязанности
с себя сложило.

2 февраля 1964 – 5 сентября 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.

За полвека перевалило,
а я и полдела не сделал.
Ждал я, ждал –
и проходят жданы.
Недалеки, видно,
ко смерти сборы.
Но под руку с пером толкает
развеселый мальчик Авось:
«Ты кряхтишь,
но лезешь в гору.
А с тобою ползут и жданы,
богоданные жданы,
и я, Авось,
как Мусагет,
веду их до последнего вздоха».

Что ж, Авоська!
Ты прав, пожалуй.
Выползаю я потихоньку
на одну из своих дорог.
Если даже она оборвется,
буду я повторять упрямо:
я родился в Благовещенье.

7 апреля 1964

СТИХИ НА НАУЧНУЮ ТЕМУ

Наука впрок: гипотеза, примета,
фантазия, намек, и факт, и дата.

Сперматозоидом комета
в яйцо земли впилась когда-то.

Кто был папаша, кто мамаша
гипотетического факта,
пока еще не скажет наша
бебе-фантазия. Вот так-то!
Но мы с минувшим в такт комический
и чтя гипотезу рабочую
(хоть и не видели воочию)
воспроизводим акт космический
все дни, да только чаще ночью.

1 августа 1964

ЕЩЕ ОДИН ЗНАКОМЫЙ

Он – подлежащее, субъект.
Его ледащая натура
выскакивает на проспект,
как шуточка из балагура.

И там, как старый Мандельштам,
трясет он кроткою бородкой
и ударяет, как там-там,
за долгоштанною уродкой.

Ошметком лепит поцелуй
своей звезде недожданный,
самонахал, самохолуй,
и перл, и пупик мирозданный.

И, с бездной ночи до утра
на сны Парижа уповая,
всё прет, как рожка из нутра,
наружу грыжа пуповая.

17 сентября 1964

* * *

Я не носил девизов и знамен,
медалей, аксельбантов и ремней,
я не был временем обременен,
от сути мнений я не стал темней.
Я – не слагаемое из имен,
не искра Божья из чужих кремней.
По мне, лишь тот воистину умен,
кто самого себя умней.

22 сентября 1964

* * *

Живу не у Христа за пазухой
и не лежачим камнем.

Я правый глаз повытер насухо:
ни слезки нет, ни ветерка в нем.

Не знаю, что творится на Плутоне,
бегу от подозрительной трубы,
Лутоней не плутаю во Платоне,
как в колбы, не гляжусь в чужие лбы,
не знаю, как в быке и в селадоне
и страсть и сладость лезут на дыбы...

Живу себе, как на ладони
у матушки-судьбы.

25 сентября 1964

РАДИОЛА

Ах, Наука! Вы – гурманка.
Есть приманка не одна.
Современная шарманка –
радиола включена.

Ишь, какого намудрили!
Наслаждайся за пятак!
Слушай трели да кадрили
или даже вальс-казак!

Втуне трогать лиры струны,
и пустое, как серсо,
эбонитовой фортуны
завертелось колесо.

Вот и к счастью мы привыкли.
Обойдемся без богов!
Лежа мы танцуем в цикле
нарастающих кругов.

Что за иеремиада!
Трата попусту чернил!
Их назвав кругами ада,
Данте ад бы осквернил.

28 сентября 1964

ДРИАДА

Ночами чаще говорит
весь день молчащая дриада,
что дело – дрянь, оно горит,
что мне покажут кадры ада.

И всё сквернее и верней,
что над макушкой зло свершится
и что червятина корней
в глуби пищит и копошится.

И как он мне теперь знаком,
тот голос – словно тело, голый,
выглядывает шепотком
из древесины радиолы.

Нимфоманическим теплом
манит его нагое слово:
вот тут надрез, а здесь надлом,
а это вот рубец былого.

И предо мной – уже ничьи –
мелькают кадры, в общем, бодро.
Струятся руки, как ручьи,
как реки, протекают бедра.

Но в теловидении том
всем скопищем морщин и трещин,
как бы исхлестанный кнутом,
исчеркан ствол и переkreщен.

И бьет в меня – пора, пора! –
до боли оголенный голос,
что обдирается кора,
а сердцевина раскололась.

И вот ползут по всем ветвям
в манере несколько инертной
презренья вялое к любвям
и соки похоти предсмертной.

28 сентября 1964

КОММЕРЧЕСКИЕ СТИХИ

Будто куклу из тусклого воску
обрядят на всамделишный лад,
а потом начнут перевозку
из жилого дома на склад.

С годом год лягут тесно рядом,
глина станет просто рыжей,
но не явится ангел с нарядом
и не спросит про сторожей.

И живут сторожа – под гитару.
Чай, стеречь им не сахар, не мед.
Залежавшегося товару
даже ангел и тот не возьмет.

3 ноября 1964

* * *

О музыка! Коровье МУ!
(А прежде ты была музы́ка.)
Но бык – какзык. И кровь ему
поет эпиталаму зыка.

В ответ корова не пропела «мы!»,
и, мычась, бык бредет в кабак понуро.
И понимаем боком тела мы:
его натура – нудная конура.

Но музыка – сплошная кровь,
одна звериная любовь,
закованное в числа чувство.

Обычь себя и окоровь,
бреди, блуди, блюдя обычай бычий,
мычи и мыкайся любви добычей,
вопя в сердцах: «Не хватит ли с меня?!»
И, звуками осемени,
как звездами, большую полночь густо,
с прабычьим бытом врозь и с прихотями вровь
обочь тебя взойдет Искусство.

15–22 ноября 1964

* * *

Воззрясь с боков на вещь в себе,
хотел бы я схватиться с Кантом,
да вот боюсь – в такой борьбе
не выдохнуться бы по квантам.
И окантованный простор
из дома, окон, стен и штор
мне даже взором не раздвинуть.
Увы! Ни солнца, ни лица
сиятельного мудреца
из рамки вечности не вынуть.
И с точки А до точки В
я множу комнаты убранство,
как кванты странные в себе
на канты странного пространства.

26 ноября – 17 декабря 1964

* * *

Стою на подоконнике,
а мир открыт, как морг,
где громкие покойники
глазами морг да морг.

И я дугою смелую
(в семнадцать этажей!)
в эксперименте смеряю
пространство без тяжей.

Туда не очень дорого
дорога стоит, но...
Но все-таки как здорово,
что вписан я в окно.

11 декабря 1964

* * *

А глушь как прежде хороша,
речонкой о берег шурша!
На ней играет ответ шалый,
и мост костлявый, обветшалый
грызет замшелая парша.

И всё опять, опять сполна:
и бритолобье валуна,
и мельница, и омут рыбий,
и косогор, где на отшибе
живет прогорклая луна.

И ветер, скучен и ленив,
с подгнивших и промозглых ив
уходит молча. А за хатой
стоит, насупясь, мрак сохатый,
крутые сучья наклонив.

22 декабря 1964

* * *

1

Говорят, что есть священные вещи.
Боюсь их: властны они и зловещи.
А не захочешь им присягнуть,
недолго тебя им в дугу согнуть.

Говорят, что есть священные лица.
Боюсь я им даже умилиться.
А что, если это магазин
не образов, а образин?

Говорят, что есть священные мысли.
Они небоскребами нависли.
Душу скребет такой небоскреб,
торчмя торчит, как огромный гроб.

Говорят, что есть священные чувства.
А не слишком ли многим за них плачусь-то?
У них, священных, у них, святых,
ходить мне боязно в понятых.

2

Поелику же я не из посвященных,
несчастный ко мне ползет вещенок.
Ты сер, и сир, и тысяченог,
и если я пес, так ты – щенок.

Ты самый жуткий из знакомых,
ты щуплый родич насекомых –
жучишка, гусеница, вшенок,
мальчишка, молокосос, щенок!

И будет чрез меня тащиться
 и тщетно лезть из разных кож
 такая тощая вещица,
 такая лапчатая ложь!
 И черный двор открыт, как рана...
 И всё скулит щенок больной,
 такой смешной, такой родной,
 такой вещественный! И странно,
 что не таясь и постоянно
 он писком знается со мной,
 но проползает стороной,
 а я, большой и окаянный,
 а я сижу, как пес цепной,
 на жизнь привязан к постоянству
 худых завшивевших вещей
 и к изъязвленному пространству
 из дыр, отверстий и свищей.

31 декабря 1964

* * *

По тропке робкой и укромной
 проходит царствие мое.
 В пространство, словно в ум огромный,
 едва вместилось бытие.

На всех путях дороги спорят,
 и мир – как поезд заводной.
 Большие звезды семафорят,
 но нет зеленой ни одной.

31 декабря 1964

* * *

Во грамматические копи
вгрызаетесь вы свысока,
многоученные холопи
пространственного языка.

Вам не противно стать не дивом,
столь объективно запретив
мне сочетать с инфинитивом
любимый мой медитатив.

31 декабря 1964

* * *

Е.

Пусть умом (или в уме?) мужая, –
но для чувств какая это чушь! –
вижу, чижик мой, ты мне чужая,
ибо сам-то я пичужкам чужд.

Нет, ни жаворонка, ни чижа я
мучить в клетке больше не хочу,
и, былого не уничтожая,
я его на волю отпущу.

Друг для друга даже дорожая,
скажем про себя мы: «Поделом!»
Улетай же, птицам подражая,
на прощанье помаши крылом!

31 декабря 1964

1965

* * *

Нить жемчужная времен
к ночи так тонка!
Словно в дверь, я вставлен в сон
кнопкою звонка.

Странной рамой одержим,
крепок, как сучок,
от нее не оторжим,
как ее значок.

В рыбьей глубине существа
хорда пролегла,
и плывет едва-едва
мгла из-за угла

и, как веки, плавники
шевелит едва...
По течению реки
тихо спит трава.

И с уступа на уступ
топ да топ река.
В сон я вставлен, словно пуп,
пуговка звонка.

Нервной проволоки звон,
проводы струны.
В долгий дом доходит он
с темной стороны.

Начинается звонок,
одинок и хром.

Хочет каждый позвонок
сразу стать столбом.

Деревянный монохорд
встрепенется, но,
как законченный аккорд,
ляжет он на дно.

И проглянет чей-то сон,
как из-под руки,
на экран, на мертвый фон
дышащей реки.

3–15 января 1965

ИДА РУБИНШТЕЙН СЕРОВА

Как рабыня старого Востока,
ластясь, покоряя и коря,
муку и усладу сотворя,
двигалась ты кротко и жестоко,
вся в глазах усталого царя.

Опустилась наземь пляска шарфа
в безвоздушной медленной стране.
Замер царь за рамою, зане
тело опустело, словно арфа
об одной-единственной струне.

Кончилось с пространством состязанье
на простом холсте пустой стены.
Нет, художник, на тебе вины,
но свистит лозою наказанья
жесткая мелодия спины.

14 января 1965

* * *

Тоскливей, чем душа, ландшафты,
карандаша Господня ложь!
Как думой, ими подышав, ты
вдоль по природе вдаль идешь.

Дожди влагают благо влаги
в ладонь, пустую как назло.
И, как враги, грозят овраги,
дороги грязью развезло.

И путаются под ногами,
но так и прутся напрямик,
а птичья даль в крылатом гаме
не умолкает ни на миг.

Грехи гуляют на просторе,
бугор – как грешный перевал.
Пространство – просто пургаторий,
где черт о чем-то горевал.

И, будто бесы безобразны,
торчат косматые стога,
и, словно смутные соблазны,
бегут туманы на луга.

И с искушеньем состязанье
стоит во весь свирепый рост,
и за лобзанье наказанье
огромно, как Великий пост.

И розги ринулись из рощи,
и разговеньем саднит сад.
Я рад бы, право, быть попроще.
Не рай природа и не ад,

и от нее не жду я прощя,
закоренелый униат.

17 января 1965 – 17 ноября 1966

* * *

Жизнь уложит рядом две судьбы,
словно два разновеликих тела,
не встает меж ними на дыбы,
не кладет свирепого предела.

И ложится – как с рукой рука.
Только будет ли тебе лежаться,
если к полумраку старика
женщиной безжалостно жаться?

18 января 1965

* * *

Битый день сидел я над природою,
думал: что бы сделать с ней такое?
Но уж как ее я ни уродую –
всё равно река течет рекою.

Поломай леса ей – словно пальчики,
через век их растопырит снова
и себя по брюху бряк: «Эх, мальчики!
Милые каналычки, нахальчики,
дорогие пильщики и вальщики,
глупые могильщики-бахвальщики,
вот где мудрости моей основа!»

Сковырни ей гору – «Ишь, косметика!
И труда не стоит бородавка!

И забавна же мне ваша давка!
Просто смех берет! А вы посмейте-ка
сместь меня, смахнуть, как пыль с прилавка!»

Битый день сидел я над природою,
я хотел ее очеловечить,
но орудуя – себя уродую,
а ее не в силах изувечить.

20 января 1965

* * *

Влюбляются, разлюбляют,
минуют друг друга медленно,
оскорбляются и оскорбляют
нечаянно и преднамеренно,

торопятся разуться,
потом босые маются,
грозятся и грызутся,
и сердца в кулаки сжимаются.

Дарят поцелуев пачки,
и пачкают и пичкают,
распяливаются от спячки,
и сердце висит тряпичкою.

Живут себе с подковыркой
до самопотрошения,
и дышат вечной дыркой
взаимоотношения.

27 января 1965

* * *

Мне жизнь была как тысяча кривляк.
Напустят стужи – так поди согрейся!
Они мне, как пилоту после рейса,
говаривали мило: «Ну, приляг!

Сосни!» Я спал, но и во сне я с ней
был сух и беспощаден, как анализ.
И тени прыгали и всё ясней –
как на футболе – злились и пинались.

27 января 1965

ЗВЕЗДА

Раскрыта, как Коран,
без титров, в черной раме
спина твоя – экран –
белест в полудраме.

На нем бедро, икра,
колени, шея, голень.
Бьет в точку их игра,
их смысл остроуголен.

Ужели плоскость – пол?
Попляшешь и упала?
Ужель ты только пол
без полного запала?

Ты – стар, звезда, этуаль,
ты – Фрина дядей-судей,
раздетая деталь
какой-то голой сути.

Звезда воспалена
над полночью глухою,
и с ткани пелена
слезает шелухою.

И, душу шелуша,
до самого утра ты
с нутра горишь, душа,
сестра родной утраты.

Глаза и руки вскачь,
и лоб напал на груди...
А где сама ты, мяч,
в футбольной этой груди?

Затылок, бровь, бедро
прицелом смертно-метки.
А в клетке есть ядро?
Иль только птица в клетке?

Запятнана в крови
и с видом душегубки,
на цыпочках любви
ты к пытке тянешь губки.

Глядят в тебя не зря,
разиня рты и веки:
ты – Фрина, ты и фря
в едином человеке.

А взор, как предки, стар –
зрачков косые спазмы.
И как проста ты, стар, –
скопление протоплазмы!

29 января – 2 февраля 1965

* * *

Забрезжит в сердце, а будильник
безжалостно задребезжит.
Но, как упавший холодильник,
во сне лицо твое лежит.

Как лимфатическое действие
бескровной сыпи и прыщей,
начинается семейство
однокомнатных вещей.

Хоровод их скомороший
не уйдет до ночи прочь.
Холодильник мой хороший,
нас обоих не морочь.

2 февраля 1965

МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ

Была ему не лько в строку
дурная слава игрока,
и каждая его строка,
бывало, поступала к сроку.

Он с маху на добро и зло
бросался, бил – как палкой рюхи.
А нынче на одрябшем брюхе
на палец саларосло.

Последний ум на стол меча,
он ничего не отрицает,
а вздрагивает и мерцает,
будто отекшая свеча.

9 февраля 1965

* * *

Весенний день с замашкой колориста,
как сепию, размешивает грязь,
работает скорехонько и чисто,
полотен триста сделать ухитрясь.

Вон облако – как балерина в пачках
(а может быть, то небо ходит в прачках),
и клен чернеет и кричит, что грач.
Куст лезет на дорогу окарачь...
И я ползу на радостных карачках
по краю смерти, через грязь, как трус,
иль о булыжник теплым брюхом трусь,
с утра до вечера приподнимаюсь,
от вечности и до сегодня маюсь,
и пачкаюсь, и всё еще смеюсь.

14 февраля 1965

НЕЛАДНАЯ БАЛЛАДА

Сошлись однажды прыщ и свищ,
один был хлюст, другой был хлыщ.

Чревовещая и свища,
так задыхалась речь свища:

«На всех телах у всех вещей
не счесть несчастных нас, свищей.

Нет, мы не двери из жилья,
отдушины мы для гнилья».

Треща и прыща, как праща,
размахивалась речь прыща:

«На вещи – только поищи! –
всегда отыщутся прыщи.

Когда приложим свой аршин,
то мы – вершина из вершин».

И, правду пятками поправ,
воистину был каждый прав.

Очищен я стоял и нищ,
когда с прыщом прощался свищ.

14 февраля 1965

* * *

В тебе, замызганный домишко,
примкнусь к окну ли?
Тебе, как перышко, дымишко
в трубу воткнули.

Так вылетай в трубу скорее!
Ага! Не можешь!
Стоишь, по малости старея,
и душу гложешь.

Стоишь у речки, как рисунок
ребячьей ручки,
спросонок, в окруженьи суток –
до закорючки,

до той последней заковычки,
что точки хуже,
когда внутри плетутся лычки,
а жизнь наруже.

23 февраля 1965 – 24 ноября 1966

ОПЕРАЦИЯ

На весь мир эфиром разило,
сон стоял, как черный звон, и сквозь мрак
сердце высунулось и грозило,
как сердитый, тесный багрово-лиловый кулак.
Стала стена белым-бела,
как лицо над пустыней стола,
где тело стыло... История скверная!
И смерть, как сестра милосердная,
в косынке красной и сером халате,
как привыкла бывать у себя в палате,
на помощь тихохонько подошла.
Но рука на нее замахала скальпелем,
но ругань хирурга обрушилась:
«Не лезь до срока, ворона, к ребенку!»
И умница смерть послушалась
и отошла в сторонку.

5 марта 1965

О ЛИРИКАХ

В чем поэтово существо?
Какова суть его творения?
Он страдает больше всего
от любовного несварения.
Вот влюбился до мозга костей
(что нередко бывает в природе)
и летит в отдел новостей
сообщить о сем эпизоде.

У поэта сбежала жена,
от волос оставила вычески,
и теперь его Муза должна
объявить об этом лирически.

То он хочет от муки кричать,
то отчаянно на ухо шепчет,
умоляя через печать:
«Помогите страдать покрепче!»

19 марта 1965

* * *

Всё в розницу – и люди, и предметы.
И рознь – какая казнь! Публичный торг!
Чертовский толк! И где-то в полутьме ты
меня под сон, как под бок, локтем – толк.

И вот сейчас мы две печальных части,
лежит меж нас и нежится тепло.
Мое лицо в простой оправе страсти
в твое лицо, как в зеркальце, вошло.

31 марта 1965 – 25 ноября 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье,
а меня по жизни валяло,
как дурачка;
только и толку,
что не вытолкали взащей
за жизненное пространство.
Я – недоросль
вселенский,
я – мировой
недоучка,
осел без недоуздка,
пес без нагрудной цепи.

Ответь мне, если ты вправе,
ответь мне, если ты можешь,
зачем
я родился в Благовещенье?

7 апреля 1965

* * *

Стоит сентябрь больницей кроткой –
палаты золотых утрат.
Зачем дружу с лихой чахоткой
и лихорадке грустной рад?

Идет по каплям вечер мелкий,
лекарство пью без дрожи я.
Так будь же паркой и сиделкой
по жизнь мою, ворожея!

И, всё ничтожное итожа,
скажу – как стукнувшись о дно:
ужель теперь душа и кожа –
неисцелимое одно?

Так будь же нежною знахаркой,
бери меня, врачуй и ври,
а если нет – наплюй, нахаркай
и кровь ногою разотри.

8 апреля 1965

* * *

Годами шли великими стадами
монахи, мужики, купцы и знать,

чтоб туфлю папе, будто руку даме,
благоговейно целовать.

И сколько счастья горького достали
губами, хрупкими как черепок,
когда на всенародном пьедестале
стоял, как идол, и чернел сапог.

Но поцелуи стали как победа,
как из штыков векующий забор,
как рок и крик во славу мироеда
и как веков и дураков собор.

А шар земной не сдвинулся от грусти
ни на аршин, ни даже на вершок,
как обожженный божеский горшок,
торчащий словно голова на бюсте.

18 апреля 1965 – 26 ноября 1966

ВОТ ТАК!

– Вы злыдни, блудни и козлы! –
теребит рубашонку.

А ну распутывай узлы,
раскутывай душонку!

Узналось! Будничная суть.

Не съеден соли пуд ничей.

На улицу... Не обессудь!

Был шелапут – распутничай!

На улице зевнул подъезд,

и выдохнулся воздух.

Глаза от глаз как солью ест,

а в горле сто загвоздок.

– Нет, право, вы излишне злы.
И с глазу вы! С печали вы! –
А ну развязывай узлы!
С отчаянья – отчаливай!

– Постойте! – Нечего стоять! –
– Но я... Хоть погода я... –
– Нет! Всё сработано на ять,
на совесть... негодя! –
И ручкой. И, как дурачок,
блеснул улыбкой катовой.
Мерцает матовый зрачок...
Укатывай! Уматывай!

Тогда и выстрелила злость:
– А вы, мой ангел, выдра! –
Крик в воздухе застрял, как кость,
не вырван и не выдран.
Что? Обернуться? На кой ляд!
Забыто – не вспоминаяй!
И в душу! в гроб!.. Последний взгляд
забит, что кол осинового.

24 апреля 1965

* * *

Одиночество кивнуло мне в окно.
Створки ночи внутрь обращены.
Голову макнул я в сумрак, но
всё одно и то же мне видно:
жизни скудное мужицкое рядом
развернулось, словно полотно,
где и забулдыги не пьяны,
где и прощелыги прощены.

Жизнь душа большая извинит,
ей отпустит даже смерти грех.
Повинится блудня, и звенит
смех распутный изо всех прорех.

26 апреля 1965 – 3 декабря 1966

* * *

Уставясь в небосвод постылый,
забыв про тучи и про тонны,
летучей рыбой тупорылой
лежишь на дне реки бетонной.

О, как наивен и велик ты!
(Смотрю глазами всех Петровых.)
Но вспоминаются реликты
и хордовых, и осетровых.

В тебе же память – темным лазом,
ползут годами города в ней.
И пред моим грядущим глазом
лежишь игрушкой стародавней.

1 мая 1965

ДОСТОЕВСКИЙ ПЕРОВА

Дьявол жалости и ангел злобы,
закопченный жизнью серафим,
захмелевший, словно крутолобий
желчи с сукровицею графин.

Преступить? Навалено на плечи
горе, да в количестве таком,

что трещат хрящи и, как на вече,
сердце бьет в набат под сюртуком.

И сидит в великом искушеньи
возлюбивший чашу пить до дна,
испытавший богонарушенье
и упавший духом Сатана.

И висит Голгофой крутолобье,
мрак багровый и самоарест.
Сам себе огромное надгробье,
над собою стохеровый крест.

9 мая 1965

ТЕЛЕФОН

Вон, подобно сердцу больному,
в светлой клетке висит автомат,
но порой бывает иному
дозвониться разве что в ад.

Вон какая-то будто кается,
исповедуется не в срок,
на словах она спотыкается,
пень-колода ей каждый слог.

Трудно в трубке, и провод дальний
не изменится, не извинит.
В этой уличной исповедальне
всё звонит она и звонит.

Жестом жалуется судьбине
на расхлестанную судьбу,
от обиды мертва в кабине,
как в живом стеклянном гробу.

Напирает, как воздух на поршни,
на стекло глазами толпа.
Но хранит ее, взяв в пригоршни,
гроб, поставленный на попа.

17 мая 1965

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОБОБЩЕННОГО НАТУРЩИКА

Как облегченно ты живешь,
самим собою не опознан,
когда в кармане шиш да вошь,
да ерунда на масле постном.

На эскалаторе, как в ад,
спускаешься, листая книгу,
как самого себя, а взгляд
не видит ласковую фигу.

Когда полезешь за грошом,
так даже скуки ты не купишь,
и правда выпрет голышом,
как обнародованный кукиш.

30 мая 1965

МИРОТВОРЕНИЕ

Всё строится, слагая «да» и «нет».
Да будешь, Боже, Ты! А что мне проку,
когда ты не проворнее, чем свет,
когда не поспеваешь к сроку?

В пространство Ты, как в мышцы, погружен,
от спазмы времени себя не спас Ты,

и лезешь на закон, как на рожон,
где мысли – словно полиспасты.

И всё висит. А сам Ты еле жив,
как на кресте, распятый на системе,
и, кости жалобные обнажив,
белеешь падалью из теми.

Пускаешь стрекозу, как егозу,
в скалистое молчание ландшафта,
и мертвую последнюю слезу,
как шлем прозрачный космонавта,

и свой закат, вареный как томат,
и запах мира горьковато-тухлый...
И сам Ты, Боже, – только автомат,
мною управляющий, как куклой.

1 июня 1965

* * *

Ты будто заболела,
живя наперебой,
меня ты одолела
задумчивой гурьбой.
И муча и мороча,
как будто бы шалят,
хорошее пророча,
всё кратче, да и кротче
слова твои болят,
и умничают очи
со мной наперегляд.
И вздрагивают речи
всё резче, как звонки,

и мы от встречи к встрече –
как наперегонки.

6 июня 1965

* * *

На лысых гривках сухо, и тайга
играет, как река, и с жизни можно сбиться,
когда стучит на костыле Яга,
а по асфальту – девичьи копытца.
Болит еще башка от пьяной небылицы,
и чей-то шепот хлынул, как поток...
В веселых гривах скачут кобылицы –
разнузданной весны каблучий топоток.
Горчит асфальт. Как смело пахнут смолы!
И смолоду побрел из жизни дикий бор.
О, если б жить суметь среди лесной крамолы,
и в заговор вступить, и ведать заговор
от уличной беды. Но я в природе – вор,
украдкой лишь, и все мои слова комолы.
Судьба моя! Тебя беру такую,
что вечен хороводец наглый харь.
Прости, что я один любя в бору токую,
как изувеченный глухарь.

6–7 июня 1965 – 6 декабря 1966

СВ. ТРОИЦА

Сорви с пространства чистую личину
и к нечистотам кинь в летейский сток!
Как на служанку, цыкни на причину –
пусть знает, рукосуйка, свой шесток!
Гони в три шеи время-старичину
и пропиши батог ему в итог!

Ну, с трона вас, Эфир, Ананка, Хронос!
Не тронув вас, я с места сам не стронусь.

Останься только думы черным сгустком
да тяжелой каплей сердца навесной –
ослепшей силой перед грозным пуском
того, что величается судьбой,
дорожкой рассыпанных корпускул
иль собранным в кулак самим собой!
А нет ли у незабываемой Ананки
какой-нибудь преподленькой изнанки?

2–5 июля 1965 – 9 декабря 1966

* * *

Дорогая моя аллеика,
облетающая навзрыд,
самое себя пожалей-ка,
у тебя нездоровый вид.

Прочитаю тебе стихи я.
Парка нынче не отопрут.
Слезы желтые и сухие
на притихший ложатся пруд.

Не броди и не жди напрасно
злого счастья из-за угла.
Для художника ты прекрасна
и раздетая догола.

Дорогая моя аллеика,
облетающая навзрыд,
как пристала к тебе наклейка:
«Осторожно! Проезд закрыт».

13 июля 1965

* * *

Я избалован, как в поэтах слово,
и рвет меня, и я мечу и рву.
И нынче я печальнее бывшего,
отчаянней грядущего живу.

Художник мой, жестокий харалужник,
ты встарь – алтарь, где жертвы бился визг.
Теперь ты камера, глазок, зрачок.
Ты сам в себе, на свой собачий страх и риск,
закрывшись на крючок,
забравшись в ум, как в нужник.

22 июля 1965 – 12 декабря 1966

МЕЧЕТЬ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

Завистник зодчий дерзостным зрачком
девичью грудь нечаянно нащупал,
но выпер глазированным сморчком
иль складчатую маткой купол.

В камнях задачу парного портрета
скопец решал для мужа и жены.
И вот торчат, всюю напряжены,
два любострастных минарета.

31 июля 1965

* * *

Голова моя нездоровая
и гудит и звенит с утра,
словно раковина оркестровая,
симфоническая дыра.

День унялся. Тело не мается.
Дело конченное – за мной.
И душа иногда занимается
самодеятельной тишиной.

6 августа 1965

* * *

Погоди! Не знаю, что со мною.
Нарываю. Зной, озноб и гной.
Будто зуб надтреснутый, я ною
над твоей судьбиною больной.

Сколько спазмов, всхлипов и сморканий,
сколько кротких и покорных слез.
Я тебя люблю как на аркане
конь разгульный или гончий пес.

6 августа 1965

* * *

Я встретил на углу свою душишку.
Она себе на лбу набила шишку,
а всё затем, что колотилась лбом,
стучась, как в дом, в лирический альбом.

Ведь говорил соплячке: «Брось ты в лирике
пускать слюнявые пузырьки!
Сам Байрон от поэмы байронической
переметнулся к иронической».

8 августа 1965

СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА

1. ОВЕЧИЙ

О вонючий вечер овечий!
Повалил он тучей степной.
На курчавом, блеющем вече
ходит митинг волна за волной.

Набралась она спозаранья
скотской мудрости и травы –
нажралась орава баранья
и робеючи прет на «вы».

И, распахиваясь, как в страхе,
так что стали глаза велики,
скачут будущие папахи,
бурки, шубы, воротники.

И во всем величии стада
митингует руном тогда
азиатствующая громада,
океанствующая орда.

Шерстяным они прут бураном,
потом, пылью и молоком.
Пахнет брынзой и айраном,
кислой доблестью и кизяком.

Забираются думы в выси,
будто дымы от кизяка –
мысли сонные о кумысе...
И ползет по жене рука.

8 августа 1965

2. ТеляЧий

Тучи тащат, как тощие клячи,
в гору и под гору остатки дня,
и появляется вечер телячий
из-за темнеющего плетня.

Лижется воздух, влажный и липкий,
тычется в губы язык тяжело.
Жизнь пробежала ободранной липкой,
голой срамницею за село.

6 августа 1965

3. СобаЧий

Стала вокруг меня простора тара,
в сумрак упакована сирень.
Воздух, как забытая гитара,
по кустам тихонько трень да брень.

И лениво по лиловой зыби
пробегают звуки, как персты,
и живу я где-то на отшибе,
у последней городской версты.

Духу нынче я нюхнул лесного,
на душу напринимал старья,
и меня собачий вечер снова
сторожит, как склад утильсырья.

20 сентября 1965

4. ЖЕРЕБЯЧий

Сколько снова в тебе излишка,
старогоднее ты сегодня!

И чиню я опять исподнее
неподрубленное бельишко.

Не мерещатся мне мережки,
нет на мне счастливой сорочки,
и не гладью вышиты строчки,
на орешки – грехи да огрешки.

Ишь, как вертит ручкой портнишка!
«Колесуйте, рабы Господни!»
И латаю снова исподнее
неподрубленное житьишко.

Выворачивайся наничку,
прошивайся крепче машиной!
Вечер точно жеребчик мышиный –
по клубничку, ах, по клубничку!

30 сентября – 22 октября 1965

5. Козий

Крым еле дышит в голубом наркозе,
висит на ветке месяца кусок.
У бочек дремлет в добром теле сок,
и бризы к розам прибегают в прозе.

По лозам лазя, по траве елозя,
ползут на взгорье, где наискосок
крадется к тихой темноте лесок,
а у костра уселся вечер козий.

Крым – всем укром, веселым, хилым, сырым.
От страсти и от сырости спасут
чужая шкура и с вином сосуд,
рука с ломтем и первобытным сыром

там, где пастушьим чувствам друг и враг
с дриадой рядом козлоногий мрак.

24 октября – 5 ноября 1967

* * *

Ах, елки-палки! Эти парки,
старушки Божии седы,
а нас они таскают в парки,
к ночам в ослепшие сады.

Ну, вот и я с душой бедую.
Ее, как нежную беду,
ее, как дуру молодую,
шататься за город веду.

Не величавою Еленой
(она была бы тут пошла!),
а пригородною вселенной
со мною рядом ты пошла.

Бреду у чувства по обочью,
в кустах, где пьяные сопят,
и ты меня публичной ночью
объемлешь с темени до пят.

11 августа 1965

ПОХОРОНЫ

Ямщик лошадей понукает негромко,
а гром при жандармах недвижим и глух.
Бежит по дорогам ищейка-поземка –
и в души, и в щели вонзается нюх.

Так рыскай же, гончая вьюга, и порскай!
Гоняйся за нищею славой! Ату!
Во мгле погребальной, во тьме святогорской,
в земле монастырской представлен к кресту.

На псовой охоте метель, как борзая,
летит по Руси на кобельких рысях
и тихое имя, как зайца терзая,
и Богу, и барину тащит в зубах.

Всё на ветер! Дует, насквозь пронимает!
Сугробы – что гробы, из снега – стога.
И в поле, колдуя, гудит, и гадает,
и злится Ягой всероссийской пурга.

Забили на гвоздики душу большую –
и крышка! Под крышку не спрятал судьбу.
И я втихомолку лежу да бушую
забитую бурей в себе, как в гробу.

Ах, кони-дворняги! Ни зги! Ни просвета!
Жандармы-хароны ослепли и те.
Метель, будто русская белая Лета,
подвозит поэта к последней мете.

15 августа 1965

* * *

Небо! Сбрызни душу, сбрызни!
Людам надо помогать
каждый день на службу к жизни
добродетельно шагать.

Те же кухонные лавры
пожинают в чине жен

те же Марфы, те же Мавры –
с переменою имен.

Без хором! Была изба бы!
Щи из пьяного горшка.
Хоть *клещой* тyani из бабы
дух хозяйский мужика.

21 августа 1965

МОЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ

Мне истинки на час, помилуй Бог, не надо.
Я в прописи ее не стану проставлять,
общедоступную, – ну, будь она менада,
еще б куда ни шло, а то ведь просто блядь.

Гляжу на незатейливую шлюшку,
расставленную, как кровать,
и скучно верить мне в такую потаскушку,
и тошно херить мне желанье познавать.

Мне истины на жизнь, помилуй мя, не нужно,
она мне, как жена, едина и нудна,
недужно-радужна, всегда гундит натужно
и выпить норовит меня до дна.

От вечной истины мя, Господи, избави,
я на ногах пред ней не устою.
Но если в силах Ты, а я в уме и вправе,
подай мне, Боже, истину мою!

24 августа 1965

СИБИРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Полгода с гаками природу корчевали,
и ничего, что корчилась она,
когда ей челюсти клещами врачевали.
В свирепой дурости она была темна.

И, бравые закидывая ранцы,
так что шарахались и сопки, и песцы,
шли спозаранок, будто в вуз, юнцы,
не дуя в ус, по ранам, как на танцы:
шли в странники, в герои, в штанодранцы,
шли, от самих себя отдав концы,
шли в очарованные чужестранцы,
шли в зубодеры, в женихи, в отцы,
в барышники, в солдаты и в творцы,
шли в праотцы, в косцы, в жнецы,
в покойники и просто в сорванцы.

И оземь грохались, и сны смотрели жадно,
огромные, как в даях города.
А мимо, жалуясь простудно и надсадно,
бежала бывшая русалочья вода.

И в карты резались, врезались думой в карты,
хлебали горе прямо из котла,
расхлебывали всякие дела
и думали, как канты и декарты,
до одури, до дна, до тла.

Стучался молоток. Топор упорно крикал.
Уже сверкали дыры вместо зги.
Какой-то дядя изумленно дакал
и жвакал, в грязь вминая сапоги.
А утром, видно, встав не с той ноги,

медведь, как сломанная кукла, плакал,
хромая вокруг проигранной тайги.

26 августа 1965

* * *

Пускай деревья умирают стоя,
как древле грубиян Веспасиан.
Не клен я, не чурбан и не болван,
не цезарь. Дело у меня простое –

расту да сохну. Сам себе я сад:
копаюсь, роюсь, поливаю грядки,
и вижу я, что в мировом порядке,
как бомбы, мирно яблоки висят.

И нету у вселенной бескорыстья,
и сам я, видно, самый третий сорт.
Несчастья опадают, словно листья,
и человек стоит и гол, и тверд.

31 августа – 6 сентября 1965

НА НИТОЧКЕ

Сны мои отучились давненько
словно шапкой меня накрывать,
ибо им я совсем не Сенька
и ни с места моя кровать.

На гитаре тенькай и с Танькой
забирайся в тень на денек!
Милый, сделайся ванькой-встанькой,
чтоб от радости быть без ног.

Зарумянь лицо, как ватрушку,
жри в три горла любую снедь
и, валяя весь век Петрушку,
отучайся, милый, краснеть.

Ну чего же тебе бояться:
знай вставай поутру да вой,
вой в дуду про счастье паяца,
ах, на ляпочке трудовой.

6 сентября 1965

СТАРИК

В глазах слеза – не потому что плачут,
а просто мутно, муторно и мельтешит.
Мир из обшарпанного фильма перешит,
где, как в карман, в туман все мелочи упрячут.

А фильм немой. И по ушам стучит
какой-то ветер. Треск деревьев, что ли?
Иль стрекоты листвы? А фильм молчит.
И вещи движутся, еще играя роли.

Старик, текучий весь, седобород,
и по полу идет он, словно вброд,
расхлебывать младенческую кашку.
И вялым языком беззубый рот
жует картошку, будто промокашку.

А поясницу ломит и корежит,
и боль уходит к памяти на дно.
Висит окно, как светлое пятно,
и тело вспомнить хочет, да не может,
как жило с женщиной оно.

С бессилием душа никак не сладит.
И сладкого не съешь, и не заметишь мук.
Обедает без права чувства прадед,
и только солнце, точно внучка, гладит
сухую кожу опустелых рук.

6 сентября 1965

* * *

Я сам себе родник, источник, ключик
(тюремный замок и кривой замок).
Я вылился. И от дождей колючих
озяб душой (и до ума промок).

А ум лежит огромною утробой.
Укладкой бабушкиной! Сундуком!!
Попробуй-ка открыть себя! (Попробуй,
и будешь всем и всюду незнаком.)

И ахнешь сам: как будто на портрете
почти столетней давности дитя.
И встанет где-то сбоку кто-то третий
(ключом в замочке шаря и вертя).

Открыться – это словно отыгаться.
Самосмотрители храбрятся зря.
И вот я в горестях словообрядца
горю от слов, навзрыд их говоря.

7 сентября 1965

НИКОМУ

Отчего с тобой не так, как нужно?..
Отчего мне надо бы – да нет?
Мне теперь и нежно, и недужно
из-за полупризрачных примет.

За пустяк – за кроткий взгляд дочерний,
за липучую смолу очей
я влюбился по уши, до черни
в собственных глазах, до мелочей.

Что же будет, если мы озябнем
в ежедневном рабском шалаше?
Неужели вытерпеть нельзя в нем
то, что можно вынести в душе?

Потеплее, милая, улягся.
Быть с тобой я как-то не навик.
Капнула ты с неба, словно клякса,
молча на предсмертный черновик.

12 сентября 1965 – 27 декабря 1966

ЧУЖИЕ МЫСЛИ

Со свистом и с визгом, как светлый прут,
взметнулся вихорь, махнул – и тут
сверкнул сознанием весь в тучах пруд...

Чужие мысли оравой прут.
Чужие мысли ордой орут.
И горло песней чужой дерут
чужие мысли...

Чужие мысли к стене припрут.
Чужие мысли в дугу согнут.
Чужие мысли завяжут в жгут.
Чужие мысли бичом ожгут.
Чужие мысли хлестнут, как кнут.
Чужие мысли в беду впрягут.
Чужие мысли как локтем ткнут.
Чужие мысли как нечисть пнут.
Чужие мысли приберегут.
Чужие мысли подстерегут.
Чужие мысли во сне мелькнут.
К рукам спросонья приберут
чужие мысли...

С вихров мальчишеских до седин
мыслю с собой один на один,
и каждая дума исподтишка,
ох, как весома и как тяжка!

19 сентября 1965 – 7 января 1967

ЗРЯ

Проворонено и проворожено!
Боже, сколько наломано дров!
Сколько вздора и драм нагорожено,
сколько свалено в яму и в ров!
Сколько разных уродцев нарожено,
душ на грош, – и в копилку положено,
сбито с ног, до упаду исхожено,
сколько счастья на свалку навожено
и заезжено кляч до одров!

Сколько выжато, нажито, прожито!
И черствеет, как милый сухарь,

тихий ухарь. А рожи-то, рожи-то! –
Хоры старых раскрашенных харь.

20 сентября 1965

* * *

Был ты бык бодливый,
жил, коров любя.
А теперь с подливой
подают тебя.

Пусть коровы кротки,
да судьба строга,
и в переработке
грозные рога.

24 сентября 1965

УГОЛ ГЛАЗА

Я побыл, да недолго, в Божьей бурсе,
ну а теперь в натурный класс хожу.
В каком же вкусе и в каком ракурсе
увиджу то, что я изображу?

С замашками художника не споря,
я знаю: напирает даже тишь,
когда благоразумье на запоре
и сам ты вверх тормашками летишь.

Простор откашляв, воздух – словно хрипы,
когда за час промчатся двести верст,
и оплеухами влепят липы
в меня, как пятна на экран иль холст.

Зверино удираю от грозы я,
от мира, от любви иль от беды,
вытягиваясь в струнку, как борзые,
канавы вскачь, сараи и сады.

По глупости летят со мной напасти,
и тучи в клочья, и мосты орут,
навстречу яро раздирая пасти,
и кувыркается в сторонку пруд.

И ух! – река извилистым ухабом
и в вечность – со святыми упокой!
А я прищуриваюсь глазом слабым,
отмахиваясь кистью, как рукой.

27 сентября 1965

* * *

Я жил, не сотворив себе кумира,
я лился, шел и плелся, точно дождь...
Послушай-ка, руководитель мира,
зиздитель жизни и вселенский вождь!

Ты милостив и к песенке, и к зверю,
Ты жалостлив и к сердцу, и к вранью,
и я по-прежнему себе не верю
и даже сам себя не признаю.

Я лил – и вместо трав творилась слякоть,
я шел – и ничего не находил,
и лишь калек великих я калякать
на судную скамейку выводил.

Ты, председательствующий над миром,
гляди, я просто смиренный Водолей.

Попробуй эту робость одолей,
меня умасти смирной или миром,
пролей, как слезы, ласковый елей.
Умасли кроткого и пожалей,
дай подышать ему Твоим эфиром!

Издай указ! Раздуй свое кадило,
всю думу взяв в верховный свой совет,
чтобы по струнке время проходило
и каждое молитвенное рыло
Тебе творило набожный обет!

Мое сумнение – как неугомное,
и несть ему ни меры, ни числа.
Оно мне стало вроде ремесла.
Вопрос Тебе кладу как на ладонь я:
не на один ли лад все благовонья,
и ладан, и пахучие масла?

30 сентября – 17 октября 1965

БОРЬБА

Они обречены – и, значит, роковые.
Идут на вечера классической борьбы,
попарно шествуют гимнасты цирковые,
борцы свирепости и нежности рабы.

И совершается от крепких лет до Леты
за схваткой схватка, как неумолимый труд,
и в одоление влюбленные атлеты
друг друга жмут, и мнут, и гнут, и трут.

И в схватке тесно им, как лошадям в загоне.
Кентавров парами замкнул порочный круг.

В законе этих тел, что каждый раз в агоне
их будут повторять вовек и сын, и внук.

Напряжена, как ствол, в курчавых космах выя,
и изощряются над туловом чужим
и судорожных ног объятия кривые,
и ошалелых рук захват, забор, зажим.

Как пенье фавново, рождается сопенье,
и тайный грот и гроб – всё взято в оборот,
и, как у бешеных собак, слюнокипенье
им обжигает вновь неукротимый рот.

А в теле буйствует, не чувствуя потери,
такая силища и злобы и добра,
что перевернутый партнер уже в партере.
Крават ему, крават! И грифом тур-де-бра!

Скрежещущих в бою бойцов неукротенных
и насмерть скрещенных на ложе взял Прокруст.
И вот от серии приемов запрещенных
в глазах уже темно, а в мышцах треск и хруст.

И бьются стоны их о стены чуждой плоти,
их дрожь последняя молотит, как горох,
и тяжбе их конец – в блаженной потяготе,
и, как у рожениц, пудовый легкий вздох.

И ночь стоит как цирк. И в тысячном колене
сражаются навзрыд и борются дотла.
А утро обоймет на крохотной арене
двух гладиаторов утихшие тела.

22 октября 1965

БЕСЕДА С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Давай-ка, Боже, мелочь подытожим,
поставим всё в колонки и ряды
и, не нажив надежды – ни беды, –
уйдем из дома, не дождясь вражды.

В воротах трижды поворожим,
как бабам, судьбам краснорожим.

А на отшибе, выйдя на зады,
стоит – и общим местом, и отхожим –
вселенский нужник без большой нужды.

Ему придумай герб, и лозунг, и девиз,
орлом ли, решкою ль он будет – не дивись
и несусветную пори горячку –
наотмашь чувства, мысли враскорячку, –
кряхти же сердцем, думами давись!
Как фолиантами, ушами хлопай,
когда ты вдумчиво и творчески повис
над мировой дырой всей философской жопой.

26–27 октября 1965

ЧИСЛО

Есть некое огромное число.
Оно только и знало, что росло
куда-то – в ширь ли, в глубь ли, в высь ли?
Как лестница бездонных степеней,
оно всегда и выше и длинней,
чем наши вместе сложенные мысли.

Оно творит из мира мифа горы
и уйму громоздит на тьму,

охватывая сферы Пифагора
и становясь не по плечу ему.

Число-чудовище, число уже без смысла,
число, которым дышат и грешат,
число звериное! Пред ним щенками числа
и звездочетов, и Упанишад.

Число безумное, оно всех прочих боле.
На части малые само себя деля,
оно своей страшится доли.
За ним ничто. И можно мимо воли
дойти до бесконечного нуля.

29 октября 1965 – 17 января 1967

* * *

В царстве Леты, Стикса и Коцита,
память, поднажми на тормоза!
Словно два кусочка антрацита,
залегли глубокие глаза.

От тоски беспутной или скуки,
как со дна витрины иль реки,
редко-редко влажным глянцем муки
вспыхивали эти угольки.

Просто ли капризница, подруга ль –
слушай, глупая моя беда,
остается только грустный уголь,
так и не горевший никогда.

Сам в себе, как в кулаке, зажатый,
на кривой объеду я беду,

в черном царстве с памятью-вожатой
выводя последнюю руду.

И, бывалым или небывалым
нагрузясь по горло и до слез,
может быть, всем пьяным самосвалом
завалюсь в кювет со всех колес.

Об ошибку расшибусь! Избыто!
Незачем и жать на тормоза.
Словно два кусочка антрацита,
где-то в адской глубине глаза.

31 октября 1965

ПОДЫТАЖИВАЯ

В человечестве всякая всячина.
И собачина? и мертвечина?
Полежим по-мыслительски чинно!
Только, Боже мой, сколько растрчено!
(И, нахохлясь, чернеет, как грач, она.)
Ты иль ночь? (Полечись от личины!)
Полечу, если грач...
Полечу, если врач...
Оборвусь на полслове с кручины!
На базар ты бывшее спровадила,
раскидала ты взгляды рублевые,
а не сглазила, нет! И не сгладила!
Наплевать! – Ибо дело-то плевое.
Вон душа, как ландшафт, намалевана
(ни лачуги больной, ни избы в ней,
лишь пичуги сирот неизбывней,
птичий дождик). Пространство расклевано.
Боже, сколько же было наплевано!
Кос разбросано! Пролито ливней!

А теперь дочиста...
А теперь допуста...
Не тревожь между телом былые места!
Наворочены и раскорячены
две фигуры, как две коряжины
(в руки, в ноги и в груди наряжены).
Только, Боже мой, сколько растрчено!
А теперь дочиста (да не начисто,
на гроши кое-как нагрешив) –
как в Сибири! – живется варначисто,
что-то где-то ножом порешив.
А теперь дочиста...
Проживи хоть до ста!
Мы оскребки! Ошметки!! Обмылки!!!
(Ах, не хмыкайте! И без ухмылки!)
Мы объедки! Опивки!! Опилки!!!
Мы под думками! Мы за подушками!

И в постели, как в пустой копилке,
мы лежим полутора полушками.

4 ноября 1965 – 21 января 1967

МУЗЕ

Кому же, Муза, нынче ты нужна?
Ну, разве что поэтам самодельным.
Какого же еще тебе рожна,
когда ни с кем ты больше не дружна?
Ведь пишется с размахом всебордельным,
с подмахом, с шалым росчерком пера,
с приплясом, – и тебе давно пора,
расчетливо хмелея до нутра,
присматриваться к туфелькам модельным.

А ты торчишь, как Золушка, дрожа,
и кудри у тебя старинные, срыжа,
и, синеглазая, ты синекура
и, разумеется, в какой-то мере дура.

И я хорош! То в дрожь себя запрячу,
то в камень втисну, так что чуть не плачу,
то совесть с плеч долой, а то с плеча
чужую шубу наудачу
рублю, скорблю, и охаю, и крячу,
то, жалобным Сатиром вереща,
калечу вещи с головой повинной,
без помощи меча и палача
их четвертуя и меча,
то, полегчав без помощи врача,
лечу их сложенные половины,
то я лечу, от горя хохоча,
то плачем я плачу, за радость давши сдачу,
а то глаза и руки раскорячу,
то просто ничего не значу.

То, чтобы легче начало дышаться,
пытаюсь и кивать и соглашаться,
то со Вселеннишкой мне лень якшаться,
а то я миллиардные миры
катаю, как бильярдные шары.

То ринусь я под рыжую лавину
Бог весть с чего взбесившихся кудрей.
Возьми же, Боже мой, ума хоть половину,
чтобы я стал под старость помудрей!

10 ноября 1965 – 24 января 1967

* * *

Ишь, в тумане-то развелось их!
Сквозь заиндевелый январь
не на лапах, а на колесах
стеклоглазая прется тварь.

Что ей сделается, машине!
Знай, пованивает сопло.
И в автобусе, как в брюшине,
тесно, муторно и тепло.

18 ноября 1965

* * *

Когда тебя в объятия пакую
и ставлю губ сургучную печать,
то, ей-же-ей, люблю тебя такую
и за тебя готов хоть черту отвечать.
И кто в прелестной ярости сравнится
с тобой, полубезумная срамница,
когда, свою же наготу поправ,
ты требуешь себе каких-то длинных прав.
Да, ты имеешь на меня права,
но помни, дорогая, что права те
осуществимы только на кровати,
а дальше – встал, пошел, и трын ему трава!

26 ноября 1965

* * *

С каким заквасом и засольцем
мы жизнь и дарим, и берем,

и ходим слепо, как за солнцем,
за хроменьким поводырем!

Когда орут на нас пророки,
громя угрозами порок,
мы повторяем, как сороки,
бессрочно заданный урок.

На пузе по грязи елозя,
давно изъятые из ям,
раскланявшись в стихах и прозе,
стучим челом любим князьям.

И горе тем, кто не сдаются!
И, как ужасные друзья,
навек с нами остаются
вожди, провидцы и князья.

27 ноября 1965

КАК ПИШУТСЯ СТИХИ

Черт весть, что делалось в природе!
До поту ветер ночь копал,
работал в черном огороде.
Накрапывало. Дождь попал
куда-то в душу, без прицела.
Однако всё осталось цело.
Изба костлявая скрипела
во все столетние стропила,
а крышу изморось кропила.
Но, каплей ранен, я не спал
и – будто время торопило –
во весь размах, во весь запал,
пугаясь, чтоб он не пропал,

стихи кропал оторопело.
А позади жена храпела.

И за густым окном слегка
природа кашляла, хрипела
и постепенно свирепела,
пока жена во все бока
отплясывала храпака.

Да, за окном передо мной
нервно-психической больной
навзрыд кобенилась природа!

Я в час трудился больше года.
Не как лирический поэт.
Помилуй Бог! Уж нет – так нет!
Я попросту не лез из кожи,
из мысли я не вылезал.
Засел в себе, как бы в округе,
и ни природе, ни супруге
ни губ, ни рук, ни ног, ни рожи,
ни прочих мест я не лизал.

28 ноября 1965

COGITO, ERGO...*

Я мыслю, стало быть, я – путаник, бродяга,
скиталец, задушевный баламут.
Меня, по счастью, никакие блага
до дрожи или блажи не проймут.
А в мыслях путаться приятно и умно.
Мне в них, как пальцам в волосах, томно,
как в чаше гибельной Авессалома.

* Мыслю, следовательно... (*лат.*)

Но, может быть, я даже чем-то жальче,
как будто я какой-то мальчик-с-пальчик
и выдумал меня волшебник иль Перро,
а в голове мякина и солома...
Летят полова, прах и пух-перо!
А пыль – она столбом, а дым – он коромыслом,
и скатертью – не самобранкой – выслан
мой путь до первого двора,
где нет уже ни пуха, ни пера.
Осталась только хата нежилая,
мне даже доброй ночи не желая,
да чей-то голосок размером с комара
звенит уныло и беспроко,
и скомороха теплая морока
авось по-вдовьему пригреет до утра.
Ну а пока еще не рассвело,
чешу в загривке, пальцы растопыря,
и, надрываясь в полусонном мире,
я мыслю. Стало быть, и миру тяжело.

4 декабря 1965 – 29 января 1967

ТЕННИС

Ты вызвала меня на чувство, как на корт.
Я к сетке шел, как прежде шли к барьеру.
И не на спор ли ты пустилась в грешный спорт –
тщеславыю ставить крохотный рекорд
и делать в собственных глазах карьеру?

Щетинясь мыслил я и ерепенясь,
и пер я против нежного рожна.
Но даже если жизнь моя тебе нужна
и даже если мысль моя с тобой нежна,
то, видно, вялым оказался теннис:
был слаб удар, подача неточна.

Был не игрок я с самого начала,
а только чувства праведный толмач.
Ужель тебе победы глупой мало,
что и лицо мое, как морщащийся мяч,
в ручное зеркало, играючи, поймала?

Дразнясь и плача, что ты натворила?
Зачем тряслась со сна, как деревцо?
Зачем губами беглыми любила?
Зачем и ластилась, и льстила, и грубила?
Зачем задумчиво потом с плеча рубила
и прямо мне в глаза мое лицо
зеркальною ракеткою отбила?

27 декабря 1965 – 20 января 1966

1966

* * *

Опять сижу в добре я по пояс,
на благодушье разбазарясь,
и только пузырями лопаюсь,
на славную погоду зарясь.

А если бы набраться злости,
спустить с цепи медвежий стих,
когда язык ломает кости,
а не перемывает их!

4 января 1966 – 2 февраля 1967

* * *

Если бы был я хлыст,
весь бы хлесь – до брызг!
Радуйся, моя богородица!

Но за пьяный сон и за блев,
за поганый звон ста рублей
сколько строится и городится!

И какая простая прыть:
скок да прыг – и по плоти плыть!
Не печалуйся, неупалимая!

А нам нужен муки корабль,
а нам нужен в руки журавль
и печаль неопалимая.

7 января 1966 – 4 февраля 1967

* * *

Я стал теперь такая скука,
такой житейский профсоюз,
что без повестки и без стука
я сам в себя зайти боюсь.

А ну как встретят дружной бранью? –
За то, что сдал, за то, что стих,
за то, что опоздал к собранью,
к собранью истин прописных.

25 января 1966

* * *

Как вкусно быть противоречьем,
с самим собой играть в противника,
быть междуцарствием, быть междуречьем,
жить между здоровьем и увечьем,
плыть по течению, лежать подспудненько –
чудненько-чудненько,
дивненько-дивненько!
Быть и обручем, и оплечьем,
в уме трепаться каждой складкой...
Как вкусно быть противоречьем,
хотя, ей-ей, совсем не сладко.

29 января 1966

* * *

Запустим пальцы в дремучий ум
и мысли, как глину, мнем.
Голова разламывается от дум
над камнем, над кремнем.

Загадка-кремень и сердце-предмет,
в котором носится кровь.
Не всё ли равно, сколько тысяч лет
бесновалась эта любовь?

Не всё ли равно вам, в столетьи каком,
и в ком, и в какой стране
сжималось сердце в кулак или в ком
под холстиной или в броне,

и когда, от каких задушевных драк
трещал гортанный хрящ,
а храбрость пробила блузу иль фрак,
а нежность – пиджак иль плащ?

И Грету ли я иль Марго ревновал,
иль Риту – не всё ли равно?
Но муку в охапку и горе в навал –
сегодня или давно!

23 февраля 1966

* * *

Сидят в телах поэты,
как в клеточках скворцы.
Им наплевать на это:
они – творцы.

Торчат поэты в теле,
как в четырех стенах,
строчит, как Пимен в келье,
их дух-монах.

Нося тела как платья,
шумны, хмельны, шальны,

вдруг видит эта братья:
они больны.

Болезни напирают –
такая уж пора! –
и охи подбирают
из-под пера.

Чеши в затылке, крякай,
надежду одолжив.
Из нас бессмертен всякий,
покуда жив.

12 марта 1966

ЭПИГРАММА

Он четким пальцем в дырку тычет,
боясь, что люди не поймут,
что не чета ярму хомут.
Про мудрость эту он талдычит,
упершись задним лбом в талмуд,
и, словно царь Додон, владычит
он, наш причет, начет и вычет,
причесан, выбрит и безмуд.

20 марта 1966

* * *

Живем на острове Каменном,
и кажется: просто веками нам
завещаны липы литые
и дни, как стаканы, пустые.

Сквозь воздух бредем мы, наследники,
и кажется: держат нас в леднике,
и солнце не станет теплее,
жалая немые аллеи.

23 марта 1966

* * *

Собрав в кулак всю что ни есть науку,
вытягиваясь из последних жил,
из любопытства дьявольского руку
я и к себе как должно приложил.

Я ковырялся, рылся и копался,
я домогался, мыслью семени, –
и *на* тебе, в какой просак попался!
Вдруг стало пусто: просто нет меня.

27 марта 1966

* * *

Сколько вечной в нас человечины!
Как ее с потрохами съесть,
чтобы не были изувечены
ни Авось, ни благая весть?

И так радостно мне – до грустного!
Ибо всё еще лишь пока.
Но прислушайтесь! Что-то хрустнуло.
Нет, не ветка и не рука.

Как евангельская аллегория,
вы ягненок и голубок.

Говорю это прямо с горя я,
душу вкладывая в лубок.

30 марта 1966

* * *

Всеведенья боюсь, как вечной скуки.
Ах, если бы хоть сумрака щепоть!
Наверно, адские претерпевает муки
от света истины всезнающий Господь.

Наверно, всеблагий и всемогущий
остался и невесел, и без сил.
Гадал бы лучше на кофейной гуще,
а мир на тьме чертовской замесил!

31 марта 1966

MIR ZUR FEIER

Я родился в Благовещенье.
Поставлены мне судьбою
две пятерки.
Одна пятерка – вполовека –
за то, что я – и стиснутый,
и трепанный,
и мотанный –
сжался в себе самом
и не растерялся по годам и дорогам,
за то, что сам с собою
был неподкупен и честен.
А вторая пятерка –
всего лишь пятилетье,
маленькая моя пятилетка, –
а вырос я на полвека.

Учиться стал я крепче,
стал отвечать стихами,
разить наострился прозой,
и мне за стихи и прозу
поставили пятерку.

Трещат и семья, и тело,
убегают из быта
заботы,
но зато авось обрету я
ту, которая будет последней –
дикой,
безумной
Музой, –
на горькую гордость,
на сумасшедшее счастье
яростного старца.
Грянет, как весть благая,
Иосифу Мария,
ибо я родился в Благовещенье.

7 апреля 1966

* * *

Ах Ты, Боже мой, друже Боже!
Не мешайся в наши дела!
Обойдется себе дороже,
и уйдешь в чем мать родила.

Было в будущем. Ладно! Бей в них,
в тех, кто будет еще в былом,
в сей пластмассовый муравейник
с насекомыми под стеклом.

Боже, Боже! В заботах отчих
позабылся Ты и не счел,

счетчик скверный, не счел рабочих,
до ячеек охочих пчел.

Кривоногие величины
тихо лапками шевелят,
и личинки, надев личины,
шевельются, ах! не велят.

Будни прут, как зима, на трутней,
и отчаянье вместе с ней
ежечасней и поминутней
искалеченней и тесней.

На три метра идет разгулье,
и гномически высоки
облицованные счастьем ульи
и космические летки.

И нули порождают двое.
Научились считать Твои
трудолюбы, борцы и вои,
богоравные муравьи.

15 июня 1966

* * *

Я – спертый воздух в камере тюремной,
зародыш крохотный с улыбкой подъяремной,
колом-занозою засажен я в нутро.

Кончаю путь земной – начнется путь подземный,
античное и вечное метро.

Мой буйный выкидыш, блажной ублодок,
малютка май сквозь смерть и сон вопит

о том, как Лета очи забывудок
водою черной бестолку кропит.

2 июля 1966

* * *

Я нагяделся в зеркала –
одни и те же вижу рожи,
и, может быть, всего дороже,
что ни двора нет, ни кола.
Не дюже я живу: со зла
брожу всю жизнь в одной одеже,
в своей родной тяжелой коже,
но нету от нее тепла,
и не сносить ее дотла,
и скинуть на морозе тоже,
пожалуй, было бы негоже.
Она облапила, что мгла,
быть может, даже помогла,
да вот чему! – скажи, убоже!
Я нагяделся в зеркала.

19 июля 1966

ОТКАЗ

Я не хочу благополучья,
ни «дела в шляпе» пошляка,
ни злата, ни добра от брачного обручья,
ни зла от той, которая легка.

И вовсе не хочу никак попасть я –
такой уж вышел я урод! –
в страну отмерянного счастья,
в страну отвешенных щедрот,

где от блаженства и не охнут,
где как курортники в Крыму
живут, и только мухи дохнут
по неразумью своему.

Напился вдоволь я воды толченой,
притих, как маленький молчок...
У Мухоморья гриб моченый
торчит, как старческий сморчок.

4-5 августа 1966

* * *

Поживи наобум, послучайничай,
поторчи, поскучай да почайничай,
попаскудничай, покаламбурничай,
подерись сам с собой да пошкурничай.
Ну а ежели будет и чай не в чай,
так тогда потрудись, позатворничай
за собой, как за дверью дворничьей.

5 августа 1966 – 12 марта 1967

* * *

Ах, как некуда торопиться!
Стал я нынче таким досужим,
и не хочется даже спиться –
оттого ль, что так детски спится
под пошлепыванье дождя по лужам?

Если радости есть крупица,
что же горю всей правдой служим?
Сон скрипит, но еще крепится.

И так детски, так грустно спится
под пошлепыванье дождя по лужам.

7 августа 1966

LA MUSE MËCHANTE

В облезлой тишине возникла злая Муза,
бесслезная, была как лавка за стеклом.
Зрачки вонзала мне булавками Медуза
в глаза, и сам себе я в горле стал колом.

А в голосе ее шипели злобно змеи,
и, с горя одурев, стоял я перед ней,
и я не узнавал моей былой камен.
Да, камень ожил так, что каменел Орфей.

Наяда милая была теперь менада,
но яда не было, лишь ненависть ко мне –
до растерзания! Быть может, так и надо –
стать гневной женщиной в облезлой тишине.

И от житейского – до мерзости – конфуза
мне злюку бедную до боли было жаль.
Орфея своего ругмя-ругает Муза,
а он ей говорит: «Ты – женщина. Ужаль!»

10 августа 1966

КЯРИКУ

Я окопал себя, как чистый куст малины,
и только воду я да бодрый воздух пью.
С утра до вечера живу неумолимо
и не даю пристать ни грязи, ни репью.

Свое умение жить не превращай в манеру,
ни в яростный закон, ни в благостную нудь.
Хоть стой на голове, как это делал Нэру,
а ноги все-таки придется протянуть.

20 сентября 1966
Кодрику

МАТЕМАТИК ГОВОРИТ:

Ах ты моя любименькая!
Но знаю издавна я:
ты физенькая и хименькая,
и очень составная.

Очами математическими
всё вычислю до волоска я,
и с выкладками, как с выческами,
я свыкнусь, их лаская.

За тысячу верст усвищет она –
обычная вещь! Однако
вся, дорогая, вычистана
до тысячного знака.

5 октября 1966

* * *

И я сегодня вроде человека,
и у меня какие-то права,
а день вокруг – прозрачный, как аптека,
где продается зелье: трын-трава.

И не пускаются со мною в споры,
не лечат и не травят естества

сырые, серо-кислые заборы
и акрихинно-горькая листва.

8 октября 1966

ПО ДОРОГЕ В ТАЛЛИНН

Ты, видно, любострастница
и вся – как бровь – дугой.
И сразу рот твой дразнится...
Пошли! Какая разница,
с тобой или с другой!

Потопаем за Тапою,
потом уж хоть потоп!
Я там тебя обтяпаю,
губ на тебя наляпаю,
сургучных губ... Но стоп!

Любовь с тобою, наглою,
я надвое порву,
пав где-нибудь под Нарвою,
за новою канавою
или в старинном рву.

Раз обошлась ты дешево,
так душу не замай,
разрыв-травой поросшую.
Весна по ней порошею.
Всего тебе хорошего,
любимая за май!

17–21 октября 1966

* * *

Я не знавал ни скуки, ни тоски,
а нынче притязаю я на право
со злости рвать от старости куски,
швыряя их налево и направо,

скребясь о скорбь и душу теребя,
бить каблуки и снашивать подметки,
и, как коросты, драть и драть с себя,
с последнего, свои ошметки.

21 октября 1966

* * *

Как сорочку, мой норов выстирай,
наряди меня в будни дни,
подуши меня правдой-истиной,
воздух галстухом затяни!

Завяжи-ка мне душу бабочкой
да все складочки мне разгладь,
чтобы новой пройтись повадочкой,
чтоб хотелось мне не желать.

Стану сам по себе фасониться.
Так отбрей же и завяжи,
чтоб не била в виски бессонница
о тебе, как о гордой лжи.

26 октября 1966

ТЫ

С червивой ложью, с истиной костлявой,
с кровавой кривдой, с правдой моровой
шаталась ты по улицам шалавой
и шлялась за позорной доброй славой,
не брезгуя осудой и хулой.

Брала-врала, давала – но драла же! –
до дрожи дорогой, до самой блудной блажи –
и ставила на нищего туза,
играла в ералаш, ерошилась и в раже
вдруг становилась нежной кожи глаже,
являясь в полном голом антураже,
развеса уши, губы и глаза;
шампанским закипала вкруть и даже
летала в однодневном экипаже,
наряженная в воздух стрекоза.
На Елисейских на полях и за-
летейских заживо в бессмертные пейзажи
ты погружалась, словно в вернисажи,
где нет уже ни копоты, ни сажи,
а только дым, хрусталь и бирюза.
С распухшей рожей, плача от пропажи,
пропащая и винной гари гаже,
жила ты, лежа с кражи до продажи,
на дрогах стыла хуже мертвой клажи
и падала, как зряшная слеза.

И всем скорбям была ты запевала,
глотала ты пилюли «Ай, люли!»,
их, будто гвозди, в глотку забивала
и запивала – словно забывала –
их горем всей Руси и всей земли.

Валилась замертво. В твоём развале
валялись нехоть с похотью вдвоем,

и жизнью умники тебя прозвали
и брали напрокат, в заклад, займы, в наем.

1 ноября 1966 – 24 апреля 1967

МЕДИЦИНСКИЙ РОМАНС

Хоть ты прячь себя, хоть плачь!
И зачем я только врач!
Если что не лечится,
жизнь за то ответчица.

Дни захлеб, а ночи вскачь.
И зачем я только врач!
Если юность старится,
ей всегда гитарится.

Вон девчонка окарачь.
Ей 16, дядя врач.
Отчего же рожица
старчески корежится?

Через сутки стану драч.
И зачем я только врач!
Ясно и без секции –
дернула эссенции.

Обошлась любовь в аборт,
хлебанула через борт.
А мне даже нравится,
если девки травятся.

8 ноября 1966

* * *

Ну, как вам теперь на концертах торчится?
Я вспомнил опять вас во всю наготу.
Могу огорчить вас, что огорчиться
уже неохота и неумогу.

Баклуши по клавишам бейте! Лупите!
Любите же запросто – с хлеба на квас.
И снова беснуйтесь, и снова глупите –
на бис всё равно я не вызову вас.

И всё же зуб *за* зуб – зачем вам молчится?
Что ноздри раздули над мясом сырым?
Ах, я и забыл: вы добры, как волчица,
вскормившая кровью и пламенем Рим.

20 ноября 1966

* * *

Вы не женщина,
вы – Хованщина.
(Даже резче-на!
Даже вяще-на!)
Ты мне – трещина!
Растарашена!
Не откращена!
Не расташена!
(Даже резче-на!
Даже вяще-на!)
И навязчива,
и прилипчива,
и ознобчива,
и приманчива,

лихоманка ты,
как и музыка.

3 декабря 1966

* * *

Авось я сам себе и самый ражий враг,
и верный враль, и врач неизлечимый,
и от вселенской лжи брожу до милых врак
неутолимой пантомимой.

И, как в ночном белье, привстав во всем вранье,
с победною улыбкой идиота
я буду умирать, ликуя, как Шенье:
«А все-таки тут было что-то!»

6 декабря 1966

* * *

А так – какой мне интерес,
топорщась и топырясь?
На! как арбуз, меня на взрез,
а хочешь – и на вырез.

Бери скорее алый кус,
не бойся подавиться!
Пусть на тебе я зарекусь
отныне зреть и злиться.

Ну а сама ты наотрез,
навыверт и навывлет.
Тебе, свались оно с небес,
и счастье опостылит.

В обузу буду? Обойдусь!
Сойдет и без арбуза.
И с плеч долой, как грустный груз,
на то ведь ты и Муза.

6 декабря 1966

* * *

Как лес в грозе, как бедный зверь на дыбе,
как дым – чтобы не вылететь в трубу, –
я пробую душою на отшибе
из бурь и злобы сбить себе избу
и быть помалу в самом среднем роде,
пусть по-дурачки, но до самых врак
укрыться в одинокой непогоде,
безжалостно разламывая мрак.

29 декабря 1966

* * *

Разве мало и хмури и хмари вам,
и какой вас придумал кат,
что настали вы чертовым маревом,
адским полднем вошли в закат?

Поперек и себя и ночи
(это рок меня попросил)
изо всей издеваюсь мочи
и люблю из последних сил.

29 декабря 1966

СОДЕРЖАНИЕ

1926

«То не ветреная Геба...»	5
--------------------------------	---

1930

СПИНОЗА	6
«Заря плывет, взметая весла...»	6

1931

ГУСТАВ МЕЙРИНК	8
«Любовь настигла Понтия Пилата...»	9
ВЫХОД В СОЗНАНИЕ	10

1932

ПИСЬМО	12
«Ты у небес не думай отпроситься...»	12

1933

«Ночью душно и не спится...»	13
«Калабрийских пастухов овчина...»	14
«За то, что котенок катает игривый клубок...»	14
«К нам слетит бессмертная порука...»	15
ЭЛЕГИЯ («Тепло с вечернею коровой...»)	15
СТРАНСТВИЯ УМА	16
ОФИЦЕР И ЛУНА	17
«Деревья как с ума сошли...»	18
«Мне усталою рукою...»	19

АГНОСТИЦИЗМ	20
РОЖДЕНИЕ МИРА	22
БАЛЛАДА О ВЕТРЕННЫХ ВОРОТАХ	23
«Укрытый тьмой слегка, лежу...»	24
«Когда валы коней угрюмых...»	25
«Несется снег, ложится снег...»	25
«Падают плечи в широкую воду...»	27
«Протяжный вечер финской речи...»	28
«Липы все давно на даче...»	28
ОН	29
«С места срывается пресс-папье...»	30
«Он докуривал девочку до конца...»	31
ПТИЦЕЛОВ	32
«Только грянула весна...»	33
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ	36
«Как ведро, стучит погода...»	37
ГЁТЕ	38
«Я встал с протяжною рукой...»	39
«Встал рассвет и вышел на озера...»	40
ФЛОБЕР	41
ГЁЛЬДЕРЛИН	42
«Город занесло туманом...»	43
ПИКОВАЯ ДАМА	44
«Опара вешнего тумана...»	45
КОЛЫБЕЛЬНАЯ	46
ЭЛЕГИЯ 1-я	46
«Во тьме деревянной воздуха...»	48

1934

1-е ЯНВАРЯ 1934 ГОДА	49
«Быть может, некогда, в Начале...»	49
И. С. БАХ	50
«Ведро с полным, круглым звоном...»	51
«Туда мы душу повлечем...»	52
«Сугубая полночь. Сугробы, как темные губы...»	53
ПТИЧЬЯ ОСЕНЬ	54
«Плещут бешеные знаки...»	56
«Сумрак замкнут в каждой вещи...»	57

«Приходит сад, глубокий до потери...»	58
«Если Ты, Господь, в грозе и буре...»	59
«Облак нб небе висит...»	60
ПЕЙЗАЖ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ	61
СУД	63
«С упрямым зеркалом играю...»	64
СЕРЕНАДА	65
ЛЕС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	66
«Всё утро в смутных разговорах...»	67
ЛЕДОХОД	70
АЗБУКА	71
«Солому, солнце, лес и тучу...»	72
ФЕВРАЛЬ	73
РЕКА ГОВОРИТ:	74
MIR ZUR FEIER <1934>	75
«В разливанном море пива...»	76
НА МОТИВЫ ЛАНДШАФТА	78
НОЧНОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ	79
«О, как этот взор сверкал...»	81
ЛАВКА	82
ДУДОЧКА	83
«За славу твою я воюю...»	85
НА БЕРЕГУ ВЕСНЫ	86
ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА	87
СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА	88
БРАНЧЛИВЫЙ ДОЖДЬ	89
РАДОСТНЫЙ ГРОХОТ СОМНЕНИЯ	90
«Средь облаков, песков, лугов...»	93
NOX EROTICA	94
«Я строил боль, как нежную больницу...»	95
НАД ВИЛЬНОЙ	95
ПОСЛАНИЕ О ПЕЙЗАЖЕ	97
«В огромные лица прохожих себя я с трудом погружаю...»	98
«Май ударил на славу, и зелень забила...»	99
КАРАСЬ	100
КУСОК ЖИВОПИСИ	101
БАЛЛАДА О ПРОГУЛКЕ ДВУХ ПРИЯТЕЛЕЙ	102
«Я болен летом, и помимо воли...»	103
БУХГАЛТЕРИЯ ДОЖДЯ	104
ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК	105

«В корыте каменном весь день валялась Мойка...»	106
РОЗА ЮНОСТИ	107
«Качая на пальце большую слезу...»	108
ИЮЛЬ	109
«Ты, время, – как ливень. Захлопали ставни...»	110
«Стругая горы и равняя реки...»	110
«Я знаю, где-то рядом...»	112
«Банкомет восходит деревом...»	113
«Остановился вечерок...»	114
«Накапливаясь по каплям, как детство...»	115
КАМЕНЬ	117
«Я смутным невским утром из-под арок...»	118
«Разве я пойму, природа...»	118
СНЕГ НОЧЬЮ	120
ЕЩЕ О СНЕГЕ	122
«Никого не назову...»	123
«Душа жарка была, как печь...»	124
АКТРИСА	125
«От любви и от губ, от шумливых садов и от гибели...»	126
«В комнату пришла обида...»	127
«Я листьев падших, горьких не считаю...»	128
БАБЬЕ ЛЕТО	129
РОЗА В СУМЕРКАХ	129
«В непроглядной ночи, по колено в пространстве глубоком...» ...	131
«В тебе, растрепанный домишко...»	132
ИУДЕ	133
НОГА	134
«Как этот день высок и крут!...»	134
«Слабо чувствуешь, как спит...»	135
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЛОМОНОСОВУ	136
«Весь сумрак вечера навеки пережит...»	138
ШАХМАТЫ	139
«Зима закрыта на замок...»	140
ВАЛЬС	140
«В дыму морозном теплый дом...»	142
NATURAЕ NATURALAE	143
«Примета, признак, суеверье...»	143
ГРОЗА («Я приближаюсь. Ты далече...»)	145
ГАМЛЕТ	146
«Лицо вертелось колесом...»	147

1935

БАЛЛАДА О БЕДЕ И ГОРЕ	148
«Воспоминания копились...»	149
«Говорят – как пишется...»	150
ЛЕРМОНТОВ	151
«Эй, художник! Тяпай-ляпай...»	153
ОБЕЛИСК	154
«В тот час, когда по клетям душегубы...»	155
СКРИПАЧ	156
«Как прежде, горек...»	158
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО	159
«Пастух, живописец и инок...»	160
«Улица узкая...»	160
«У меня так немного тем...»	161
«Как ворох чувств растрепанный, огромный...»	161
«В дебрях глухой ночной поры...»	162
ОРАТОР	163
КАТАКЛИЗМ	164
«Был дождь – о бешенство Натуры!...»	165
ЧТЕНИЕ АННЕНСКОГО	166
«О гроза, я тебя до того доведу...»	167
ОХОТА	168
«Он входит, шатаясь: “Я был молодым...”»	169
СМЕРТЬ БЫКА	170
ТАНЦОВЩИЦЕ	172
«Едешь, не едешь – всё мнится да кажется...»	174
«Не отбрасывая тени...»	174
«Отмель и отдых. И горю, быть может, конец...»	175
ГЕОМЕТРИЯ ЗИМЫ	176
КУРОРТНОЕ	177
ОПЕРА	179

1936

АКАДЕМИЯ НАУК	181
«О тоска минутная...»	182
MIR ZUR FEIER <1936>	183
«Чернеет лес, как смерти гнусный рот...»	184

«О чертоги Семирамиды!..»	185
ТАЙГА («Она – как на сто верст уснувший гром..»)	186
ОДА НА ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 19 ИЮНЯ 1936 ГОДА	186
ПАГАНИНИ	189
«Я спал и был свой сон, свой сын...»	192
«Надо мной идут часы...»	193
СРЕДА	194
ЛЕВЕНГУК	195
«Пора пустынная, полынная пора!..»	198
БЭКОН	199
«Как на картах – длинный путь-дорога...»	200
ТИФ	201
ЗДРАВИЦА	202
Д. ОБЛОМИЕВСКОМУ	205
«О Вещь! ты – тихое и брренное бревно...»	206
ЕЛКА («Я как праздник стою, и висят погремушки...»)	207

1939

АВСТРАЛИЯ	209
РОЖДЕНИЕ ЗВУКА	210
«Слушай, маленький дружок...»	214
ТАЙГА («Я шел вчера в тайге и навзничь лег...»)	215
ПОЛЮС	216
ОДА МОСКВЕ	219
«Нагнулась церковь над селом...»	222
«В пустом глазу, похожем на стакан...»	224
ИДИЛЛИЯ	224
ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ	226
«Какой высокий день! Трава мертвее...»	227
ЖАТВА	228
«Что делать мне? Я голоден, оглох...»	228
В ОСЕННЕМ ОСИННИКЕ	229
«Или просто опять нездоровится?..»	229
УТРАТА	230
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ	231
ПЛОТНИК	232
ГАЛИЛЕЙ	234
«Прыгнул, вытягиваясь в рост...»	235

«Вышел, как в сказке, волшебный туман из клубочка...»	236
КОМУ-ТО	237
MEDITATIONES AGRICOLARES	238
«Но Ты! Тебе я говорю...»	241
«Подвергнут разному лишению...»	242
«Плотно обложены крыши ватой...»	243
«Всё было тихо в должной мере...»	244
СОН	245
ПРОГУЛКА	247

1940

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ	249
РАЗЪЕЗД	249
«Кармин, белила и сурьма...»	250
ПАХОТА	250
ЭЛЕГИЯ ВТОРАЯ	251
«Я совсем случасн, одинок...»	252
ОТАРА	253
НАДГРОБИЕ	254
«Он хочет в беседе забыться...»	255
«Поди попробуй напророчь...»	256
«Под причитанья заунывных бабок...»	256
КАБИНЕТ	257
«Нет, мнится мне, что жизнь отнюдь не бытие...»	258
РЫНОК (в античном роде)	258
ЛУГ	259
«Ужель ошибкою двойной...»	260
«Мы обуяны временами...»	262
«О век! Ты в час своих доброт...»	262
АКРОБАТУ	263
NUPTIAE MARIS	263
«Сухая осень стелет нам ковры...»	264
ПАСТУШОНОК	265
МОНТЕНЬ	266
«Я ненавижу смерть. Ну а за что?...»	269
ПРОВОДЫ	270
НАУЧНАЯ ПРОГУЛКА	271

«Всё те же темы музыки и слова...»	275
VITA ANIMALIUM DOMESTICORUM	276
ЖУК	277
«Меж двух осин повешено пространство...»	278
«Нет, не могут быть часы новой...»	278
«Вокруг собираются рыла да рожи...»	279
«Едва проснусь, как мне заря ворожит...»	280
«Богач благодушно на роскоши лег...»	280
«День убегает ото дня...»	281
«Чу, мгновения глухие...»	282

1941

«Хотел бы стать Сковородой...»	284
NOMINA	284
MIR ZUR FEIER <1941>	285
«Кукушка куковала...»	286
ЯБЛОКО	287
«Я, как земля, притворник и затворник...»	287
ОСЕНЬ	288
ПАШНЯ	289
ГОРЕЛКИ	289
«Отчего иногда вдруг помнится, что нету загадок...»	290
КРАТИЛ	291
«Платок мне не накинешь на роток...»	291
«Мой позвоночник, как и мой ночник...»	292
ЗВЕЗДОЧЕТ	292
«Тело, словно тихую светелку...»	293
ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ	294
«В огромной шубе сплю я, как в Сибири...»	295
«На шее затянув кушак...»	296
СТАРИКИ («По вечерам выходят из ворот...»)	297
ЭЛЕГИЯ («В желтеющей листве прозрачность кожи...»)	297
«Я стал близорук и дал зарок...»	298
BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES	299
МИМО	300
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ	301
СТАРИКИ («Голгофою, страдальческим бугром...»)	302

«...И я без разбора добрею...»	302
«Глубокий день, неизмеримый днище!...»	303
«У лампы ли сидишь, у камелька ли...»	303

1942

«Невелика беда, что я чуть-чуть горбат...»	305
НА ПАСЕКЕ	306
«Кинешь карты так ли, сяк ли...»	306
ПУТЕШЕСТВИЕ	307
ГРИБОЕДОВ	308
«Нет, существо, как разберешься, – сволочь...»	310
«Чего греха таить, прости нас Боже?...»	310
САПОЖНИК	310
БИЛЬЯРД	312
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ	313
«Поезд дачный, поезд брачный...»	313
«Жаль, что не умею ввысь молиться...»	314
ФОМИНА НЕДЕЛЯ	315
ПСАЛОМ ЫЙ	316
«Шуршит сухой поток задумчивых лесин...»	317
PERVERSITÏ	318
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕВИЦА ГОВОРИТ:	319
«Раскрытым, как томик, лицом и почти некрасивым...»	319
«Далеко и рядом – как за стенкой...»	320
«Легко гостится у весны в хорах...»	321
ГРОЗА СЕМЕЙНАЯ	321
СПОРТСМЕН	322
КИНОВИЯ	323
ФАЭТОН	324
«Сказкой сердце веселя...»	325
«Одинок я, как зуб во рту у Яги...»	326
БОБЫЛЬ	326
D. HUME	327
W. SCHURPE	328
«Не знаю, кто из нас тут при чем...»	329
«Испуганно глаза расширь!...»	330
«Я нынче сам себе чудесная погода...»	330
«Не верь, что я тебя любил!...»	331
В ТРАВАХ	332

«Не раз я на руки плевал...»	332
ПСАЛОМ	333
«Бледнеет снег, как чистое лицо...»	335
«Ужель я несмертельный голован...»	336
«Свои затеи походя коря...»	337

1943

«Словно воды, полные прохлады...»	339
МАСЛЕНИЦА	339
«... Я же, рожу скорчив...»	340
«Забубенная тишина...»	341
MIR ZUR FEIER <1943>	342
«Я спал или думал – не всё ли равно?...»	344
«Тучей темного шелку...»	345
НА ЛОДКЕ	346
ИМЕНИНЫ («Я праздную, пусть даже немо имя...»)	347
МОЛИТВА	347
«Что бы ты ни говорила...»	348
«Тоску упрятал я на дно...»	348
«Науке-даме, мировой гадалке...»	349
«Я легкая туманная обитель...»	349
«Я шел, не выспавшись, растрепанный, босой...»	351
«Не знаю, право, как и быть...»	352
«В житейской лавке я стою...»	353
«Беззвучно вскрикнула звезда...»	353
«О, вальса дорожка скользкая...»	354
«Гляди-ка, человеке...»	355
СОЛЬ ЗЕМЛИ	355
«В безмыслии вещей я прозябаю...»	356
«Этакое счастье привалило...»	357
«Сибирь мохнатая! Во сны твои дремучие...»	358
«Вблит всей шубой зима неуклюже-медвежья...»	358
«Я брел, а дождь стрелял в мое пальто...»	359

1944

«Мохнатых звериных матерей...»	360
«Я в город обмакнут душою, как в каменный омут...»	361
«Я набожен и с совестью в ладу...»	361

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПСАЛОМ	361
ARS LONGA – VITA BREVIS	363
ВАГНЕРИАНЦЫ	364
ДУШЕ	365
«Я тело получил в наследство, как лачугу...»	367
«Я – смутный спутник самого себя же...»	367
«Неужели я жизнепропойца?...»	367
«Откинь раздумья, как челку...»	368
«Мороз длиною с год. Совсем ослепла память...»	368
«Очень нежной тишиной...»	369
«Из дома, как из черепной коробки...»	370

1945

«Я любил осторожно, любил паутины нежней...»	371
РАБЛЕЗИАНЦЫ	371
МОНОЛОГ ЮНИЯ	372
«Ни имени мне и ни тела...»	373
«Я становлюсь богаче и старей...»	373
«Как солнце, сердце правит бег...»	374
ПОТОК ПЕРСЕИД	375
«Теплом уютным околдуй...»	375
«Не мудрствую лукаво...»	376
«Я колесил по жизни, куролесил...»	377
«Когда на улице дымит зима...»	377
«Зима заходит злобной злокой...»	378
АБСОЛЮТНАЯ БАЛЛАДА	379

1946

САД И НЕБО	381
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ	381
REQUIEM	382
АПРЕЛЬСКИЙ ДОЖДЬ	383
«Как только мне помыслится о тлени...»	383
АРХИТЕКТУРА ПАМЯТИ	384
«В раздумьях я – сутяга и сквалыжник...»	385
ПРОЗРАЧНАЯ ОСЕНЬ	386

РАВНОВЕСЬЕ	386
«По думам голове казаковать...»	387

1947

КУРИЛЬЩИК	388
«Ты любила. Но вот досада...»	389

1948

ОДА НА НОВЫЙ 1948 ГОД	390
ЖГУЧАЯ БЕСЕДА	391

1950

ПРОСТО ПРАЗДНИК	392
MIR ZUR FEIER <1950>	292
РЫБАЧЬЯ ПЕСНЯ	395
СТАРИК («Как бурый лист, ладонь его суха...»)	395
«Ласков день. До дел он добрых лаком...»	396

1951

ЗИЯНИЕ УМА	397
MIR ZUR FEIER (XL лет) <1951>	397
ОСЕНЬЮ	399
PICTORIS CONFESSIO	400
«Ужели жизнь завершена...»	401

1952

MATER DOLOROSA МОРАЛЕСА	402
«Я плачущее существо...»	402
«От напряженья делаю...»	403
«Высокой осени прозрачные вершины...»	404
«Я поэт тяжелый, что комод...»	405

1953

MIR ZUR FEIER <1953>	406
«Ты мной нигде не встречена...»	406
ГРОЗА («Как хорошо, что это ни от кого не зависело!..»)	407
АСТРОЛОГИЯ	409
«Любили вы? Да так, чтоб вас мотало...»	410

1954

MIR ZUR FEIER <1954>	411
----------------------------	-----

1955

«Хорошо, что отошли грустины!..»	413
СВ. СОФИЯ В НОВГОРОДЕ	413
MIR ZUR FEIER <1955>	416
«Прибой восстал, и дик и рьян...»	418
«С годами, ах, не совладая...»	418
«Державной мышцею ума...»	419
НА ПЛЯЖЕ	419
НОВГОРОД ЗИМОЙ	
I. «Глазам легко: белым-бело!..»	421
II. «Присели кроткие церквушки...»	421
III. «По улочке запорошенной...»	422
IV. «Пустынна русская верста...»	422
V. «Кому печаль мою поведем?...»	422
АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ	423
СПАС-ПРЕОБРАЖЕНЬЕ	424
КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА	425
ИВАН НА ОПОКАХ	425
НОВГОРОДУ ВЕЛИКОМУ	426
«Ах, у тебя ль любви учиться?...»	427

1956

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я времени не замечаю...»)	428
«Я вышел из всех квартир...»	428

ЭПИТАФИЯ ЗЕРКАЛЬНОМУ КАРПУ, УСНУВШЕМУ

В ВАННЕ	429
«Лежал закат, мертвецки палев...»	430
«Зачем мы не роли играли...»	431
Я, ГОД И ВЕТЕР	431
«... И скажут, прифыркнув: “Ну что в ней?” ...»	432
MIR ZUR FEIER <1956>	432
«Язык велик, могуч и древен...»	433
«Двигаюсь, ей-богу, понемногу...»	434
«Увы, солдатскою побудкой...»	434
«Со мною в накрахмаленной столовой...»	435
В ДАЛЬ	435
«На последней тропинке августа...»	436
ФИЗИК	437
ВСТУПЛЕНИЕ К ЗИМЕ	438

1957

ИМЕНА	439
«Он – Жак, Прометей иль Кирюха...»	440
«И как же люди будут хороши...»	440
БЫКИ У ИЛЬМЕНЯ	441
НА ИЛЬМЕНЕ («Нет, разумеется, Ильмень совсем не Гомерово море...»)	442
«Господь Софию, будто белый камень...»	443
ВАЛ	443
МИРОДЕРЖЕЦ	444
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАРОСТЬ!	445
«Вы видали, как пэсты на Ильмене...»	446
MIR ZUR FEIER <1957>	447
ИОАНН БОГОСЛОВ НА ВИТКЕ	449
«Где-то в светлых трущобах мира...»	449
КАКОЙ-ТО АКТРИСЕ КАКОЙ-ТО ПОКЛОННИК	450
ЕВРЕИНОВ	450
«Я во скорби и глубокой схиме...»	452
«Смотря на знаки Зодиака...»	452
«Как тень ты теперь похудела...»	453
«Запомню и осень, как желтый роман...»	453
«Исчерпан вечер. Тихо под откос...»	454

ЦЕРКОВЬ ПРОКОПИЯ	455
ВЕЧЕР 23 ФЕВРАЛЯ 1933 г.	455
В ТЕ ДНИ	456
ЦЕРКОВЬ КЛИМЕНТА	457

1958

1 ЯНВАРЯ 1958 г.	459
ЕЛКА («Над судьбой кривоколенной...»)	459
MIR ZUR FEIER <1958>	460
«В домик у осени на задворках...»	461
«Старый Новгород крепко сбиг...»	461
БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТКА	462
НИКОЛА НА ЛИПНЕ	462
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ.....	463
«Сижу я в саду на лавочке...»	464
АНАТОМ	465
«Сам, не сам – по речке на моторке...»	466
НЕВСКИЙ ВЕЧЕРОМ	466
ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ.....	467
АЗ ВОЛЬНЫЙ РАБ БОЖИЙ, СЕРГИЙ	468
«По-за углами нас расставив, как фигурки...»	469
АЛКОГОЛЬ	469
«Как яичница, лужок поджарен...»	470
ЕЗДА ПО БЕССОННИЦЕ	471
«Не в сердце ли потыкивая...»	472

1959

НАПУТНОЕ СЛОВО НАУКЕ	473
«Просветлел уже лоб у зари...»	474
ИНДЮШКИ	474
ВОДА, ПЕСОК И ЛЮДИ.....	475
MIR ZUR FEIER <1959>	475
«Давно лежит зима в измявшихся подушках...»	476
«Стоит на одной ноге завод...»	476
ПЕСЕНКА ПРО ХАХАЛЕЙ.....	477
«Бегут воспоминания босые...»	477

ЗЕРКАЛО	478
«Вскипает буйная долина...»	479
СПАС-НЕРЕДИЦА	479
«Пространство лежало и никому...»	480
«Ужели я и в этот раз не спасся?...»	481
«С недоумением и страхом...»	482

1960

НОВОГОДНЯЯ ЭЛЕГИЙКА	483
«Давай скорее глаз метнем...»	483
В СКАЛЬДИЧЕСКОЙ МАНЕРЕ	485
MIR ZUR FEIER <1960>	485
«На небе чистом ни звезды...»	486
«Мы не встречались больше года...»	487
«Всё еще верится в могущество алхимий...»	487
ВЗГЛЯДЫ	488
«Сражаться с вами в дурачки...»	489
ДЕВКИ ВЕСЕННИЕ (подражание Кустодиеву)	489
СТАРИННАЯ БАСНЯ	491
«Я великий владыка земной...»	492
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ	493
ПОДСМОТР	493
ЧИЖИК	494
АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ	495

1961

ФОКУСЫ ИСКУССТВА	496
НА ГРАЖДАНСКОЙ ПАНИХИДЕ	497
ЦАРЬ КОСМОС I	498
«Пресвятая Мать Богородица!...»	499
ИСПОВЕДЬ СТИХОТВОРЦА	499
‘ΑΝΤΕΡΩΣ	500
ДОЧКА-РЕЧКА	501
«Жил-был Иван Разумник...»	502
ПРОСТРАНСТВО	503
«Удел на диво мне сужден судьбой...»	504

1962

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я грусти не терплю, к печали не привык...»)	505
МОЙ СЛИШКОМ ЗНАКОМЫЙ	505
«Земное яблоко я сделаю глазным...»	506
КИТАЙСКИЙ ХУДОЖНИК	507
«Ну-ну, добро вам, пропасти сугубые!...»	507
«То, чего нет, – есть!...»	508
НОС	509
«Я предстал себе через п-светолет...»	510
«Жизнь моя облыжная...»	510
«Готова к светлому гавоту...»	511
«Лежу в гробу...»	511
«От радости досель я...»	512

1963

НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ («Я знаю издавна: Оно...»)	513
«Язык мой, язык российский!...»	513
MIR ZUR FEIER <1963>	514
«Ночь опять чернит ступени...»	514
«Мое не терпит естество...»	515

1964

ТЕЛО	516
MIR ZUR FEIER <1964>	517
СТИХИ НА НАУЧНУЮ ТЕМУ	517
ЕЩЕ ОДИН ЗНАКОМЫЙ	518
«Я не носил девизов и знамен...»	519
«Живу не у Христа за пазухой...»	519
РАДИОЛА	520
ДРИАДА	520
КОММЕРЧЕСКИЕ СТИХИ	522
«О музыка! Коровье МУ!...»	522
«Воззрясь с боков на вещь в себе...»	523
«Стою на подоконнике...»	523

«А глушь как прежде хороша...»	524
«Говорят, что есть священные вещи...»	525
«По тропке робкой и укромной...»	526
«Во грамматические копи...»	527
«Пусть умом (или в уме?) мужая...»	527

1965

«Нить жемчужная времен...»	528
ИДА РУБИНШТЕЙН СЕРОВА	529
«Тоскливей, чем душа, ландшафты...»	530
«Жизнь уложит рядом две судьбы...»	531
«Битый день сидел я над природою...»	531
«Влюбляются, разлюбляют...»	532
«Мне жизнь была как тысяча кривляк...»	533
ЗВЕЗДА	533
«Забрезжит в сердце, а будильник...»	535
МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ	535
«Весенний день с замашкой колориста...»	536
НЕЛАДНАЯ БАЛЛАДА	536
«В тебе, замызганный домишко...»	537
ОПЕРАЦИЯ	538
О ЛИРИКАХ	538
«Всё в розницу – и люди, и предметы...»	539
MIR ZUR FEIER <1965>	539
«Стоит сентябрь больницей кроткой...»	540
«Годами шли великими стадами...»	540
ВОТ ТАК!	541
«Одиночество кивнуло мне в окно...»	542
«Уставясь в небосвод постылый...»	543
ДОСТОЕВСКИЙ ПЕРОВА	543
ТЕЛЕФОН	544
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОБОБЩЕННОГО НАТУРЩИКА	545
МИРОТВОРЕНИЕ	545
«Ты будто заболела...»	546
«На лысых гривках сухо, и тайга...»	547
СВ. ТРОИЦА	547
«Дорогая моя аллея...»	548

«Я избалован, как в поэтах слово...»	549
МЕЧЕТЬ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ	549
«Голова моя нездоровая...»	549
«Погоди! Не знаю, что со мною...»	550
«Я встретил на углу свою душишку...»	550
СКОТСКИЕ ВЕЧЕРА	
1. Овечий	551
2. Телячий	552
3. Собачий	552
4. Жеребчий	552
5. Козий	553
«Ах, елки-палки! Эти парки...»	554
ПОХОРОНЫ («Ямщик лошадей понукает негромко...»)	554
«Небо! Сбрызни душу, сбрызни!..»	555
МОЛЕНИЕ ОБ ИСТИНЕ	556
СИБИРСКАЯ ЭЛЕГИЯ	557
«Пускай деревья умирают стоя...»	558
НА НИТОЧКЕ	558
СТАРИК («В глазах слеза – не потому что плачут...»).....	559
«Я сам себе родник, источник, ключик...»	560
НИКОМУ	561
ЧУЖИЕ МЫСЛИ	561
ЗРЯ	562
«Был ты бык бодливый...»	563
УГОЛ ГЛАЗА	563
«Я жил, не сотворив себе кумира...»	564
БОРЬБА	565
БЕСЕДА С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ	567
ЧИСЛО	567
«В царстве Леты, Стикса и Коцита...»	568
ПОДЫТАЖИВАЯ	569
МУЗЕ	570
«Ишь, в тумане-то развелось их!..»	572
«Когда тебя в объятия пакую...»	572
«С каким заквасом и засольцем...»	572
КАК ПИШУТСЯ СТИХИ	573
COGITO, ERGO...	574
ТЕННИС	575

«Опять сижу в добре я пу пояс...»	577
«Если бы был я хлыст...»	577
«Я стал теперь такая скука...»	578
«Как вкусно быть противоречьем...»	578
«Запустим пальцы в дремучий ум...»	578
«Сидят в телах поэты...»	579
ЭПИГРАММА	580
«Живем на острове Каменном...»	580
«Собрав в кулак всю что ни есть науку...»	581
«Сколько вечной в нас человечины!...»	581
«Всеведенья боюсь, как вечной скуки...»	582
MIR ZUR FEIER <1966>	582
«Ах Ты, Боже мой, друже Боже!...»	583
«Я – спертый воздух в камере тюремной...»	584
«Я нагяделся в зеркала...»	585
ОТКАЗ	585
«Поживи наобум, послучайничай...»	586
«Ах, как некуда торопиться!...»	586
LA MUSE MÏSCHANTE	587
КЯРИКУ	587
МАТЕМАТИК ГОВОРИТ:	588
«И я сегодня вроде человека...»	588
ПО ДОРОГЕ В ТАЛЛИНН	589
«Я не знавал ни скуки, ни тоски...»	590
«Как сорочку, мой норов выстирай...»	590
ТЫ	591
МЕДИЦИНСКИЙ РОМАНС	592
«Ну, как вам теперь на концертах торчитя?...»	593
«Вы не женщина...»	593
«Авось я сам себе и самый ражий враг...»	594
«А так – какой мне интерес...»	594
«Как лес в грозе, как бедный зверь на дыбе...»	595
«Разве мало и хмури и хмари вам...»	595

Петров С. В.
М52 Собрание стихотворений: В 2 кн. – Кн. 1. – М.: Водолей Publishers,
2008. – 616 с. – (Серебряный век. Πορρολλτομ□ων)

ISBN 978–5–902312–34–5

Счет больших поэтов в России XX века – на сотни, да и великих – не меньше, чем на десятки. В очередной раз приходится вспомнить слова А. А. Штейнберга о том, что «русская поэзия – это такая армия, в которой взводами командуют генералы».

Сергей Владимирович Петров (1911–1988), поэт огромного масштаба, известен широкому читателю только как переводчик. Три года тюрьмы и семнадцать лет ссылки (1933–1954) надежно оградили его от печатного станка. Созданное тем временем творческое наследие – ошеломляюще и по объему, и по художественной значимости.

Настоящее издание, начинающее Собрание сочинений С. В. Петрова, представляет собой достаточно полное собрание лирических произведений и фуг (жанра, созданного самим поэтом). В ближайшей перспективе отдельные тома поэм и мистерий, а также том поэтических переводов.

ББК 84(2Рос=Рус)6

Петров Сергей Владимирович

Собрание стихотворений

Книга II

Литературно-художественное издание

Технический редактор *А. Ильина*

Корректор *В. Резвый*

Подписано в печать 15.03.08. Формат 60х90/16
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Печ. л. 38,5. Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б

E-mail: agathon@humanus.ru

Отдел реализации: (495) 786-36-35

Опечатано в ЗАО «Гриф и К»
г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а